МЛГ

Молодая гвардия

10 • 1981

Юные балерины... Это им предстоит продолжить добрые традиции коллектива Белорусского государственного академического Большого театра оперы и балета.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ

10 • 1981

Основан в 1922 году

В НОМЕРЕ:

Георгий ЕФИМОВ. **Очаг и поле.** Стихи. Перевели с чувашского Владимир Фирсов и Иван Савельев 3

Работа. Родина. Любовь. Владимир БАЛАЧАН. **«Как будто что меня держало...». «Чем пахнет рожь, когда — в наливе...». «Родина моя!..». «Ты шла по широкому лугу...».** Анатолий ДРОЖЖИН. **«Оглашаются дали свирелью пастушьей...». Любовь. Хлебороб.** Александр ВОЛИН. **«За окошком перелески...». «А у нас одинаковы...». «У Казáчинского порога...».** Евгений ЛЕБКОВ. **Слово к океану. «Такой туман по всей округе...».** Николай ДЕНИСОВ. **Солончаки. «Жил в каюте одиночкой...».** Овидий ЛЮБОВИКОВ. **Вятский пахарь. Спор.** Игорь КРАВЧЕНКО. **В дороге. Земляк.** Павел МАРАКУЛИН. **Журавли. Прощание с летом.** Стихи 7

Леонид ЧИКИН. **Полевой сезон.** Лирическая повесть 17

Анатолий ПАРПАРА. **Две реки.** Стихи 70

Иван ЛЫСЦОВ. **Отчая земля.** Стихи 75

К 400-летию похода Ермака в Сибирь
Николай КОНЯЕВ. **Легенда о Ермаке** 78

●

Феликс ЧУЕВ. **Главные черты.** Стихи 105

Семен КЛЕБАНОВ. **Прозрение.** Повесть 108

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «ТОВАРИЩ»

К 60-летию СССР. Рассказываем о Белорусской Советской Социалистической Республике 161

Василь ЗУЁНОК. **Белорусь моя синеокая** 163

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Мастер, воспитай человека!

Иван ЛЕПИН. **Тринадцатая группа** 193

Охранять природу — наш долг

Александр МИЩЕНКО. **Счастливый человек** 208

В мире бесправия и капитала

Л. АЛЕКСАНДРОВ. **Сказка о золотом зайце, или Как на Западе пытаются гальванизировать один старый капиталистический миф** 218

●

Геннадий ГУСЕВ. **Путь Пробуждения, или Странствия Великой Мечты.** Продолжение 224

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Рубежи творческой зрелости

Вадим ДЕМЕНТЬЕВ. **«Положись, Отчизна, на нас...»** О творчестве молодого белорусского поэта Владимира Некляева 279

НАШЕ ОБОЗРЕНИЕ

Бор. ЛЕОНОВ. **Крах пустой души.** Н. МАШОВЕЦ. **Позиция критика.** Иван ИСАЕВ. **Штрихи судьбы.** А. ЧЕРКЕСОВ. **Мифы кибернетики и искусство** 291

КРУГ ЧТЕНИЯ 305

БЛОКНОТ МОЛОДОГО ЛИТЕРАТОРА

Из чистых криниц. Беседа с народным писателем Белоруссии, Героем Социалистического Труда Иваном Петровичем Шамякиным 314

Наш адрес:

125015, Москва, А-15, Новодмитровская ул., д. 5а.
Телефоны редакции: приемная — 285-88-58; отдел прозы — 285-80-55; отдел поэзии — 285-88-40; отдел очерка и публицистики — 285-80-26; отдел критики — 285-80-14; отдел «Товарищ» — 285-89-66; секретариат — 285-80-16.

© «Молодая гвардия», 1981 г.

ПОЭЗИЯ

Георгий ЕФИМОВ

ОЧАГ И ПОЛЕ

* * *

«Ирекле́х —
Свобода», —
Я пишу.
В этом слове буквы — как литые.
Кажется, что я сейчас впервые
Медленно его произношу.

«Ирекле́х —
Свобода!..»
Сердца стук.
Мирный день родительского крова.
Из семи составленное букв,
Общей кровью спаянное слово.

«Ирекле́х» — горит моя строка
И сама диктует мне — «Свобода».
И несут его — живую воду —
В словаре два наших языка.

Родина!
Всю жизнь мою возьми —
Кто я без тебя и без народа?
Состоит неделя из семи

Дней,
Что мне дарованы Свободой.

Слово «семь» светло у чувашей,
Счастье — под созвездьем семизвездным.
Семь колен — я родился́ не поздно —
Продолжаю род богатырей...

* * *

Спешит речушка чуткая в камыш,
В пшеничное бежит тропинка поле...
Зачем, поэт, ты песнь сложить спешишь?
У скорой песни скоротечна доля.

Дают поэтам ритмы времена,
Лови душой их музыку живую!
Судьбе одна мелодия дана —
Запечатли в строке судьбу людскую.

Пусть мал родник, но, силу обретя,
Свою он Волгу все равно находит.
Не в мастерстве судьба твоя —
В народе,
Ведь истинный поэт — его дитя.

* * *

Откуда знать нам,
Может, у зерна
Есть в самом деле сердце золотое?..
Лишь лоно обретет оно земное —
И пустит корни!
Процветай, страна!

Я в птичьих разбираюсь голосах.
Свистит скворец
Настойчиво, упорно, —
А может, это напевают зерна,
Чтоб люди не забыли о хлебах?

И чувств, видать, зерно не лишено:
Лишь ляжет в закрома моей Отчизны,

Во имя продолженья нашей жизни
На свадьбы
Молодых
Зовет оно.

Есть у зерна и зренье!
Не впервой,
Когда богатым станет урожаем,
Оно в Москву достойных провожает
За Золотой — под цвет его — Звездой...

ГЛАЗ ВОЛГИ*

Трещит мороз и вьюга — я готов
Идти пешком на тот — далекий — берег...
И повторяет сердце, не робея:
«Коль не пойдешь — застынет в теле кровь...»

Шагаю против ветра, наклонясь.
Ничто меня теперь не остановит.
Как ты сильна, реки великой власть, —
От встречи вновь душа горит и ноет.

Деревья,
Словно черная стена,
Стоят вдали, в лучах зари мерцая...
Летит сорока-сплетница.
Она
Трещит свое, меня сопровождая.

Искрится снег. И светится восток.
Я слышу лед — сквозь валенок — стопою...
И кажется,
Что ниткой золотою
Наматывает мысль моя моток.

Но что это?
В двух метрах от меня
Большой котел исходит паром белым.
И я смотрю торжественно и смело
На белый столб, как бы на столб огня.

* Глаз Волги — так чуваши называют полынью на Волге.

О чудесах я слышал много раз.
Я думал, что они
Остались в прошлом...
Но видел: солнце хлопает в ладоши
И промывает светом
Волгин глаз.

И я глядел, склоняясь,
В полынью,
Глаза в глаза,
Взволнованно и долго,
Как будто душу чистую свою
Я отдавал родной притихшей Волге.

Как понимали мы друг друга с ней —
Так мать и сын
Друг друга понимают!
Я чувствовал,
Словам ее внимая,
Она уже готовилась к весне.

И выплывал из мрака силуэт
С лицом, на матушку мою похожим...
И видел я, как Волга дивный свет
Ей возвращает, покрываясь дрожью.
И в этот миг,
Великий и простой,
Я Волги мощь
И душу Волги понял
И осторожно зачерпнул в ладони
Ее святой, ее воды живой...

Перевели с чувашского
Владимир ФИРСОВ и Иван САВЕЛЬЕВ

ПОЭЗИЯ

РАБОТА. РОДИНА. ЛЮБОВЬ

Владимир БАЛАЧАН

* * *

Как будто что меня держало,
Когда по тракту — через рожь —
Из деревеньки уезжала
В далекий город молодежь.
Я им завидовал, ребятам, —
Ведь вместе жили и росли.
И провожал их долгим взглядом,
Пока не скроются вдали.
...В степи, над кручей, сенокосы,
Где бабы
С песней
На лугах
Косили травы по откосам,
Вершили спорые стога.
Гремели брички по ухабам,
Грузовики и трактора...
Куда ни глянь — повсюду бабы,
И старики, и детвора.
Пила на Выселках жужжала —
О новостройке разговор...

Как будто что меня держало.
И, к счастью, держит до сих пор.

* * *

Чем пахнет рожь, когда — в наливе,
Когда туман плывет, как дым?
Каким-то трепетом счастливым.
А может, молоком парным?
А может, лунными лучами,
Росой, рассветом, тишиной?..
Она расступится вначале,
Потом сомкнется за спиной...

* * *

Родина моя! До горизонта
По весне распаханы поля.
И такое радостное солнце!
И такая дивная земля!
И опять стою я, словно в детстве,
У травы и леса на посту...
Родина моя! Не наглядеться
На твою святую красоту.
Над полями — жаворонки в небе.
В поле — праздник песни и любви.
Я стою и думаю о хлебе,
Что посеял осенью в степи.
Вот росточек, маленький, ушастый,
А ведь пахнет хлебом молодым...
Родина моя! Не надышаться
Никогда мне воздухом твоим.

* * *

Ты шла по широкому лугу,
Любовь в своем сердце несла.
Ты шла по зеленому лугу,
Не помню, какого числа.
Любовь, обращенную к птицам,
Деревьям, цветам, небесам,
И к стойким сибирским пшеницам,
И к звонким сибирским овсам;
Любовь ты по капле дарила,
По маленькой капле росы...

Деревьями степь говорила,
И степью дышали овсы.
Ты шла по широкому лугу,
По нашей родной стороне,
Любовь раздавала по кругу,
А круг замыкался на мне...

г. Куйбышев,
Новосибирская область

Анатолий ДРОЖЖИН

* * *

Оглашаются дали свирелью пастушьей,
и кричат петухи, обалдев ото сна.
Навострили деревья веселые уши,
чтобы за уши их
подтянула весна.
Все, присущее миру, погода лелеет,
лес повыше поднял синеву козырька.
И, резвясь на заре, озорно розовеют,
словно дети реки, два живых озерка.
Как прекрасна Отчизна!
Как весны прекрасны!
И призывна округа, и радость кругом!
И выходишь ты в мир, откровенный и ясный,
и выходит душа из своих берегов...

ЛЮБОВЬ

Давно нарадоваться надо,
а ей все радостнее жить.
И пуговицу, как награду,
к рубашке счастлива пришить.
И озаряется улыбкой,
и от улыбки в доме — рай.
И перекусывает нитку,
рубашку чмокнув невзначай.

ХЛЕБОРОБ

У пахаря жажда размаха!
Трещали трава и кусты,
трещала натужно рубаха,
когда он ворочал пласты.
Вослед выступала со страхом
грачей вороная гурьба,
клыкастыми траками трактор
пружинистый дерн загребал.
Издревле и трудно и строго
земля отдается во власть.
Но общая радость в итоге
у пахаря с полем слилась.
И сердце в приятном полоне,
и ветром обдуло виски,
и рожь в благодарном поклоне,
склонила свои колоски.
А мир откровенен и звонок,
а пахарь такой молодой!
И колос, как малый ребенок,
ныряет ему под ладонь.

г. Тирасполь

Александр ВОЛИН

* * *

За окошком перелески
В первый снег погружены,
По-осеннему прелестны
И по-зимнему нежны.
Перелески поезд косит
Под колесный перестук.
То мелькнет в окошке осень,
То сугробы тут как тут.
Я ловлю штрихи косые,
Словно всадник на коне,
И глядит в окно Россия —
Свет единственный в окне.

* * *

А у нас одинаковы
И глаза и носы.
Как ты вырос, однако,
Мой возлюбленный сын!
Как в тебе прозвучало
И раскрылось вполне
То родное начало,
Что звучало во мне!
Тихой песней качаю
Я тебя по ночам.
Ты — мое окончание
В мире новых начал.

* * *

У Казáчинского порога
Грозен батюшка Енисей,
И невольно в душе тревога —
Так кипит он громадой всей,
Норовя швырнуть пароходик
В крокодилову пасть камней...
Так и к нам иногда приходит
Испытанье, что всех трудней.
Не приучены мы сдаваться.
Жизнь — как бой.
Мы поспорим с ней.
Лишь бы чистым навек остаться,
Как наш батюшка Енисей.

Москва

Евгений ЛЕБКОВ

СЛОВО К ОКЕАНУ

Солнечные, радужные блики...
Не люблю красиво говорить,
Но скажу, что не смогу прожить

Без тебя, мой океан Великий.
Как и ты, живу не умолкая,
Всяких треволнений — дополна!
Даже и когда глаза смыкаю,
Все равно мне видится Волна.

* * *

Такой туман по всей округе,
Что даже солнце — в тайнике.
Но и в тумане нету скуки
Ни в океане, ни в тайге.
Когда скучать? Работать надо:
То лес руби, то рыбу траль...
Работа — высшая награда
И высочайшая мораль.

г. Холмск-на-Сахалине

Николай ДЕНИСОВ

СОЛОНЧАКИ

Солончаки, солончаки...
От зноя спекшиеся травы.
И — ни колодца, ни реки,
Один лишь суслик у канавы.
Да чудом держится пырей,
Хоть просит дождика из тучки.
А дальше — снова суховей
Качает красные колючки.
Но что поделаешь?
Кулик
И здесь нахваливает кочку.
Я тоже барин невелик,
Иду-бреду себе пешочком.
Опять проселки да поля,
Ижи, наделавшие грому...
Иду и радуюсь живому —
Все это Родина моя!

* *

Жил в каюте одиночкой...
Так матросский труд любил,
Что сгорал в работе срочной —
Душу Арктикой лечил.
Пусть встречала, привечала
Не теплом родной избы, —
Хрусталем сосульки талой
Возле камбузной трубы.
Да матросскою столовой,
Да ожогами в мороз,
Где мираж в дали бедовой:
Поле с колочком берез!
До сих пор в причудах света
Так и вижу наяву:
Кто-то в белом поле этом
Косит белую траву...

г. Тюмень

Овидий ЛЮБОВИКОВ

ВЯТСКИЙ ПАХАРЬ

Долгодневное зимовье,
Скоротечный летний свет.
Говорят: Нечерноземье.
Чернозему правда нет.
Нету в нашем крае точно
Почвы щедрости такой:
Кол воткни под вечер в почву,
А наутро он с листвой.
По буграм да по низинкам,
От реки и до реки
Самородные суглинки,
Беспородные пески.
Не до жиру, не до пышек...
Вез на рынок край лесной
Для застолья острый рыжик,
Хлесткий веник для парной.

Хлеб от века вятский пахарь
И ценил и цену знал.
Он во гневе и во страхе
Землю мачехой не звал.
Ниву чтил, лелеял пажить
За крутую прямоту:
Нерадивого накажут,
Воздадут за маету.
Суть земли, ее отрада —
Матерели у межи
Не изнеженные чада,
Крепкокостные мужи.
Знали деды, помнят внуки
Назначение свое:
Землю уберечь от муки
И не посрамить ее.

СПОР

За вагоном — жуткий холод,
Разгулялся снеговей...
Первый так сказал: «Глаголом
Надо жечь сердца людей».
Не сбавляя ходу — мимо
Полустанка поезд в степь...
И второй заметил: «Имя
Существительное — хлеб».
Спор как спор, без середины,
Кто осилит, чья возьмет...
Третий молвил: «Не единым
Хлебом человек живет».
И, своей цитатой гордый,
Обозрел купейный мир.
Может, скажет что четвертый
Молчаливый пассажир?
И тогда без проволочки
Тот сказал свои слова:
«Хлеб
всему
голова», —
И поставил в споре точку.

г. Киров

Игорь КРАВЧЕНКО

В ДОРОГЕ

Я лежу на верхней полке,
чуть качается вагон.
За окном, в лесном поселке,
знойный августовский звон.
Теплый ветер мне щекочет
ноздри запахами трав.
Ошалело крикнул кочет,
наш приветствуя состав.
Женщина рукой махнула,
и улыбкой озорной
одарила, и вздохнула,
и осталась за рекой.
Налиты молочным светом
стройные стволы берез.
Между осенью и летом
мчится синий тепловоз.
От единственного слова
замирает сладко грудь.
И, как в дальнем детстве, снова
бесконечен этот путь.

ЗЕМЛЯК

Земляк про партизан рассказывал.
И про себя — он тоже партизанил.
Он сам себе себя в который раз показывал,
Себя — того мальчишку большеглазого,
И плакал он суровыми слезами.
Перечислял сожженные деревни:
Рогнедино, Зимницы, Щепоток,
И Красный Профинтерн, и Городок, —
Рассказывал, как десять дней пешком,
Не чувствуя ни стыни, ни мокрени,
Он пробирался от Клетни́ до Ельни,
Прикинувшись бродячим дурачком.
И как потом все то, что им разведано,
Немедленно в Москву было передано.

К нему опять прихлынуло минувшее...
А мы сидели, слушали и слушали.
Мы — это я, и внучка-егоза,
И медвежонок желтовато-плюшевый,
И жар-цветок,
Живой,
А не засушенный.
И на цветке —
Тяжелая роса...

г. Краснодар

Павел МАРАКУЛИН

ЖУРАВЛИ

Здесь у нас, когда сумерки тают,
под огнем деревенской луны
журавли на луга прилетают,
тонконогие, как скакуны.
Я их вижу из нашего дома,
я почти сосчитать их могу:
вдоль полей, где намокла солома,
они ходят на том берегу.
Я ружье разряжу и откину —
журавля мне вовек не убить:
это вроде как выстрелить в спину
или Родину вдруг разлюбить.

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Боюсь привыкнуть к этой красоте, боюсь привыкнуть:
опять так трудно будет уезжать, так больно.
Белеет ночь, в долине рожь цветет, сверкнет зарница,
в лесу ночные, прямо из-под ног, взлетают птицы.
Мечта и память — все во мне слилось потоком света:
как навсегда, теряю каждый раз родное лето.

г. Киров

Леонид ЧИКИН

ПОЛЕВОЙ СЕЗОН

Лирическая повесть

Весной, когда грязный ноздреватый снег еще лежал на улицах, Геннадий после кино зашел к сестре Наташе, которая жила в новом микрорайоне. Явился кстати: хозяева ужинали. За столом рядом с Виктором Корешковым, мужем Наташи, сидел незнакомый человек.

— Буров Олег Григорьевич, — представил гостя Виктор. — Тоже наш брат, травоядный.

— Вольнопатающийся Званцев! — отчеканил по-военному Геннадий.

За столом разговорились. Буров жаловался на предстоящий летний сезон. Намечался дальний маршрут по тайге, хорошо бы прихватить с собой крепкого парня, да кто же согласится травку собирать да сушить?..

— А ты его возьми, — указал Корешков на Геннадия. — Вот у тебя и будет крепкий парень.

— Его? — Буров подумал. — А что? Пойдешь?

— У него все равно лето свободное, — добавила Наташа.

Геннадий не хотел, чтобы его судьбу решали сестра и зять, поэтому вмешался сам:

— Пойду. Только при одном условии...

— Условия неважнецкие, — поспешил Буров. — Зарплата — крохи, дел по горло, а жизнь...

— Условие такое, — перебил его Геннадий, — никто не должен знать, как я попал в отряд, кем довожусь Виктору. Не люблю трепа...

— Идет! — поспешно сказал Буров. — А я-то думал...

...Год назад, демобилизовавшись из армии, Геннадий не сразу поехал домой, а решил побродить в свое удовольствие по Дальнему Востоку. Даже на рыбных промыслах был и там «вкалывал» в сезон большой рыбы. В марте вернулся домой с деньгами. Мать настаивала, чтобы он в этом же году сдавал в институт экзамены, но Геннадий отказался: конкурс большой, готовиться надо основательно, а школьные науки забылись напрочь. Лето отвел для отдыха. А там осенью будет видно.

Геннадий любил тайгу, походы, привольную жизнь. Геологи, ботаники, археологи казались ему людьми необыкновенными, и он был рад, что сможет побывать с экспедицией в тайге. А чем это не отдых?

В начале июня отряды Бурова и Корешкова на двух машинах выехали из города. База намечалась общая — село Макаровское.

Геннадия зачислили коллектором в таежный отряд к Бурову. Лаборанткой у Бурова была Елена Дмитриевна Воробьева, женщина некрасивая и категоричная, а вторым коллектором — студентка пединститута Катя.

В отряде Корешкова коллекторами были Вера и Нина, сокурсницы Кати, а место лаборантки оставалось за Наташей, которая должна была подъехать позже.

Олег Григорьевич улетел в Макаровское самолетом, чтобы подготовить базу, а в пути командовал объединенными отрядами Виктор. Он по праву старшего ехал в кабине одной из машин. Другую заняла Елена Дмитриевна, а в крытом кузове той же машины, забитой снаряжением, на тюках, мешках и палатках устроились все девушки и Геннадий.

Девушки принимали его за сотрудника института, обращались к нему за советами, расспрашивали, как будут работать, дают ли выходные дни, часто ли придется ночевать в палатках. Геннадий смело выкладывал самые невероятные сведения о самых примитивных вещах.

Он исподволь приглядывался к девушкам. Общим у них был только возраст — по двадцать одному году. В остальном они были совершенно непохожи друг на дру-

га. Катя рослая, плечистая, поэтому Олег Григорьевич и взял ее в свой отряд — в таежном маршруте сила в почете. Нина маленькая, кругленькая, как колобок. А Вера что-то среднее между ними: чуть выше Нины, чуть ниже Кати. И рыжая. Нет, не рыжая, а золотистая, будто солнышко на голове носит, посмотришь — глаза слепит.

Вера сидела в кузове рядом с Геннадием, ахала и восторгалась пейзажем, взвизгивала, беспрестанно крутилась. Он пытался отодвинуться, да некуда: сидел у борта.

— Не нравится соседство? — смеясь спросила она.

— Соседство нравится, — подыграл Геннадий. — Только боюсь вспыхнуть.

Вера не обиделась:

— Жена потушит.

Они уже, кажется, догадывались, что если он и имеет отношение к институту, то такое же, как они сами, поэтому под вечер стали относиться к нему как к равному. Помог и сам Геннадий. Когда вдруг снова возник разговор о жене, он закричал шутливо:

— Девочки! Так вы бы прямо спросили: есть у меня жена или нет жены? Отвечаю прямо: нет! Вот кого-нибудь из вас возьму!

— Ну, это еще надо подумать! — Вера посмотрела на него и перешла на экзаменаторский тон: — Скажите, а это какой лес? Вот этот, справа?

— Этот? — Геннадий посмотрел на деревья, мелькавшие справа, почесал затылок. — По-моему, это очень хороший лес для прогулок с будущей женой.

— Хороший! — передразнила Вера. — Это сосново-березовый лес с папоротниковым травостоем. Ясно? Подлеска почти нет.

— Ну? — удивился Геннадий. — И подлеска нет? Это хуже. Это просто очень плохо. Какой же лес без подлеска? Сколько работаю с ботаниками, не встречал. Надо же... Травостой папоротниковый, а подлеска нет...

— А вы давно работаете с ботаниками? — спросила Вера и хитро посмотрела ему в глаза.

— Я? — Он взглянул на часы, начал загибать пальцы на одной руке, потом на второй. — Я? Ну если вычесть время, когда я ходил на обед, то уже около половины!

— Половины? Какой половины? Чего половины?

— Суток, — вздохнул горестно и тяжело Геннадий. — Скоро юбилей будем праздновать. Суточный...

— Фи! — сказала Вера. — А мы-то думали...

Елену Дмитриевну Воробьеву за время дороги Геннадий узнал мало — она ехала в кабине, виделись лишь утром во время сборов, в короткие дневные привалы и вечерами. Вначале Геннадию показалось, что лицо Воробьевой портят очки в простой роговой оправе. Но, увидев ее без очков, понял, что ошибся. Без очков еще резче выделялся нос на худом мужском лице. Не придавали привлекательности и удивительно редкие волосы, зачесанные назад и ровно подстриженные на уровне плеч. И походка у Воробьевой была широкая, мужская.

И, кроме того, показалась она ему гордой и замкнутой, с такой не разговоришься, не поболтаешь по душам, а он, предупрежденный Олегом Григорьевичем, что «экспедиция — не легкая прогулка в обществе девушек», все же рассчитывал провести время веселее.

Геннадий сидел у правого борта. На поворотах, когда машина резко кренилась в сторону, Вера валилась на него, рыжие волосы касались его щеки. Он, изображая испуг, прижимался к борту, а она смеялась.

На одной из стоянок девушки остались в кузове, а Геннадий, побродив по лесу, собрал пышный букет огоньков.

— Держите!

— О! — удивилась Вера. — Кому?

— Тебе, конечно, — ответил он машинально и легко прыгнул в кузов.

Елена Дмитриевна видела, как Геннадий вышел из леса, и невозмутимо наблюдала за ним. «А тебе, наверное, никто не дарит цветов», — подумал он, встретившись с ней глазами.

На следующей стоянке цветов поблизости не оказалось, и Геннадий забрался глубоко в заросли. Ему уже сигналили, когда он, тяжело дыша и вытирая разгоряченное лицо, подошел к кабине.

— Вам, Елена Дмитриевна.

Она по-детски улыбнулась, обнажив белые зубы.

— Если цветы дарить всем, они обесцениваются. — Но букет взяла, сказав: — Благодарю...

А в кузове на том месте, где он всегда сидел, лежали подвявшие огоньки.

Остаток дня Вера молчала. Отказалась от всякой его помощи. За ужином не села рядом. Спать ушла сразу же...

— Была когда-то и я такой, — сказала Воробьева.

— Какой? — не понял Геннадий.

— Вот такой! — кивнула она на палатку, где только что скрылась Вера. — Школьницей.

— Вы и сейчас не бабушка.

— Да, но и не девочка, которую можно подкупить... цветами.

Геннадий от неожиданности не удержал над костром ведро, оно перевернулось; пепел взлетел клубами. Елена Дмитриевна вскочила.

— Что вы в самом деле?! — Потом сказала с иронией: — Пойдемте. Вам же завтра рано вставать. Мало успеть свои дела сделать, надо и девочкам помочь уложить спальники...

Спальный мешок надо свернуть туго-туго, чтобы он легко входил в чехол. Девушки, да и Елена Дмитриевна с трудом справлялись со спальниками. Вчера он уловил в ее словах укор: девушкам помогаете, а мне... Да, пожалуй, редко ей помогали и прежде, если рядом были девушки привлекательнее... А они всегда были.

Утром, забросив мешки в кузов, он подошел к Елене Дмитриевне.

— Вам помочь?

— Мне? — удивилась она. — Ну что ж... Пожалуйста...

* * *

В селе Макаровском отряды расположились в пустующем здании школьного интерната. День устраивались, затем начались выезды в «поле».

Олег Григорьевич работал с Катей, Геннадий — с Еленой Дмитриевной.

Геннадий в первые же дни заметил, что отряд Корешкова всегда возвращается на базу раньше. Коллекторы быстро разбирали гербарий, наскоро ужинали и, еще не успевал отряд Бурова выгрузиться из машины, бежали в клуб смотреть кино. Катя грустно смотрела им вслед. Олег Григорьевич всегда находил ей занятие до позднего вечера. Однажды Геннадий сказал:

— Пусть Катя идет в кино. Я переложу гербарий.

Олег Григорьевич хмуро взглянул на Геннадия:

— Каждый должен выполнять свои обязанности и не надеяться, что их выполнят другие. Ты за нее, я за тебя, а за меня кто?

Он как-то и Корешкову высказал свое недовольство:

— Балуешь ты своих. Не отдыхать приехали...

— Да брось ты, — ответил Корешков. — Сами такими были. А работают девочки хорошо, все успевают.

И Елена Дмитриевна вступилась за девушек:

— Нельзя же на все лето оставить их без кино...

— Но вы же не идете, — не поворачиваясь к ней, сказал Буров. — Хотя могли бы и сходить.

— Мне не с кем... И вы меня не приглашаете...

Буров покраснел и что-то невнятно пробурчал.

Геннадий не ходил в клуб принципиально. Он приехал сюда воздухом дышать. Кино и в городе можно посмотреть. Но все-таки несколько раз он сходил в клуб вместе с Еленой Дмитриевной и Катей. В один из вечеров, когда Воробьева и Катя не смогли пойти в клуб, Геннадий пригласил Веру. Но та резко ответила:

— Очень нужно! Других зовите...

И, гордо вскинув рыжую головку, пошла прочь от него. Геннадий растерянно смотрел вслед, не зная, что сказать. Никого из девушек он не выделял, для него все они были одинаковы и равны. В дороге, правда, как-то так получилось, что он чаще, чем с другими, разговаривал с Верой. Но ведь сидели рядом, не молчать же. А если бы рядом сидела Катя? Нина? У Нины, кстати, и личико смазливее. А Катя и поболтать не прочь, и побоевее Веры... А... Не то все это... Да и что тут такого — позвал в кино... А что такого в том, что ходил в клуб с Еленой Дмитриевной и Катей? «Других зовите!..» Ну и позовет! Ну и пойдет! Он человек свободный, никому ничего не должен, никому ничего не обещал...

Работали без выходных.

— Терпите, девушки, — говорил Корешков. — Терпите, красавицы. Вот скоро дожди зарядят — неделями отдыхать будете.

Стояла безветренная сухая погода. Солнце припекало уже с утра: до позднего вечера висело оно в раскаленном безоблачном саянском небе. Одно спасение от его лучей — под кроной густых деревьев, но и в тени воздух был тяжелый, душный, густой.

В «поле» Геннадий снимал рубашку, майку и загорал. Елена Дмитриевна трудилась одетой, стеснялась, видимо, своей нескладной фигуры. Нина и Вера уже почернели от солнца.

— А что им? — смеялся Корешков. — Они же в поле, как на пляже, в купальниках ходят...

— У меня Катя этого не позволяет, — с плохо скрытой гордостью сказал Олег Григорьевич. — Понимает. Участки вблизи дорог, люди проезжают. Неудобно.

Елена Дмитриевна, когда оставалась с Геннадием, вела себя сухо, официально, серьезно. Она объясняла названия растений, рассказывала об осотах, о злаках, учила закладывать их в гербарий.

Однажды спросила:

— Вам нравится наша работа?

Ему нравилось днями находиться под открытым небом, обедать в поле или в лесу у костра, постоянно передвигаться и знакомиться с новыми местами.

Так и сказал Елене Дмитриевне.

Она поверх очков внимательно посмотрела на него.

— Вам, мужчинам, наверное, не по душе наша специальность, чаще женщины идут в ботаники, хотя вот такая жизнь для нас тоже не ягода малина. Мне-то, допустим, легче: я одна. А представьте, муж дома, в городе, а жена здесь все лето... У нас редко так бывает, чтобы муж и жена вместе. У Олега Григорьевича жена — счетный работник. Сам в поле, она дома. А ты не хочешь, Геннадий, стать ботаником? — вдруг спросила Елена Дмитриевна, обращаясь к нему на «ты».

— Поздно, — усмехнулся он, не желая раскрывать свои планы на будущее.

— Ну что ты! Двадцать четыре года. Ты способный. Подготовишься в университет. Я помогу. Да и Наташа поможет... — Геннадий нахмурился: все-таки Олег Григорьевич рассказал о нем. — Хочешь? Потом жену себе найдешь... — Сказала и вздохнула будто незаметно, но Геннадий видел.

— Счетного работника?

— Почему обязательно счетного? Ведь и среди нас много незамужних...

— Спасибо, — сказал он.

— Я вполне серьезно. Ну что за жизнь у Бурова? Да еще жена ревнует. Ты заметил, как он с девочками? Не дай бог, чтобы кто-то сказал о нем что-то.

— Не замечал. Но если он так боится разговоров, почему же работает с Катей, а не со мной?

— А тебе не нравится со мной?

— Нет, что вы? — Геннадий растерялся. — Я не об

этом. Вас никто не будет ревновать... — Сказал и сразу понял, что говорить об этом не следовало.

— Да, — невесело улыбнулась Елена Дмитриевна, и как-то сразу потускнело ее лицо. — Но я могу сказать Бурову, чтобы он брал с собою тебя...

— Нет, зачем же? Мне и с вами хорошо...

А ночью прошел сильный ливень. Он превратил дороги в сплошное месиво, и поэтому отряды с утра остались на базе. Олег Григорьевич собрал во дворе на бревнах всех «таежников», чтобы проверить их знания по технике безопасности. Нина и Вера развешивали на шпагате гербарные листы для просушки.

— А теперь проверим, как поняли, — сказал Буров, зачитав инструкцию. — Вот ты, Геннадий, скажи, как будешь идти в гору по осыпи, если за тобой следом другие идут?

Как рекомендует в таких случаях ходить инструкция, Геннадий знал, но решил подурачиться.

— А зачем? Умный в гору не пойдет...

Буров нахмурился, но сказать ничего не успел.

— Олег Григорьевич, вы говорите, что через реки вначале будем на лошадях переправлять груз, а потом сами, — сказала Катя. — А вдруг яма или лошадь споткнется?

— Ну и что же? — снисходительно улыбнулся Буров. — Лошади плавать умеют.

— Лошади-то умеют, — вздохнула Катя. — Я не умею.

Олег Григорьевич сгоряча напустился на Катю, но быстро остыл: сам виноват, сколько времени готовился к маршруту, а не удосужился узнать, умеет ли Катя плавать. Он сердито взглянул на нее и пошел к Корешкову.

Вера слышала разговор и замерла со стопкой бумаги. В начале экспедиции, когда девушки узнали, что только один отряд идет в тайгу, они приуныли. Нина, правда, в тайгу не рвалась, а вот Вера настойчиво ходила за Буровым:

— Олег Григорьевич, возьмите меня.

— Не могу, — отвечал он. — Лошадей мало. И по штату лишний человек не предусмотрен. И Корешков вас не отдаст...

— А вы без штата. А к Корешкову скоро жена приедет.

Ходила до тех пор, пока не поняла: упрашивать бесполезно.

А вот сейчас Буров вышел на крыльцо, позвал Веру:

— Вы переходите в мой отряд вместо Кати. Пойдете в тайгу.

— Ой! — Вера от неожиданной радости присела. — Олег Григорьевич, какой вы хороший...

— Ну, ну, — Буров даже покраснел. — С завтрашнего дня работаете у меня. Понемногу собирайтесь в маршрут. Лишнего ничего не брать. Там клуба нет. Одни медведи да комары.

Елена Дмитриевна, узнав от Геннадия об изменении в отряде, сказала:

— Ну что же... Будет кому поднести цветы...

* * *

В тайгу отряд вышел в конце июля. Из Макаровского оба отряда перебрались в Ивановку, потом «таежников» на машине подбросили в деревню Шумовку, откуда начинался маршрут. Проводника Гмызина нашли в Шумовке, в здешних же колхозах взяли лошадей.

Маршрут был составлен так: отряд, выйдя из Шумовки, по тайге как бы шел назад, приближаясь к Ивановке, потом сворачивал к селу Вольному, куда к концу маршрута должен был перебазироваться и отряд Корешкова.

Выход наметили на утро, но вышли в обед. Задержали Гмызины: старший, Трофим Петрович, чинил сапоги во дворе своего дома, а младший, Мишка, заряжал патроны, как будто ни тот, ни другой не могли сделать все это раньше. Но у проводника для оправдания теория была:

— В первый день шибко много нельзя идти. Лошадкам надо пообвыкнуть. Да и девки, поди, устанут. Пообедаем и тронемся.

Обедали во дворе у Гмызина. Гмызин вынес бидончик браги, но Олег Григорьевич руками замахал:

— Ни-ни! Чтобы и запаха не было.

Проводник и его сын вели в поводу по две навьюченные лошади. У Олега Григорьевича и Елены Дмитриевны только полевые сумки, а у Геннадия и Веры гербарные папки; к своей папке Геннадий привязал лямки и забросил, как ранец, за плечи. Предложил Вере сделать то же самое, она отказалась:

— Мне и так удобно...

Шли два часа по таежной дороге, пока не вышли к реке. Трофим Петрович и Мишка влезли на лошадей.

— Пусть девки тоже садятся с нами, — сказал Гмызин. — А за вами воротимся.

Вера, взобравшись с помощью Бурова на вьюки, двумя руками вцепилась в них.

— Папку-то отдай мне, удобнее держаться будет, — предложил Геннадий.

Вера посмотрела на него с высоты и отдала папку Бурову. Река была быстрая, говорливая, но мелкая.

— Перейдем сами, — решил Олег Григорьевич, отворачивая широкие голенища сапог.

Женщины вышли в маршрут в кедах. Идти, конечно, в легкой обуви приятнее, но им придется каждую речушку форсировать на спинах лошадей или шагать потом в мокрых кедах.

Еще на базе Вера предупредила Олега Григорьевича, что по тайге ходить быстро не умеет. Буров усмехнулся:

— Ничего, научитесь. Нам торопиться некуда.

Но в первый день шли дорогой, лошадки топали довольно резво. Вера то и дело отставала от Бурова — они замыкали отряд — и кричала:

— Олег Григорьеви-и-ич! Подождите-е-е-е!

Он ждал раз. Ждал два, ждал три. Потом не вытерпел:

— У нас маршрут рассчитан по дням. А так мы и полпути не одолеем.

— Ну... Олег Григорьевич, я привыкну дня через два... Можно же сделать привал.

— Привал будем делать, когда устанут лошади. Другие же идут.

Другие! Что другие? Гмызин-старший сидел на вьюках, по-турецки поджав ноги. Мишка в тайге вырос. Елена Дмитриевна не впервые в экспедиции, привыкла ко всему. Геннадий... Ну нельзя же ее равнять с Геннадием! Парень. В армии отслужил.

Прошли в тот день мало, а усталость валила с ног. Проводник оказался прав. Остановились на ночлег.

Трофим Петрович занялся лошадьми, Мишка — костром и ужином, Олег Григорьевич уткнулся в карту, Геннадий вырубал колья для палаток.

Когда он вышел из леска, Олег Григорьевич складывал карту.

— Мало прошли, — сокрушался он. — Километров двенадцать.

— То ж за полдня, — сказал Гмызин. — За полный день могли бы и двадцать пять отмахать.

— А работа? — недовольно спросил Буров. — Нам ведь и работать надо. Распорядок будет такой: с утра три часа идем, потом стоянка, сборы гербария, обед, под вечер снова три часа идем. Будут и дневки. Так что надо торопиться...

Ели у костра. Ужин Мишка сварил неважный, но никто ничего не сказал: все устали и хотели спать.

Первый день, к удовольствию Олега Григорьевича, прошел благополучно.

На следующий день Вера при переправе сорвалась с лошади. Сесть на вьюки, как учил Гмызин, побоялась. Она коленями уперлась в круп Воронка и, облокотившись на вьюки, полулежала на них. Буров и Геннадий шли вброд в двух шагах. На середине реки Воронок неожиданно остановился, вьюки поползли вправо. Вера ойкнула и оказалась в воде, но тут же встала на ноги. Олег Григорьевич и Геннадий поддержали подмоченные тюки, выправили их. И тогда уже Буров закричал:

— Думать же надо! Здесь продукты! Гербарий! Не сидеть куклой, а мозгами шевелить!

Выбрались на берег. Проводник осмотрел подпруги, покачал головой, покороче взял поводья в левую руку, а правой, размахнувшись, ударил по морде лошадь. Та, дико выкатив глаза, попятилась. Гмызин заорал:

— Я тебе покажу! Я тебя отучу! Ты у меня подтянешь брюхо! Глядите, товарищ начальник! — Он показал на подпругу. — Палец не подсунешь! Туго! А она?! Она живот подтянула, вьюки и сползли.

— Другие не подтягивают! — сердился Буров. — Развьючивайте, смотреть надо.

— А чо смотреть? — Мишка ткнул пальцем в суму справа. — Посуда тут. И тряпки.

Но Олег Григорьевич настоял. Во вьюке, как и говорил Мишка, были посуда и палатка. И хоть всем было ясно, что Вера не виновата, Буров еще раз напомнил:

— Аккуратней надо. Так можно и без продуктов остаться.

...После обеденной стоянки отряд поднимался на перевал. Тропа была достаточно просторной и чистой. Идти стало легче. Небольшой караван, который возглавлял

Гмызин-старший, растянулся по склону. То ли Гмызины взяли себе лучших лошадей, то ли они умели находить с ними «общий язык», но их лошади шли быстрее. Олег Григорьевич и Геннадий отстали от Гмызиных, но не беспокоились — догонят: проводник обязательно даст отдохнуть животным.

Так и случилось. Трофим Петрович сидел в стороне от тропы, лошади стояли рядом; понуро опустив головы, они лениво отмахивались хвостами от паутов.

— Зашли, однако, — сказал проводник, — спуск крутой, другое место надо выбирать.

Оставили лошадей под присмотром Елены Дмитриевны и Веры, поднялись на несколько метров и ахнули: далеко внизу шумела Сайда, но спуститься к ней нет никакой возможности, лошади по такой крутизне не пройдут.

— Тут и самим можно шею свернуть, — недовольно сказал Буров.

— Можно, — согласился проводник. — А нам это ни к чему. — Он, оказывается, и шутить умел. — Вроде бы левее надо брать...

— А где Михаил? — вдруг обнаружил Буров отсутствие младшего Гмызина. — Спуск, что ли, пошел искать?

— Вперед убег, — нехотя ответил Гмызин. — С ружьем. Внизу нас ждать будет. С лошадьми я один управлюсь.

— Ну, ну, — неопределенно сказал Олег Григорьевич.

Геннадий не понял: согласился он с проводником или не одобрил его действия.

Пошли по тропе влево, но через несколько минут Гмызин остановился:

— Не то что-то... Звериная это тропа. Куда она выведет?..

Олег Григорьевич мог бы и раньше взглянуть на карту, но он сделал это только сейчас.

— Нда-а... Судя по карте, тропа кончается обрывом. Геннадий, проверь, пожалуйста, тут недалеко, метров триста...

Все подтвердилось: через четверть километра тропа действительно кончалась отвесным обрывом.

Возвратились к месту стоянки и пошли по хребту вправо.

Шли пять минут, десять, двадцать. Подходящего места для спуска не было.

Мишка не появлялся. Они кричали, звали его. Мишка не отзывался. Наверное, далеко ушел.

— Стоп! — сказал Буров. — Так можно идти до темноты. Надо решать. Может, сумеем здесь спуститься.

Поросший мхом и травой склон, на верху которого они стояли, в этом месте был чуть положе и чище. Сосны на нем росли реже, кустарника было меньше.

— Думайте, — сказал Трофим Петрович. — Мне-то что? Я спущусь с одной лошадкой, а тут только по одной и можно сводить...

— А остальных кто? — спросил Геннадий. — Отпустили Мишку, а теперь...

— Отпустил, — согласился проводник. — А девки на что? Помогут поди...

— Ну, — повернулся начальник к Геннадию, — твое мнение?

— На военном совете первое слово младшему, — хмуро ответил Геннадий, которому, честно говоря, не очень хотелось спускаться по такой круче. — Пусть Вера выскажется.

Олег Григорьевич на этот раз не вспылил, не возмутился, что ему указывают, даже улыбнулся, повернувшись к Вере.

— Ну и как же, Вера? Как вы думаете?

Вера, конечно, не ожидала, что с нею будут советоваться по такому важному вопросу.

— Ой! Олег Григорьевич! И я лошадь поведу? Вот за этот ремешок? А она не вырвется? Не укусит меня?

— Н-да! — сказал Буров. — С вами, кажется, все ясненько... Ну а вы, Елена Дмитриевна, в каких отношениях с лошадьми?

— В прекрасных, — ответила Воробьева. — Я их очень люблю, но они не отвечают взаимностью и люто ненавидят меня. Вот так. А если серьезно, то лошадь я здесь не проведу. Тут нужна сильная мужская рука...

Снова, на этот раз хором, звали Мишку и опять бесполезно.

— Далеко ушел, — решил проводник. — Будет нас ждать на стоянке. Я ему намекнул, где ночевка будет. Дров подсобирает...

— Так, значит, вам знакомы эти места, Трофим Петрович? — спросил Геннадий.

— Бывал здесь, — ответил проводник. — Только не с лошадьми, а с бабами за смородиной ходил. Ничего,

спускались, все живы остались... Ну, что будем делать, начальник?

Олег Григорьевич задумался. Его маленькие глазки, казалось, стали еще меньше, сузились.

— Подумаем...

Проводник — один, без лошади — прошел по спуску несколько метров, осмотрелся, вернувшись, подтянул подпруги у лошадей, проверил, надежно ли закреплены сумы и мешки.

— Я каурого сведу, — сказал он. — Он боевой и характерный, а эти смиреннее... Как я, значит, поведу, так и вы за мной по следу. Ты, Гена, первым, за тобой пусть девки идут. А вы, Олег Григорьевич, лошадь-то не берите, вы рядышком со всеми шагайте, неровен час что случится, а вы тут как тут, подмогнете... Да вы не бойтесь, девахи, лошади тихие, они сами знают, куда ступить; а вы их удерживайте, успокаивайте... Ну с богом!..

Геннадий полагал, что по такому крутому спуску проводник поведет лошадь не прямиком, а наискосок по склону. Но Гмызин поставил ее прямо, крепко взял под уздцы и, сдерживая и осаживая ее, пошел вниз, к реке. Каурый приседал на задние ноги, пытался высоко поднять голову, но проводник держал его крепко, не давал остановиться или ускорить шаг. Так, метр за метром они спустились с горы.

Гмызин махал им руками. Сверху фигура его казалась маленькой. Геннадий сейчас, когда проводник был внизу и его фигуру можно было сравнить с соснами, прикинул расстояние: метров триста, пожалуй...

— Сумеешь так? — спросил Олег Григорьевич.

— Нет, — признался он. — Так не сумею. Поведу туда-сюда. Знаете, так: зиг-заг, зиг-заг... А вы не начинайте спуска, пока я до Трофима Петровича не доберусь...

Первый отрезок, метров двадцать, Геннадий прошел хорошо, но, когда поворачивал лошадь, она вдруг осела на задние ноги и высоко задрала морду; Геннадий буквально в последнее мгновение успел резко дернуть поводья и направить ее в нужную сторону.

Так, постепенно разворачивая лошадь то в одну, то в другую сторону, Геннадий спустился вниз.

— Хорошо, хорошо! — кричал сверху Буров. — Идем за тобой...

Начала спускаться Вера, ведя в поводу вороного жеребца. Это была самая тихая, самая покорная, но в то же

время и самая ленивая лошадь в отряде. Вороной еле тащился за Верой; прежде чем поставить ногу, он несколько раз ощупывал копытами землю и, лишь убедившись, что под ногой твердь, ставил ее.

И сразу же за Верой, решив, видимо, что все идет хорошо, пошла Елена Дмитриевна. Она, наверное, убедила Бурова, что ничего не понимает в лошадях, поэтому вели гнедого они вдвоем: Елена Дмитриевна впереди, а Буров сбоку придерживал его под уздцы. Геннадий видел, что первые метры они прошли благополучно.

Но потом, видимо, что-то случилось. Елена Дмитриевна стояла рядом с гнедым, а Олег Григорьевич, размахивая руками, бегал вокруг вороного, которого держала за поводья Вера. Видно было, как лошадь то приседала на задние ноги, то вскакивала, как суетился Олег Григорьевич, но невозможно было понять, что там происходит.

Геннадий, даже не оглянувшись на проводника, полез в гору, но Гмызин спокойно сказал:

— Вернись. Там же мужик. Справится...

Наконец вороной тронулся с места. Вера шла справа, крепко держа поводья; Буров слева руками поддерживал суму, которая почему-то скатывалась под брюхо лошади.

— Вот скотина! — Проводник равнодушно выругался. — Опять подпруга ослабла...

В отряде имелось единственное настоящее вьючное седло, и его всегда водружали на вороного, который и нес сумы. Они быстро и легко навешивались кольцами на крючки. Так же легко они и снимались. На ровной дороге нетрудно поправить ослабевшую подпругу завьюченной лошади: поддержать плечом суму, свободными руками подтянуть на одну-две дырочки ремень. На склоне, да еще на таком крутом, даже вдвоем это сделать трудно, надо и лошадь держать, и суму руками подпирать...

То ли поскользнувшись, то ли обходя камень, Олег Григорьевич на какое-то мгновение отпустил суму, и она тут же упала под ноги лошади; вороной, испугавшись, замотал головой и вырвал поводья из рук Веры; правая сума, которую до этого уравновешивала левая, на одну секунду оказалась на хребте вороного и потом, отцепившись от седла, покатилась вниз. Вороной с седлом на боку, никем не удерживаемый, помчался по склону. Его задержал Мишка, вовремя появившийся с охоты. Геннадий уже готов был отругать его, но сдержался, подумал,

что отец его отчитает сам. Но Гмызин, словно ничего не случилось, сказал:

— Лезь. Помоги девке. Не сведет она.

И Мишка полез в гору помогать Вере. Когда все спустились, Буров стал отчитывать Веру:

— Вам надо было придержать лошадь всего одну секунду. Одну, понимаете?! А вы отпустили...

— Да не отпускала я ее... Она сама вырвалась...

— Бросьте оправдываться. А если бы лошадь угробили? Да вы знаете, сколько бы мне платить пришлось?! Знаете?

— Не знаю! А если вы знаете, так и вели бы ее сами. — Она вдруг перешла на крик: — Сами руки в брюки, а я лошадь веди...

— Я не могу все сам, — твердо сказал Буров. — Я знаю, что мне делать самому...

— А чо сердиться-то? — вступил в разговор проводник. — Лошади целы. Сами живы. Ну если царапина где какая, так заживет. Чо сердиться-то?

— Царапина, — пробурчал Буров. — Нельзя же быть такой... такой растяпой... Это какая сума? Какой номер? — вдруг спросил Буров, указывая на ту, что лежала у ног Геннадия.

— Номер? — Геннадий перевернул суму, посмотрел. — Номер четыре, товарищ начальник!

— Четыре! Там же фотоаппарат! Ну-ка!

Развязывая суму, Геннадий сказал:

— Аппарат, между прочим, не на лошади надо возить...

— Ладно, ладно! — миролюбиво сказал Буров и выдернул из рук Геннадия фотоаппарат, осмотрел его, потом снял чехол. — Ну так я и знал! Так и знал! Вот, пожалуйста: крышку сорвало. Что теперь делать? Это же надо! Такая халатность...

— Можно? — Геннадий взял аппарат из рук Бурова, осмотрел отошедшую крышку, снял ее совсем, поставил снова и повернул защелки. — Пожалуйста.

— Что? — недоверчиво посмотрел на него Буров. — И снимать теперь можно?

— Как и раньше. Только на другую пленку. А эту, засвеченную, оставьте себе на память о беспечности...

Вера вдруг разрыдалась, закрыла лицо руками и бросилась через кустарник к речке.

— Что это она? — спросил проводник.

— Нервный шок, — сказал Олег Григорьевич, — пройдет...

Геннадий пошел вслед за Верой...

Она сидела на камнях и, наклонившись к реке, пила из ладони воду.

— Успокаивать меня пришли? — увидев Геннадия, спросила Вера.

— Нет, Вера. Не умею. А вообще-то успокойся. Все страхи позади. Как говорит Гмызин, руки-ноги целы...

— Вы думаете, я испугалась? — тихо спросила Вера и, не ожидая ответа, продолжала: — Нет. Я, наверное, не поняла сразу, что может произойти... Но почему он так на меня кричал? Вы слышали? А лошади, наверное, моих волос испугались... Пойдемте...

— Не может быть, — серьезно заявил Геннадий. — Лошади тоже понимают красоту... — Вера стрельнула в него взглядом, вспыхнула. — Я не смеюсь, Вера. Только когда ты так... дуешься... ей-богу, не идет тебе. Не надо. Смотри на вещи просто, как сказал товарищ Маяковский. Пойдем! Утри лицо и не расстраивайся. — Геннадию вдруг по-настоящему стало жаль ее, маленькую, беспомощную, обиженную. — Пойдем, Вера...

Они вышли из кустарника как раз в тот момент, когда Елена Дмитриевна спустилась с горы.

— Ну вам везет, Елена Дмитриевна, — сказал, пытаясь улыбнуться, Буров. — Без ЧП обошлось.

— Мне всегда везет, — не очень вежливо отозвалась Воробьева. — И во всем... Это же надо такое придумать... — Она взглянула на гору, с которой только что сошла. — Это же самоубийство какое-то... Интересно, сколько здесь градусов? — повернулась она к Бурову.

— Уже измерил, — ответил он. — Сорок пять. Или около этого...

— Ого! Даже в жар бросило. А вы, я вижу, уже умылись? — посмотрела она на Геннадия и Веру. — Пойдемте, Олег Григорьевич, и мы. Пойдемте, пойдемте, проводите меня! — настойчиво повторила она. — Ополоснуть лицо не мешает. Горит...

А утром, когда лошади были завьючены и отряд готовился выступить в дорогу, Вера сказала:

— Мы больше времени тратим на сборы да на дорогу, чем на работу! — Буров посмотрел на нее с любопыт-

ством. Вера продолжила: — Сейчас бы нам поработать до полудня, потом пообедать и шагать до вечера. Ведь лучше же так, правда? — Все молчали. — Ведь у вас же намечены места, где мы должны работать? — Это она говорила Олегу Григорьевичу. — Вот там и надо ночевку устраивать, а с утра работать...

— Ну знаете, — развел руками Буров. — Интересно... Первый раз в экспедиции, а тоже...

Веру неожиданно поддержал Трофим Петрович:

— А она дело говорит.

— Ничего не будем менять, — сказал Буров. Подумал и добавил: — Идти с обеда до вечера трудно. Вы первая отдыха запросите.

— Так я не о себе, — вяло сказала Вера. — Я о деле...

— О деле есть кому позаботиться. Все! Выступаем!

Геннадий подумал и пришел к выводу, что предложение Веры было разумным, если бы такую мысль высказал Гмызин, начальник согласился бы с ним, а соглашаться с девчонкой, первый раз попавшей в тайгу, он не мог — гордость не позволяла.

Вряд ли Буров думал, что его отношение к Вере как-то скажется на работе и жизни всего отряда. Но так случилось. И первым воспользовался этим Мишка, решив сделать Веру мишенью для своих насмешек.

...Шли на этот раз не по тропе, а по заброшенной дороге, довольно просторной для вьючных лошадей. Вовсю палило солнце. Вера сняла энцефалитку, шагала в купальнике, отмахиваясь курткой от комаров.

Елена Дмитриевна шла в полной форме. Широковатая куртка на «молнии» и брюки прятали ее нескладную фигуру. А Вера хоть в куртке, хоть без нее — картинка. Мишка и раньше поглядывал на нее, прищелкивал языком, кривлялся, подмигивал.

Олег Григорьевич крикнул им, чтобы остановились, позвал проводника, и они стали что-то обсуждать. Воспользовавшись незапланированным привалом, все присели.

Вдруг Мишка сказал:

— А ты, рыженькая, видать, и горячая. Такая аппетитная...

Вера беспомощно оглянулась, словно ища защиты у Елены Дмитриевны, но первым вмешался Геннадий.

— Миша, — ласково сказал он, — если ты сейчас же не извинишься перед Верой, то я... — Он запнулся, ища нужное слово.

— То что тогда? — заинтересовался, улыбаясь, Мишка.

— То я тебе набью морду, — пообещал Геннадий.

Тут вмешалась Елена Дмитриевна.

— Михаил! — резко сказала она.

— Подумаешь! — Мишка не обратил внимания на реплику Воробьевой. — Подумаешь! Извиняться перед всякой...

Не разворачиваясь, Геннадий ткнул кулаком в подбородок Мишки. Тот завалился на спину.

— Можешь не извиняться, если язык не поворачивается, но если я еще раз такое услышу... Я могу сейчас снять с тебя штаны и высечь так, как батька в детстве не хлестал. Но я этого делать при женщинах не буду... Понял все?

— Ладно, — сказал Мишка. — Подумаешь...

На следующий день отряд остановился на дневку.

Вера решила искупаться. Она отошла немного от стоянки, нашла место, где на берегу было много кустов, разделась и шагнула в реку. Забрела по пояс, присела несколько раз. Холодная вода приятно обожгла спину, грудь, плечи. Течение сбивало с ног, пришлось вернуться к берегу, где вода едва доставала до коленей, но течение было слабее, и можно было спокойно стоять. Наклонившись, она плескала воду ладонями на шею, на плечи, обтирала грудь, живот... Мелкие рыбешки толклись у ног, приятно щекотали пальцы. Вера выпрямилась и, сгоняя руками остатки воды с тела, вышла на берег, быстро оделась.

Вера не слышала, как сзади подкрался Мишка. Он цепко схватил ее за руки, Вера рывком вырвала одну руку, но Мишка зажал ей рот. Она пыталась укусить грязную, потную ладонь, не удалось. Тогда она резко присела; рука Мишки скользнула вверх по лицу; Вера нащупала на земле палку, замахнулась, Мишка отпрянул; удар пришелся по лицу. Почему Вера не закричала, когда он вторично бросился на нее, сама не знает, надо бы, конечно, крикнуть... Успела сцепить руки замком перед грудью и, когда Мишка пытался прижать ее, толкнула изо всех сил. Не удержавшись на ногах, Мишка свалился в кусты, а она схватила куртку и бросилась к стоянке.

— Где Олег Григорьевич?! — спросила она у проводника, который сидел у палатки.

— Так он же вона пошел, — ответил Гмызин-старший. — Вона-а-а... Догонишь... А Мишка червей где-то роет... Не видела?

— Нужен мне ваш Мишка, — ответила она зло, взяла гербарную папку, пошла догонять Бурова. Когда впереди показалась его спина, Вера сбавила шаг.

Олег Григорьевич не обернулся ни разу. Вера вдруг подумала: она же выскочила на тропинку, оттолкнув Мишку, когда Олег Григорьевич только-только прошел по ней, направляясь в тайгу. Неужели он видел их? А если видел, то почему же не вмешался?..

Буров несколько раз сверялся с картой, что-то говорил себе под нос и шел дальше. Вера молча следовала за ним. Километра три, наверное, прошли молча. Наконец Буров остановился.

— Выкопайте это! — обратился он к Вере и указал пальцем на какое-то растение. — И это...

Вера открыла папку и ахнула.

— Олег Григорьевич, я потеряла копалку... Можно вашим ножом...

Буров крякнул досадливо, пошарил рукой по правому боку, где у него всегда болтался нож в чехле... Ножа не было...

— Как потеряли? — строго спросил Буров.

— Не знаю... Может, не потеряла, а в лагере оставила, но я всегда ее здесь храню... В папке... Я с реки пришла, вас нету, схватила папку и за вами...

— Да... — сказал он и вздохнул тяжело. — Вот видите, к чему приводит ваше... ваше вот такое поведение...

Вера с удивлением смотрела на него. Какое поведение? О чем он говорит?

— Вы знаете, за это не только из отряда выгоняют, но и такую характеристику дают некоторым особам...

— Какую характеристику? — с вызовом спросила она. — За что?

— А вы даже и не видели меня, — он покачал головой. — Не до того было. Выскочили из кустов. Растрепанная. Я вижу, разговоры с вами не идут на пользу. Занимайтесь этим дома, это ваше дело, но здесь я не позволю...

— Чем «занимайтесь»? — выкрикнула Вера. — О чем вы?

— Не кричите! — одернул Буров. — И не говорите, что, мол, Мишка к вам первым... гм... подошел...

— Но ведь он в самом деле подошел...

— Почему же к другим не подходит? А? Почему к вам?

— Спросите у него!

— У Мишки здесь отец. Пусть он спрашивает. А вас я взял под свою ответственность, я за вас отвечаю перед институтом... Надо держать себя строже, не позволять даже думать о себе... Вот Елена Дмитриевна...

— Не буду! — вдруг крикнула Вера и бросила папку в траву. — Не буду я работать с вами. Пусть Званцев с вами работает, а я с Воробьевой...

— Ах, вон что?! — угрожающе сказал Буров. — Вы мне вздумали диктовать свои условия! Так я вас и обратно могу отправить, как раз сейчас мы находимся недалеко от базы...

— И отправляйте! Хоть сегодня же! Хоть сейчас!

— Идемте! — сказал он и, не оглядываясь, зная, что она выполнит это его указание, зашагал обратно в лагерь. — Будете еще мне подсказывать, кого и с кем направлять в поле... У меня еще в отряде такого не случалось... Я разбираться с Мишкой не буду. Имейте девичью гордость... Я напишу Корешкову о вашем поведении...

* * *

Эхо выстрела гулко прокатилось над пышной долиной Сайды.

— Что это? — забеспокоилась Елена Дмитриевна.

— Ч-ш-ш-ш! — предостерегающе прошипел Геннадий, приставляя палец к губам. — Кричат.

Приглушенный размашистыми кедрами, густым кустарником и жесткой травой, крик повторился; теперь он едва долетал до опушки, где Елена Дмитриевна и Геннадий только что начали работу.

— Что у них там стряслось? — раздраженно буркнул Геннадий. — Надо возвращаться.

Подперев ладонью щеку, Вера сидела на туго свернутом спальнике и, казалось, не заметила их появления в лагере. Рыжие волосы беспорядочно падали на плечи, а спереди свисала на лоб огненная прядь, которую Вера обычно прятала под синий берет. Геннадий давно приметил, что, если прядь не убрана, значит, Вера не в духе. Рядом со спальником валялся набитый, круглый как шар рыжий рюкзак. Только у Веры он такой, под цвет ее волос.

— Раздумали, что ли, на гору идти? — спросила Елена Дмитриевна. — Или собрались сниматься?

— Я уже собралась! — Вера даже не взглянула на нее.

— Уходим, значит? — будто не замечая ее тона, пыталась уточнить Елена Дмитриевна.

— Я ухожу.

— Ай-я-яй! — покачал головой Геннадий. — С тобой же серьезно говорят.

Вера резко повернулась к нему. Взгляд сердитый, гневный.

— Серьезно можете говорить со своим любимым начальником, а не с легкомысленной лаборанткой!

Олег Григорьевич сидел на чурбаке возле палатки, изучал какие-то бумаги.

— Присаживайся, — хмуро кивнул он Геннадию. — А вы, Елена Дмитриевна, отдыхайте пока.

— Ясно, — сказал Геннадий, располагаясь на траве. — Мужской разговор. Тет-а-тет. Аудиенция у короля.

— Хватит, — поморщился Олег Григорьевич, потом спросил: — Как думаешь, пятьдесят километров можно за два дня по тайге пройти?

Геннадий присвистнул:

— Да... Серьезный вопрос. Только за этим ты и стрельбу учинил?

— Слушай, Геннадий. Ты можешь не дурачиться?

Геннадий через плечо пальцем указал на Веру.

— Вон та девочка не пройдет. Даже по тропе. А если Гмызин снова потащит нас по болотам да по гарям...

— Он тащит нас туда, куда я велю, — оборвал Олег Григорьевич. — А по реке? По реке можешь пройти? Вдоль реки?

— Ну знаешь! — Геннадий театрально развел руками. — Кроссворды решать у меня что-то охоты нет сейчас...

— Можно и без кроссвордов, — сдался Олег Григорьевич и взял карту. — Смотри: мы находимся здесь! — Карандаш уперся в точку на карте, где синяя извилистая лента делала крутой изгиб. — А где-то здесь Ивановка, до нее всего около пятидесяти километров...

— Ты же говорил, что мы пойдем вверх по Сайде, — перебил Геннадий.

— Но отказываюсь от своих слов... Мы вверх. А ты вниз. Вот держи, — он протянул Геннадию запечатанный конверт. — Вручишь Корешкову, сдашь ему эту даму, —

он показал глазами на Веру, — с собой приведешь Катю. Мы будем ждать вас в устье Бобровки, вот здесь. Собирайся и выходи сейчас же...

Так вот, значит, зачем вызвал его Олег Григорьевич! Все-таки решил отделаться от Веры, хотя Геннадию непонятно, какая кошка между ними пробежала. Ну пререкается иногда, ну в чем-то не соглашается с начальством. Неужели нельзя найти другое решение? Геннадий угрюмо сказал:

— Каждый солдат должен понимать свой маневр в бою. Это еще Суворову было ясно... Может, ты объяснишь мне, что произошло? Почему ее надо сдавать?

— Хорошо. Объясню. Мне в маршруте таких порхающих созданий не надо. Сегодня опять учудила: оставила копалку в лагере, в результате день пропал. У меня ответственная работа, а не веселый туристский поход.

— А мне, значит, предстоит веселая развлекательная прогулка на пятьдесят километров? Спасибо! Подумаешь, копалку оставила. Вернулись бы за ней или ножом копали... И почему я? Пусть Мишка идет, а я вместо него кашу варить буду. Справлюсь.

Олег Григорьевич не на шутку рассердился:

— Я знаю, что мне делать! Мишку я брал не затем, чтобы назад отправлять. А тебя не для того, чтобы слушать твои грубости. Я не посмотрю, что Корешков...

— Стоп! — остановил его Геннадий. — Это запрещено!

— Вот и молчи. Собирайся. Продуктов бери на три дня. Ружье. Спальник...

Подошла взволнованная Елена Дмитриевна.

— Олег Григорьевич, что у нас происходит?! Вера схватила спальник и убежала...

— Как убежала?

— Сидела у реки, потом поднялась...

— Я так и знал, так и знал! — заметался возле палатки Олег Григорьевич. — Елена Дмитриевна, догоните ее, верните... Или нет. Геннадий, быстро собирайся, что ты прохлаждаешься? Шевелись, шевелись, чтобы неприятностей не было. Хватай спальник, продукты, патроны... Топорик я сейчас вынесу...

Геннадий выволок из палатки спальник, быстро стал бросать в рюкзак продукты. Олег Григорьевич уже совал ему в руки патроны...

— Карту! — привязывая к спальнику лямки из тесьмы, потребовал Геннадий.

— Без карты обойдешься, ты все время по реке, по реке, — но, увидев, что Геннадий демонстративно сел на спальник и полез в карман за сигаретами, сдался: — Ну ладно, ладно... Только не потеряй! Голову снимут! — И опять полез в палатку.

— Олег Григорьевич, спичек прихвати на запас, — вслед ему сказал Геннадий.

Олег Григорьевич вскоре выбрался из палатки.

— Вот! Бери! Не теряй! Спички в целлофане.

Геннадий нацепил на пояс топорик, забросил за плечи рюкзак, спальник, увидел на траве остатки тесьмы — подобрал, взял ружье.

— Торопись, торопись! — подгонял Олег Григорьевич.

— От меня не уйдет, — успокоил Геннадий. — Ну привет и наилучшие пожелания! До встречи в устье Бобровки!

И быстрым шагом пошел к реке по тропинке, которую за день стоянки успели они протоптать.

Берегом шагать нелегко. Чем ближе к воде, тем ниже склоняются над гремучей Сайдой развесистые кустарники, ветви черемух, тальники.

Вера шагала на этот раз по-мужски размашисто и быстро. Геннадий следом за ней почти бежал, а расстояние между ними сокращалось медленно. Синий берет Веры то мелькал на зеленом фоне березок, промытых недавними дождями, то исчезал за одним из многочисленных поворотов Сайды.

Груз у Геннадия не тяжел, но громоздок и неудобен. Вере легче. Ружья у нее нет, рюкзак маленький, на ногах кеды, а не огромные сапоги.

Но вот наконец-то он догнал Веру. Она сидела на поваленной ветром сосне. Геннадий перевел дух, спросил как можно спокойнее, хотя все в нем кипело:

— Отдыхаем, значит?

— Вас жду. Боюсь, что не догоните.

— Да. Бегаешь ты здорово, не так, как в маршруте.

Вера не обиделась:

— Даже лошадь домой быстрее бежит.

Геннадий промолчал. Ссориться не хотелось, да и Вера, подумалось ему, не намерена оправдываться, она приготовилась к нападению.

— Ну, получили задание сопровождать меня? — с вызовом спросила она.

— Нет, — ответил Геннадий, злясь уже не на нее, а

на Олега Григорьевича. — Добровольно за тобой помчался.

— Ну, ну... И что же сказал вам на прощание дорогой начальник?

— Написал дипломатическую ноту Корешкову.

— Да? Вы читали?

— Тайна переписки охраняется законом...

— Смотрите-ка! — удивилась Вера. — А я думала, что он вам все доверяет... Отдохнули?

— Почти... Слушай, а что это вы характерами с ним не сошлись?

— Характерами пусть с женой сходятся... Что же дальше будем делать?

— Топать. Я впереди, ты за мной. Погоди, а ты что, всю дорогу спальник в руках будешь нести?

— Мне же никто не сделает так, как у вас!

Геннадий вытащил из кармана тесьму, приделал лямки.

— Спасибо, — поблагодарила Вера. — Идите, пожалуйста, первым. Там, за поворотом, Мишка рыбачит, а я не хочу с ним разговаривать.

— Ладно.

Мишка в стороне от тропинки бродил с удочкой по берегу. Геннадий свернул к Сайде. Вера ушла вперед.

— Куда собрался? — спросил Мишка.

— Да так, Миша. Начальник дал задание прогуляться по тайге, чтобы аппетит лучше был перед твоим обедом.

— А она? — Мишка кивнул на удалявшуюся Веру.

— Ей тоже полезно подышать свежим воздухом.

— Тайна, значит. А я богато сегодня наловил! — Он похлопал ладонью по брезентовому мешочку, из которого высовывалась ярко-красная рукоятка. — Здесь озеро близко есть, я пройду, на червя попробую, там окуни здоро-о-вые водятся. Не обедали еще?

— Ждут, когда ты приготовишь. Зачем столько рыбы хапаешь? Протухнет.

— Засолю, — ответил Мишка. — Ведро есть. А чо? Лошади не довезут, что ли? Домой приедем — хариус соленый будет.

— А щеку-то где разодрал? — спросил Геннадий.

— А-а... — Мишка дотронулся грязными пальцами до щеки. — Это... Это я на сучок напоролся. А чо, заметно?

— Кровь смой, а то присохнет...

— Присохнет, отколупну.

— У тебя есть лишние мушки? Дай пару.

— Пару не дам. Одну. Вот бери мою вместе с леской. А крючки есть?

— Есть. — Геннадий смотал леску на конец удилища, обломил, сунул в карман. — Ну пока!..

— Поговорили с этим идиотиком? — спросила Вера, когда Геннадий догнал ее.

— Он рыбачит, — ответил Геннадий. — Щеку разодрал, на сучок напоролся...

— Жаль, что тот сучок маленький был... Вы его, конечно, пожалели, приласкали?

— От моей жалости толку... Зарастет как на собаке...

— Собак учат, — сказала Вера. — А он... А впрочем, теперь все равно...

— Ох и злая же ты, Вера, — покачал он головой. — Достанется от тебя будущему мужу.

— Ну вам это не грозит!..

Они долго шли молча. Прошли несколько километров вдоль берега. Где-то далеко раскатывался глухой гром. Ветерок становился прохладнее. Темнело...

Теперь они шли по галечнику. Справа — скалы, слева — Сайда. Круто обрывающиеся каменные плиты уходили в глубину, перебраться на другой берег не было возможности, а на этом ни кустика, ни деревца, под которым можно на ночь от непогоды укрыться.

Прошли еще с километр, пока река не стала шире. Геннадий сел на галечник, снял плащ, рюкзак, брезентовую куртку, закурил.

— Перекурю, и будем реку переходить. А что у тебя все же произошло с Буровым? — спросил он.

Вера сердито взглянула на него.

— Ну, ну, — поторопился остановить ее Геннадий. — Не хочешь, не рассказывай...

— А я не на исповеди, чтобы рассказывать! Ладно! Переживу. Он думает, что я у Корешкова буду работать. Спасибо... — Вера решительно пошла к реке.

— Вера! — крикнул Геннадий. — Подожди. Пойдем вместе.

— Встретимся на том берегу! — весело ответила Вера.

— Ну тогда держись ниже. Выше камни.

— Вот по камням я и перейду...

Геннадий зло махнул рукой, но не пошел вслед за Верой: жаль было выбрасывать недокуренную сигарету, давно не курил...

А Вера брела по воде и думала о том, что через несколько минут согреется у костра, переоденется в сухое белье, поужинает, а потом отдыхать, отдыхать, отдыхать...

* * *

Геннадий видел, как Вера медленно двигалась, осторожно прощупывала ногами дно. Вот она пошатала дерево, которое лежало на камнях, крепко ли держится оно? Ступила одной ногой на зеленоватый ствол и, держась двумя руками за уцелевший сучок, начала поднимать из воды вторую ногу, но в этот момент сучок хрустнул. Вера, не вскрикнув даже, повалилась в Сайду и не успела еще скрыться под водой, как Геннадий вскочил, быстро расправил отвороты сапог. Широкие голенища поднялись выше колен. Вера еще не вынырнула, по реке лишь плыл ее синий берет, а Геннадий уже бежал на помощь. Вот Вера появилась из воды около дерева. На ней не было ни плаща, ни рюкзака, ни спальника. Взмахнув руками, она схватилась за дерево, стала карабкаться на него. Геннадий подбежал к Вере, протянул руку, чтобы помочь, и... рухнул в воду, но сразу вынырнул, схватился за ствол. Как раз под деревом была яма, а ниже по течению огмель...

Рыжий рюкзак Веры Геннадий выловил метрах в двадцати от ямы.

— А плащ? Плащ где?

Дрожа от холода, Вера показала рукой под воду. Там, зацепившись полой за сучок, полоскался плащ. Геннадий выхватил его, скомкал, выбросил на берег к ногам Веры.

— А спальник?

Вера стучала зубами:

— Н-н-не знаю...

Метров сто Геннадий бежал берегом, пока наконец не убедился в бесплодности поисков. Он промок насквозь, рубашка и майка прилипли к телу, с трудом тащил сапоги.

А Вера, поджав под себя ноги, опустив голову на колени, сидела неподвижно и, казалось, ничего не замечала: ни исчезновения спальника, ни сгустившейся вдруг темноты. Он сказал устало:

— Не нашел...

Вера равнодушно и вяло указала на реку.

— Может, там... В яме...

Пришлось снова, перебирая руками по стволу дерева, идти в воду, шарить ногами по дну... Да! Такое нечасто бывает: спальник зацепился крепкой шпагатной завязкой чехла за ветку. Геннадий с трудом выволок спальник на берег: он разбух и потяжелел.

Оглядел ближайшие кусты. Тальник. Тополька виднеются... Едва ли найдутся дрова для костра. А их много надо...

— Вера! — Он сунул ей мокрый плащ, закинул за плечи тяжелый рюкзак, в одну руку взял спальник, другой ухватил дрожащую девушку. — Бежим! Быстрее!

Не может быть, чтобы мелкий кустарник тянулся на километры. Есть же где-то впереди настоящий лес с настоящими дровами...

В довершение всех бед на них обрушился дождь, но все, что могло намокнуть, уже вымокло. На противоположном берегу оставались вещи Геннадия; он с тревогой думал сейчас: куда бросил куртку? На мешок или рядом с ним? Помнил, что плащ снял сразу, на него положил спальник и рюкзак, сверху ружье, а вот прикрыл ли все курткой, не помнил...

— Я не могу! — задыхалась Вера.

— Можешь, можешь! Еще немного...

Он и сам выдыхался. Руку оттягивал спальник. На спине тяжелый рюкзак.

Река круто повернула на восток. Остановились.

Геннадий, обнаружив, что все еще держит Веру за руку, разжал пальцы.

— Вера, я тебя прошу, не стой, не сиди, а ходи, бегай, грейся. Если можешь, собери сухих дров. Я сейчас вернусь.

— Куда вы?

— Не бросать же вещи в тайге... — крикнул Геннадий на бегу.

Он облегченно вздохнул, когда увидел, что спальник, рюкзак и ружье прикрыты курткой.

Дождь неожиданно кончился.

Вера сидела там, где ее оставил Геннадий. Дров рядом не было. Вера, увидев его, заплакала. Геннадий погладил ее по плечу. Плечо мелко дрожало...

— Ну успокойся, успокойся. Все прошло. Сейчас разожгу костер, отогреемся, поужинаем...

Он собрал немного хвороста. Разжег небольшой костер и снова с топориком пошел в заросли...

Потом у костра скептически оглядел запас дров. Маловато! Даже согреться не успеют, а еще одежду сушить...

Вера стояла у костра, поворачиваясь к пламени то одним, то другим боком. Он взглянул на нее, мокрую, жалкую, и начал перерывать свой рюкзак. Нашел свое белье, протянул Вере:

— Держи. Переоденься... Ну что ты на меня так смотришь? Иди в кусты, переодевайся. А свое суши.

— А если я не буду переодеваться? — спросила тихо, но, показалось ему, с нотками вызова, и он не сдержался, закричал:

— А я заставлю! Понимаешь?! Заставлю!

— Ну? — так же тихо удивилась Вера. — Как это?

— Силой! — ответил зло Геннадий. — Понимаешь? Возьму и заставлю!

Вера, поджав губы, посмотрела на него внимательно, поняла, что не шутит, резко повернулась и пошла в кусты.

— Стой! — сказал он, не меняя тона. — Сними с себя все! И энцефалитку и брюки! Поняла? А сверху вот! — Бросил свою запасную рубашку. — Кстати, у меня есть берет. Достать?

— Нет... Волосы еще не просохли...

— Ну твое дело... Иди...

Сел у костра, взглянул на часы. Ну конечно! Это все-таки обычная «Победа», а не водонепроницаемая. Часы стояли. Да и зачем знать точное время? Ясно же: сейчас ночь, потом будет утро, будет дальняя дорога.

Тонкие сухие палки сгорали быстро, свету от них много, а жару никакого, придется искать дрова посолиднее.

— Вера! — крикнул в кусты. — Я ухожу за дровами.

Ее голос прозвучал откуда-то справа:

— Пожалуйста, не ходите далеко. Я одна боюсь...

Она, видите ли, боится в тайге, на берегу, у костра, а он должен шарить в зарослях, искать сушняк, мерзнуть. После минутного сидения у костра сильнее чувствовалась сырость, ночная прохлада.

Трижды он приносил хворост. Потом нарубил колья и рогульки для одежды, поставил на костер котелок с водой, закатил в огонь банку тушенки, вытащил кружку.

— Сейчас будем ужинать.

— Я не хочу, — сказала Вера.

— Капризы оставь до возвращения домой. Здесь я приказываю

— Честное слово, не хочу. Я лучше у костра погреюсь.

— Одно другому не мешает. Мерзнешь?

— Да! — подумала и добавила резко, словно его обвиняя: — И у меня болит голова.

— Ты не ударилась, когда падала в воду?

— Нет... Я же спиной упала.

Спиной... Как будто есть разница. Вот морока. Аптечка в отряде хорошая, но Геннадий не догадался взять хотя бы самые простейшие лекарства от головной боли. Да и когда ему было брать-то их?!

— Ничего, — успокоил он, — это от волнения. Пройдет. А есть ты будешь. Я тебя с ложечки накормлю. Как мама в детстве. Помнишь, наверное?

— Нет! — вдруг выкрикнула она. — Не помню.

Геннадий растерялся.

— А что я сказал? Ну извини...

Вот и попробуй ее развеселить. Ему поручили доставить Веру в отряд, остальное его не касается. Придут завтра в Ивановку, послезавтра махнет рукой своей спутнице: «До свидания!» Хотя никакого «свидания» не будет, не увидит он ее в другой раз. Вера, конечно, сдержит свое слово, у Корешкова она не останется, уедет домой...

И тут он поймал себя на мысли, что ему не хочется с Верой расставаться, что ему приятно с ней разговаривать, сидеть у костра, заботиться о ней — хрупкой и беспомощной, выслушивать ее резкие слова... И еще подумал о том, что скучно будет в отряде теперь. Ни посмеяться, ни пошутить, ни поругаться...

— Вера! — позвал он.

Она медленно повернулась лицом к огню.

— Да.

— Я тебе налью немного спирту...

— Вот еще...

— Надо растереть ноги и грудь. Потом теплее укроешься...

Спирт к нему попал случайно. Олег Григорьевич перед выходом в маршрут тайком от Гмызина дал ему фляжку: «Храни у себя. Сдается мне, что проводник будет клянчить, а отказать неудобно».

Он развернул свой спальник, повесил на двух палках, с другой стороны, как ширму, приспособил плащ, налил в кружку из фляжки.

— Садись. Натирайся и лезь в мешок. Не в свой, конечно, а в этот...

Вера, смочив в кружке кончики пальцев, водила ими по обнаженным ногам.

— Погоди! Что ты делаешь? — удивился он.

Вера выпрямилась и с недоумением посмотрела на него.

— Как что? Сами же сказали...

И так по-детски вытянула губы, что Геннадий, который уже готов был рассмеяться, пожалел ее, сказал серьезно:

— Разве так втирают спирт? Тебе что, ни разу не приходилось? Наливай спирт в ладонь и три, пока кожа не покраснеет. Давай я помогу.

— Вот еще! — И продолжала осторожно, нежно гладить ногу ладонью.

Случись такое в отряде, он бы не настаивал, пусть делает все что угодно. Но здесь, в тайге, ночью, он не мог быть равнодушным к ее беде. На Бурова ему наплевать, но как он оправдается перед собой, если с ней что-нибудь случится?

— Ну-ка садись! — решительно сказал он и так же решительно взял у нее из рук кружку.

— Я сама! — Вера поняла его намерения.

— Садись, я тебе говорю! — закричал Геннадий и тут же удивился: Вера послушно села, вытянув ноги.

Он подошел к ней, опустился на колени, из кружки плеснул на ноги, ладонями принялся растирать. Его лицо было рядом с лицом Веры, ее волосы касались его щеки, он чувствовал ее дыхание...

— Ой, больно!

— Терпи. Ну а теперь не больно? — спросил грубо, чтобы не подумала, будто он ее жалеет, хотя на самом-то деле этого нельзя было скрыть — жалел он ее.

— Нет. Горит все...

Еще раза два провел по ногам, которые заметно покраснели, встал, не глядя на Веру, сказал сухо и жестко:

— Теперь лезь в мешок и натирайся сама. Натирай грудь. — Геннадий подошел к костру, потрогал белье. — Твои... купальники еще не высохли. Будешь спать в том, что на тебе. Говори спасибо, что я перед бродом мешок с себя снял.

— Спасибо, — прошептала Вера. — Мне так неудобно

перед вами. Я как маленькая искупалась и заболела, а вы еще должны меня лечить.

— Ты не заболела, — утешил ее Геннадий, наливая спирт в кружку. — А что маленькая — это верно... Выпьешь?

Вера испуганно отстранилась:

— Нет. Не буду! А он горький?

— Ты что? — удивился он. — Не пила, что ли? Горький, Вера, как всякое лекарство. Ну давай вместе. — Он налил во вторую кружку.

Вера решительно выпила, Геннадий даже не предполагал, что она так сделает, замотала головой, замычала, боясь раскрыть рот, схватилась рукой за горло, наконец выговорила:

— Жжет... Противно... Бр-р-р...

Он придвинул банку с тушенкой, ложку. Выпил сам. Взял деревянную неудобную лопаточку... Молча закусил...

— Давай одной ложкой есть, — предложила Вера, и он не сразу заметил, что она впервые к нему так обратилась. — Бери, твоя очередь. Ты никогда так не ел? Мы с девчонками в прошлом году в колхозе, когда только приехали, трое одной ложкой ели... Я, знаешь, почему-то страшно захотела есть... А ты очень испугался, когда я в воду свалилась?

— Очень, — откровенно признался Геннадий.

— Думаешь, утонула бы?.. Я знаешь как плаваю?! Свалилась, под воду ушла, хочу вынырнуть и не могу, держит что-то... Тогда отвела руки назад... Нет, сначала плащ как рвану... Пуговица отлетела. Потом руки назад, выскользнула из рюкзака и спальника. Ты бы так попробовал. Думаешь, легко?

— Не думаю, — снова улыбнулся он. — Еще подогреть тушенки?

— А нам хватит на завтра? Да, ты же завтра хариусов поймаешь... Ну давай еще полбанки съедим...

Геннадий закатил в костер вторую банку.

— А можно мне прилечь, пока тушенка разогревается? Ты не будешь на меня ругаться? Нет? А зачем ты куришь, ведь мы еще будем есть, и опять одной ложкой... Здорово, правда?

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он. — Голова не болит?

— Мне лучше... А знаешь, Геннадий, я давно тебе хотела сказать: ты какой-то серьезный... Ведь я же девчон-

ка по сравнению с тобой... Ой, а что это я на «ты»? Потому что я пьяная, да?

Верины слова — открытие для него. О своей серьезности он никогда не думал и таковым себя не считал. Удивило и другое: определение Верой его возраста. «Я же девчонка по сравнению с тобой...»

— А сколько же, по-твоему, мне лет?

— Тебе... Вам... Ну двадцать восемь или двадцать девять...

— Женщина бы в таком случае обиделась... А если двадцать четыре?

— Двадцать четыре?! — воскликнула Вера. — Так это же здорово! Только на три года старше меня... Я, наверное, сильно пьяная? Да? Болтаю, болтаю...

— Говори, Вера, говори. Но только завтра чур не болеть! Такой приказ: проснуться здоровой!

— Какой же ты... — сказала она. — Мой спальник уже высох?

Этого вопроса он ждал давно и знал, как на него отвечать:

— Твой спальник будет сохнуть сутки, а может, еще больше...

— А где же я буду спать?

— Там, где сидишь, в моем мешке. — Вера широко открыла глаза, но он предупредил ее вопрос: — Да, да, да! Я пока буду сушить вещи, а потом...

Что будет потом, он не знал.

* * *

...Согревшись в спальнике, ощущая всем телом приятную свежесть и сухость вкладыша, Вера вспоминала о дороге, о первых днях работы. Вдруг вспомнилось ей детство. Отца она не знала. А мать, уговорив сестру свою, Верину тетку, побыть год с дочкой, уехала на Север и затерялась где-то там навсегда... Вера никому не рассказывала об этом — стыдно... Помнит ли она, как мать кормила ее с ложечки? Конечно, Геннадий ни о чем не знает. Но она не могла сдержаться, когда он упомянул о матери. Любого взрослого человека этот вопрос возвращал к милому, доброму детству. А что могла ответить она?

Воспитываясь у тетки, женщины строгой, властной и грубоватой, которая держала ее и трех своих дочерей в крепких руках и не позволяла шагу ступить без ее раз-

решения, Вера, уйдя после школы в общежитие пединститута, не забыла ее наставлений: прежде чем сделать что-то, хорошо подумай; в людях разбирайся сама, советов у меня не спрашивай; с хорошими дружи, с плохими не водись... И еще много советов надавала ей добрая родственница... Но Вера хотела жить своим умом. К сожалению, не всегда у нее все хорошо получалось...

Как она мечтала о работе в экспедиции! И вот вышло не так, как думалось, как хотелось. Разве она виновата, что с лошади свалились тюки? Вьюки снова привязали. Но Олег Григорьевич был ею недоволен.

Взяв Веру в свой отряд, он учил и воспитывал ее с утра до ночи. Почему Буров решил, что только она, Вера, нуждается в его воспитании, непонятно.

Пробирались как-то через кусты. Вера попридержала рукой гибкую тальниковую ветку и, согнув ее до предела, выпустила. Олега Григорьевича ветка не достала, но разговоров на полчаса хватило. «А вот в тайгу пойдем... А вы знаете, что в тайге так не делают. Надо по-иному... Был такой случай... Человек чуть без глаза не остался... А если бы мне так?..»

В другой раз карабкалась вслед за Буровым на гору — в тот день они работали у самой кромки тайги. Он оглянулся. И снова: «Вы не знаете техники безопасности... Однажды вот так же шли люди... Камень сорвался... Хорошо, что небольшой был да не в голову попал... Надо, надо вам еще почитать инструкцию... Я же вам говорил...»

Вера однажды подумала, что, если бы он в лагере у костра при всех начал говорить о том, о чем каждый день говорит ей одной в тайге, его засмеяли бы.

Олег Григорьевич учил ее во всем слушаться начальство, даже если оно поступает не так, и сам придерживался такого правила: с начальством не ссорься, не указывай ему. Он даже примеры такого слепого повиновения и бездумного выполнения приказаний приводил, но она пропускала их мимо ушей. Советы его были смешными. «Книги надо собирать. Это признак культуры человека. Я обязательно каждый месяц приобретаю по книжке. А вот газеты выписывать не надо, лишний хлам в доме, их можно и в институте прочитать...» Он не умел шутить и не понимал шуток других... Он не курил — лишние расходы! — и осуждал курящих как раз за эти

расходы... Да, о расходах!.. В маршруте выяснилось, что взяли мало чаю. Не потому, что забыли, взяли столько, сколько было указано в списке. «А зачем больше? — удивился Буров. — Листья смородины вкуснее и ароматнее всякого грузинского или цейлонского...»

А впрочем, все это пустяки!

Но то, что случилось сегодня утром, она забыть не могла...

...И вот этот поход по реке, во время которого Геннадий был таким же, как в машине, а она, взволнованная и раздраженная утренним событием, беспрерывно и беспричинно грубила ему. Понимала, что он всего лишь выполняет распоряжение начальства, но свой гнев на Бурова перенесла теперь на Геннадия.

Вера лежала и перебирала в памяти все события сегодняшнего дня. Спирт, выпитый впервые в жизни, оглушил ее. Кажется, что-то хорошее говорила она Геннадию; она увидела в нем того человека, о котором мечтала. Оставив в мешке маленькую щелку для глаз, Вера смотрела на Геннадия, который, съежившись, сидел у костра. Хоть бы сухой чехол себе взял! Прикрыл бы плечи. Все ей отдал. Зря она кричала и злилась на него...

Геннадий обнаружил вдруг, что с закрытыми глазами приятнее сидеть у костра, сидеть и слушать, как плещется вода, как вдалеке шумит перекат...

Очнулся от холода. Спина замерзла. Ничего не соображая, взглянул на костер. От сырых поленьев остались дымящиеся головни. Задремал! Наломал сухих палок, подбросил на угли, раздул огонь. Язычки пламени с треском прожорливо набросились на сухие прутья, потом перебрались на поленья потолще. Луна будто чуть сместилась, плыла теперь ниже, ближе к темной линии горизонта. Проверил белье, висящее вокруг костра. Снял кое-что. Осторожно, крадучись подошел к Вере. Она дышала ровно, глубоко. Значит, спит. В мешке ей тепло.

Сходил к реке. Умылся, покурил. Сырые поленья разгорелись в полную силу. Снова накалилась резина сапог. А спина ну словно инеем покрылась. Повернулся спиной к костру. Через минуту тяжелые веки медленно надвинулись на глаза. Геннадий провел по глазам ладонью. Надо выспаться. Завтра снова шагать, шагать, шагать...

Переставил колья с поперечными жердочками подаль-

ше от огня, перенес на них свитер, рубашку, спальный мешок, поставил рядом с кедами сапоги.

Вера по-прежнему дышала ровно, глубоко. Геннадий осторожно погладил рыжие волосы, выбившиеся из-под вкладыша...

— Вера... Проснись, пожалуйста, Вера... — Дотронулся до плеча, почувствовал, как она вздрогнула...

— Ой! Кто здесь?! — Подтянула к подбородку вкладыш. — Геннадий?! — И вдруг поджала колени к животу и еще раз испуганно повторила: — Геннадий?! Что вы... что ты, Гена?!

— Вера... Вера, — говорил он, не зная, с чего начать, повторяя несколько раз ее имя. — Вера... Ты меня извини, что я тебя потревожил, но надо же найти какой-то выход... Я так больше не могу... Я замерз... А завтра...

— Гена! — окончательно проснувшись крикнула она. — Геннадий! Ты с ума сошел, что ли?!

Да... Он-то, конечно, понял ее. И этот крик, и эти широко раскрытые от страха глаза. Она могла подумать о нем все что угодно...

Он посмотрел на нее с сожалением, иначе не мог.

— Эх, Вера...

Она опять не поняла. Села, закутавшись во вкладыш, заговорила быстро, сбиваясь:

— Геннадий... Гена... Как вам не стыдно?! Уходите от меня сейчас же... Напоили меня, а теперь...

Ни один мускул не дрогнул на его лице, он не пошевелился, не сдвинулся с места, выслушал, сказал тихо, спокойно, твердо:

— Вот что, Вера... Давай-ка без крика и шума. Кстати, тебя могут услышать здесь только медведи да белки... Вчера я очень мало спал... Сегодня я не сплю совсем... А завтра с утра нам снова идти.

Она засуетилась, заговорила быстро, попыталась даже выбраться из мешка, забыв, что почти раздетая:

— Конечно, конечно, Гена... Ложитесь. Сразу бы так сказали... А я посижу у костра. Конечно, и тебе надо выспаться.

— Нет! — жестко сказал он. — Спать надо и тебе. У нас продуктов на сутки. Если ты к утру разболеешься, мы застрянем в тайге. И тебе надо выспаться, чтобы завтра быть здоровой... Ну... Верочка... Короче: спать мы будем... И ты будешь спать, и я... И в одном мешке..

— Нет! — снова выкрикнула она и сжалась. — Не будем!

— Не надо волноваться, Вера... Не заставляй меня кричать. Отворачивайся, завертывайся во вкладыш. Твой вкладыш уже высох, я буду спать в нем... Ну пойми, Вера, что иного выхода у нас нет... И не путай меня, пожалуйста, с Мишкой...

— Нет! Нет! — Вера, защищаясь, выставила из мешка ладони. — Все вы такие...

— Ну знаешь, — повысил голос Геннадий. — Знаешь?! — И спокойно закончил: — Подвинься... Я очень устал...

От обиды, от злости, от беззащитности Вера вдруг прижалась к краю мешка и беззвучно заплакала. «Все оказалось просто, — думала она, — как дважды два...»

Геннадий втолкнул в мешок свой вкладыш, ногами влез в него, стараясь не прикасаться к Вере, хотя это было невозможно. Застегнул пуговицы на чехле.

Они лежали спина к спине. Он не слышал всхлипываний Веры, но чувствовал, как вздрагивала она всем телом.

— Вера, — глухо, не поворачивая головы, сказал он. — Ложись на правый бок... Тебе будет удобнее...

Она всхлипнула громче, но успокаивать он ее не стал. Потом Вера медленно перевернулась на другой бок, замерла. Она ухитрилась так лечь, что он почти не чувствовал ее.

— Теперь устраивайся окончательно удобнее и спи... Постарайся заснуть.

Вера не спала... Лежала неподвижно и думала только об одном: не уснуть, не уснуть, не уснуть...

И конечно же, заснула...

«...Спать, спать, спать, — думал Геннадий. — Во что бы то ни стало заснуть. Не отвлекаться. Думать только об одном: уснуть... Завтра рано подыматься и снова шагать, шагать, шагать... Один шаг, два, десять, тысячу...»

Вспомнил, читал где-то, чтобы отвлечься, надо считать... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь... Интересно, а где конец счета? Тысяча? Две?..

Сто пятнадцать... Сто шестнадцать... Сто семнадцать...

Вера ровно и глубоко дышала ему в спину. Значит, уснула. Навалилась на него, видимо, во сне. Геннадий продолжал считать: сто девяносто восемь... Сто девяносто девять... Двести... Двести один... Двести два...

Дважды два — четыре.. Два да два тоже четыре... Это в арифметике четыре... А в жизни...

Проснулся Геннадий оттого, что замерзло лицо. Открыл глаза и ничего не увидел — ни неба, ни леса, ни воды. Кругом стлался белый густой туман.

Сколько времени спал, неизвестно. Рука, на которой лежал, затекла, а он боялся сдвинуться с места, чтобы не потревожить Веру. Ее ровное дыхание слышалось за спиной. Плечо приятно согревала теплота ее ладони.

Геннадий позвал:

— Вера! Вера...

Ладонь вздрогнула, еще долю секунды держалась на плече, потом соскользнула.

— Вера, укройся. Я буду вставать.

Выбрался из мешка. Холодно. Сыро. Комарье налетело. Геннадий набросил сверху на Веру все, что грело: свитер, плащ, даже чехлы от спальных мешков. Первым делом разжечь костер, потом рыбалка, потом самому греться... Обещал же вчера хариусов.

В сырой кустарник не полез, а пошел вниз по Сайде в надежде найти коряги или сваленные деревья, вынесенные на берег водой.

О Вере старался не думать, хотя все еще ощущал спиной приятную теплоту ее тела, горячее дыхание у плеча.

Дрова нашел на мыске и за два раза перенес их к костру. Туман рассеялся, но солнце не появлялось: восточный край неба был черен от туч.

Хариусы брались лениво, сонно. Около часа бродил по реке, еле наловил на завтрак.

Начистил рыбу, разжег костер, только тогда подошел к Вере. Она, услышав его шаги, спросила:

— Что? Вставать пора?

— Пора. Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо...

Геннадий вновь развесил на кольях плащи, принес с жердочек белье, передал Вере.

— Я на речке. Оденешься, крикнешь...

Он ушел, чтобы дать возможность Вере одеться. Сидел на песке, бросал камешки в реку.

— Доброе утро!

Он внимательно оглядел Веру.

— Доброе утро, Вера. Как спалось?

— Ничего, хорошо. — Она подошла к самой кромке воды, бросила на песок полотенце и, уже нагнувшись к реке, сказала: — Я ночью... накричала на тебя... Я думала...

— Не помню что-то, — дурашливо сказал Геннадий. — И ты, по-моему, ничего не помнишь. Договорились? Умывайся и завтракать.

За завтраком разговаривали только о погоде, о хариусах, о предстоящем пути.

Перекуривая перед дорогой, Геннадий развернул на коленях карту.

— Сегодня до обеда надо дойти вот до этого места.

Вера из-за плеча взглянула на карту. Он, как и ночью, почувствовал ее горячее дыхание...

— Надо, значит, дойдем.

Ее спальник был, конечно, тяжелее, он взял его себе.

— Зачем? — не поняла Вера. — У тебя же ещё ружье!..

— Странная ты, Вера, — улыбнулся он. — Хоть бы раз согласилась со мной.

— Такая уж я есть, — тоже улыбнулась она.

* * *

Солнце перевалило через высшую точку и незаметно начало скатываться книзу... Идти стало труднее. То кустарники вдоль берега, то валуны.

Геннадий понимал, что Вера устала, но он знал и другое: она первая не попросит отдыха. Поэтому, когда с открытого галечного берега увидел в километре впереди высоту, которую еще утром наметил для дневного отдыха, он остановился, подождал Веру, спросил:

— Не пора ли устроить большой привал? Я, признаться, устал. — Об усталости сказал для Веры, ожидая, что теперь-то и она признается...

— Я ни капельки! — бодро сказала Вера. — А что на обед будет? Ты обещал вчера хариусов. Здесь они есть?

— Будут. Отдыхай, а я вырублю удилище. Идем вон до той горы и по пути рыбачим. У горы сделаем привал.

— Можно я попробую порыбачить?

Он показал ей, как забрасывать мушку, как держать удилище, как подсекать рыбу. Вера шла по кромке берега, он чуть выше. Несколько раз видел, как возле мушки плескались хариусы, Вера дергала удилище, но всякий раз крючок был пустым.

— Несчастливая я, — вздохнула Вера. — Не ловится. Лови ты...

Теперь он закидывал мушку. Несколько раз Вера радостно кричала: «Есть!», видя, как хариус выпрыгивал из воды, но радость была преждевременной: Геннадий опять ничего не поймал. После очередной неудачи он внимательно осмотрел мушку и присвистнул.

— Вера! Так крючка-то нет...

От крючка осталась лишь верхняя часть. Возможно, когда Вера закидывала мушку, размахивая удилищем, крючок зацепился за камень на берегу, за ветку тальника и сломался.

— Да... В самом деле не повезло, — сказал он.

— А другого нет?

— Есть. Но нет перьев. Значит, будем есть тушенку.

— А обязательно нужно перо? — спросила Вера.

— Можно нитку, шерстинку, лоскуток какой-нибудь, но обязательно рыжего цвета.

Некоторое время они шли молча. По звуку шагов, по глухому звону галечника Геннадий слышал, что Вера отстала. Он не оглядывался, шел вперед. Берег чистый, видно далеко, догонит...

— Гена-а-а-а!

Подбежала сияющая, улыбающаяся, протянула ладонь:

— Вот!

— Что это? — удивился он и тут же понял: волосы. — Вера! Вера, ты зачем это сделала?

Того огненно-рыжего локона, который всегда падал на глаза Веры, не было.

Она тряхнула головой.

— А что? Годятся на крючок?

— На мушку, Вера, на мушку. Но зачем так много?

— Отрастут, — засмеялась Вера. — А мне дашь снова половить?

Крючки в запасе были. Геннадий смастерил мушку, привязал к леске, снова вырубил удилище, отправил Веру рыбачить, а сам на всякий случай сделал вторую мушку. Клок рыжих волос — его хватило бы на десяток мушек — сунул в карман куртки. Ну Вера! Ему и в голову не приходило, что из ее рыжих волос можно изготовить обманку для хариуса.

Он шел по берегу и подбирал хариусов, которых бросала ему Вера.

— Хватит. Больше не съедим.

Она с сожалением передала удилище, сказала торжественно:

— Сегодня я тебя угощаю обедом... А ловко я придумала. Да?

Дойдя до намеченного места, Геннадий нашел отполированный, гладкий, словно стол, камень, принялся за рыбу. Ничего не поделаешь — разделение труда. Вера ловила — он должен готовить. Жаль, что нет ни картошки, ни крупы, придется просто отварить хариуса.

Перед ним шумела река. Позади что-то с треском упало на гальки. Не оглядываясь, понял: Вера принесла хворост. Неужели всерьез решила все сделать сама, даже костер разжечь?..

— Давай я почищу, — предложила Вера.

— Не надо. Я сам... Вот когда женюсь... Впрочем, и когда женюсь, тоже сам все буду делать...

Вера подошла к нему, посмотрела, как он ловко расправляется с ее добычей, наигранно весело спросила:

— Ты сразу после экспедиции женишься?

Он ответил шутливо:

— А как же?! Приеду в город, выйду на проспект, крикну: «Кто хочет замуж, приглашаю в загс!» И ко мне толпами девушки. И все красавицы, красавицы...

— Давай все-таки я рыбу дочищу. Отдыхай, пока не женился. Ты вот лучше костер разожги, я не умею, дым в глаза лезет.

Пять хариусов — половину из пойманных Верой — сварили в котелке. Оставшихся завернули в гербарную бумагу — нашлась в рюкзаке — и, разворошив костер, сунули в горячую золу. Через десять минут ели печеных хариусов. От них густо шел пар, рыба пахла дымом, тайгой, рекой...

После небольшого отдыха они двинулись дальше.

* * *

— Ой! — вскрикнула Вера и попятилась так неожиданно, что Геннадий натолкнулся на нее. — Там кто-то ходит, — шепотом сказала она и прижалась к нему. В самом деле, из-за кустов показался человек в телогрейке, в зимней шапке-ушанке, за плечами мешок. Он шел по берегу и каждую минуту взмахивал удилищем.

— Эге-гей! Рыбак! — окликнул его Геннадий.

Человек обернулся. Оказалось, старик. Подошли бли-

же. У него коричневое морщинистое лицо, коротко подстриженная седая борода и такие же усы.

— До Ивановки далеко, дедушка?

— Так ить как идти? Я день шел, а вы могете и за полдня добраться.

— За полдня! — присвистнул Геннадий. — Нам сегодня надо...

— Седни? Седни спать надоть, а утречком идтить. Ты гляди-ко! — удивился старик. — И девку с собой таскаешь. Сами-то откедова будете?

— Из экспедиции, дедушка!

— А-а-а... Геологи, значит... Ах, елки-моталки! — вскрикнул вдруг дед. — Сорвался! Так, значит, геологи? А у нас тоже стоят геологи.

— Вот мы к ним и идем! — звонко сказала Вера.

— Ну завтрева дойдете. А теперь ночь, куда идтить? Здеся избушка рядом, можно переспать, места хватить... Я тоже из Ивановки, харизов имаю...

— А ближе к селу нету, что ли, хариусов?

— Почитай, нету. А здеся и крупнее и скуснее. Там ребятня все вылавливаеть.

— А избушка далеко?

— Рядом. Вона за тем поворотом...

— И можно переночевать?

— А отчего нельзя? Нары. Травки с утра набросал, поди, подсохла. Утречком харизов поймал, так тех засолил, а из этих уху сварим. Тама на нарах лягете, друг к дружку прижметесь, тепло, да и комары не кусають... Я смолоду-то тоже с Настькой своей в тайгу уходил. Бывалоча, дождь, ветер, а мы друг коло дружки греемся...

— Пойдемте к избушке, дедушка! — перебил его Геннадий. — Спать надо.

— Ну идтить так идтить, — согласился дед. — Крючки у меня мелкие, хлипкие, не дай бог, зачепишь и оторвешь. — Он бережно сматывал леску на удилище. — Гришуха наш сельповский крючков не возить, мне, говорить, эти крючки — тьфу! Была бы водка да манафактура.

— Я дам вам крупных крючков, — сказал Геннадий. — Пошли.

— Пошли. — Дед закинул удилище за плечо. — За крючки спасибочки. — Он шел впереди, раздвигая ветки, и рассуждал: — Конешно, если ты не рыбак, так и крючки без надобности. Он, Гришуха-то, больше в бу-

тылках рыбачить... А я ни в жисть не променяю рыбалку на водку... Тьфу! Я, сынок, петуха для себя держу, Настька кричить: «Заруби его, он уж курицу обслуживать не можеть, потому как стар!» А я говорю: не могеть и не надо, у него другое предназначение. А резать не позволю...

Дед успевал и говорить, и на ходу подбирать с земли сухие валежины...

— Петух-то зачем? — спросил Геннадий.

— А как без петуха на харюза? У меня петух что князь: на всю деревню такой один. Как огонь! Я перья-то с подхвоста повыдергаю, обменяю на крючки у мальцов, себе приманку сделаю... А она: зарежь! Где это видано, чтобы рыжего петуха под топор?! Счас-то все белые, белые петухи пошли. А пользы от них никакой. Курец, конешно, топчут, а чтобы из них приманку... Я тебе могу уделить перьев...

— У меня есть! — ответил Геннадий, вспомнив про прядь волос, которая лежала у него в кармане куртки.

Совсем стемнело. Тропинка исчезла. Но дед шел уверенно, не останавливаясь. Свернули на маленькую журчающую речку, приток Сайды, и вышли к избушке.

— О! — обрадовалась Вера, наткнувшись на кучу сушняка перед избушкой. — Сколько дров! Всю ночь костер можно жечь!

Дед услышал.

— Зря, девонька, костер жечь не дело. Другим надоть оставить. Я утречком подсобирал, добавил дровец, а другой кто придеть, тоже погреться захочеть... А бывает, кто еле ноги дотащить. А дрова тутока, потому что о ем позаботились...

— Мы насобираем, — сказала Вера. — Мы знаем: закон тайги.

— Какой такой закон? — проворчал дед. — Кем он писан? Это не закон, а жисть. Для того и дрова, чтобы ты в потемках не шарилась по кустам... Ты, милая, рыбку почисть, а мы костерок счас распалим...

— Мы вместе почистим, — сказал Геннадий.

— Чевой там вместе. Завсегда это бабья работа. Ну, мне-то что. Если намиловаться не могете... Тогда возьми в избушке картошку, заоднова почистите... И лук тамока, и посуда...

Геннадий зажег спичку и вошел в избушку. Он увидел широкие нары человек на пять. В левом углу печь с пли-

той. В правом, сбитый из неотесанных досок, стол. Над столом полка, на ней банки железные и стеклянные. На нарах лежала трава. Геннадий подошел и поворошил ее. Снизу трава сухая, сверху посвежее, позапашистее. Вдоль стены, к которой примыкает стол, набиты гвозди возле печки.

Геннадий взял все, что велел старик, и вернулся к костру.

— В тайге надо есть досыта, — говорил дед. — А то ноги не потянешь. Уха — она пользительная, особенно на ночь: кровь разогреваеть, молодеешь будто...

Геннадий, вспомнив, что ему нечем есть, сказал о ложке.

— Сделаем, — ответил старик. — В тайге без ложки беда.

Вера пошла с Геннадием к реке чистить рыбу.

Костер жарко пылал, когда они вернулись. Дед сидел на чурке перед огнем и мастерил из бересты ложку. Геннадий огляделся: сесть не на что. Пошел в избушку за спальниками.

— Уха, она что любить? — продолжал дед начатый с Верой разговор. — Она любить свежую рыбу, чтобы из нее не выветрился речной дух... Еще она любить, чтоб как слеза блестела, светилась. Надоть, значит, не переваривать ее...

— И перец уха любит, — сказал Геннадий.

— И луковку, — продолжал дед. — Чтоб духовитей была. Не режуть ее, а головку целиком бросають...

— А еще что уха любит, дедушка? — спросила Вера, удобнее устраиваясь на принесенных спальниках. Она теперь полулежала лицом к огню.

— А еще... — начал дед, но Геннадий перебил его:

— А еще, Вера, уха любит спирт...

— Хи-хи-хи, — тоненько засмеялся дед. — Спирт, он, сынок, ко всякой еде пользительный. Наш Гришуха сельповский, так он перед чаем спирт употребляеть. Хлобыстнеть стакан спирту, потом сахар ложечкой размешаеть и чаем запьеть. И здоров как бык, а лицо что самовар медный... А как же? Спирт, он всякую хворь из тела изгоняеть...

— Так, может, изгоним, дедушка?

— А есть? — оживился дед. — Коли есть, отчего не выпить. Не пропадать же добру. Ты, девонька, иди по-

шарь в моем мешке, там хлебушко должен быть... На тебе, сынок, ложку...

Но ложка оказалась у Веры, которая заявила, что она ей будет есть. Дед сам занялся ухой, а Геннадий принес из избушки хлеб, кружки, котелок, расстелил у костра плащ, сходил с котелком на речку за водой. Дед снял ведро с костра и, орудуя двумя палочками, вытащил на расстеленную Верой бумагу хариусов. Выяснилось, что не из чего хлебать уху, один котелок на всех, да и тот оказался занят водой.

Дед пошел и принес из избушки алюминиевую миску, налил в нее из ведра юшку через край, поставил чашку на середину «стола», где уже горкой лежали крупно нарезанные ломти хлеба.

Геннадий колдовал над кружками.

— Тебе наливать, Вера? Я советую немного выпить, все-таки после дороги...

— Ну если советуешь...

Дед выпил, крякнул, схватился за луковицу, закусил и тут же разговорился.

— Я смотрю, сынок, балуешь ты ее. Шибко балуешь. И картошку сам чистишь, и в избушку бегаешь... Эт-то хорошо! Я когда молодой был, ох тоже любил свою Настьку... А вот скажи, сынок, угадал ай нет? По-моему, вы недавно поженились...

Геннадий поперхнулся и, прокашлявшись, схватился рукой за горло, будто не мог говорить, а на самом деле он не знал, что сказать. А Вера спокойно, не переставая есть, не поднимая глаз, весело ответила деду:

— Недавно, дедушка. Месяца еще не прошло...

Геннадий от неожиданности крякнул.

Вера строго взглянула на него.

— Ты что? Разве я неправду говорю? Разве больше прошло?

— Медовый, значить, месяц в тайге проводите, — снова начал старик. — Тайга у нас добрая. Каждый кустик ночевать пустить... Эт-то хорошо. А вот зачем вы в тайгу лишний груз тащите? Переспать и в одном мешке можно...

Геннадий подумал, что, если его не отвлечь, он долго будет говорить об этом...

— Так мы, дедушка, будем завтра в Ивановке или нет? Сколько до нее?

— До Ивановки-то? А бог знаеть сколько. Ведь туточка все по речке, а она петляеть...

— А прямо?

— Так прямо только сороки летають... Сколько верст, сказать не могу, а вот если с утра выйдете, то к обеду в аккурат будете там.

Когда Геннадий вошел в избушку, дед уже лежал на боку и пьяненько бубнил:

— Им, бабам, волю давать никак нельзя... И это ты зазря... Вымоет посуду и постелет постелю... Мешки-то у вас меховые?

— Ватные.

— Ну, молодым-то и в ватных тепло. Друг об дружку греются... Баба, видать, у тебя жаркая... Ох у меня Настька была! — Дед заворочался в своем углу. — Ну с богом... Да и вы долго не засиживайтесь, утречком по холодку-то легче шагать... А дверь-то на ночь заприте, чтобы комары не летели, они здеся злющие, как собаки...

Геннадий вышел к костру. Вера сидела на сушняке и задумчиво смотрела в огонь.

— Посидим, — попросила Вера. — Я люблю у костра. Почему-то в тайге мы ни разу не сидели. Как поужинаем, так спать.

— Ну, наверное, потому, что уставали за день, потому что утром рано вставать и снова идти, идти...

— Так ведь это не работа — у костра... — Вера поежилась, будто замерзла. — Ночь. Звезды. Костер... А мы спать. Смешно... И ни разу не посидели... Спели бы что-нибудь...

Он все-таки заметил, что она повела плечом, будто стряхивала что-то с себя.

— Больно плечо? — спросил он. — От лямок?

— Нет, — смутилась Вера. — Так что-то...

— Вера, что там у тебя? Давай посмотрю...

— Да нет же... Ничего...

В тайге, да и не только в тайге, а еще в Макаровском, если приходилось работать в перелесках, в осинниках, у них было правило, за выполнением которого строго следил Олег Григорьевич: каждый вечер перед сном все должны осматривать друг друга. В первые дни Буров, уходя спать, обязательно спрашивал через закрытую дверь: «Девушки, вы произвели осмотр?» Вначале к этому

относились шутливо. Потом, когда каждый вечер стали снимать с себя клещей, Олегу Григорьевичу уже не приходилось напоминать. А сейчас они уже два дня идут по тайге.

— Вера, мы договорились, что я не буду на тебя сердиться, но ты вынуждаешь...

— Ну Гена... Ну хорошо... Я сейчас...

И убежала в темноту, за избушку, а потом появилась без энцефалитки, с расстегнутой кофточкой, правое плечо обнажено.

Вздрогнула, когда Геннадий, взяв ее за плечи, развернул спиной к огню.

— Это клещ, Вера, — спокойно сказал он.

— Ой! Сними скорее!

Он провел пальцами по темному бугорку на теле. Бугорок остался. Прищемил клеща ногтями, покачал из стороны в сторону. Крепко впился, давно сидит. Потянуть сильнее нельзя — головка клеща останется в теле.

— Подожди. Я сейчас...

Дед еще не разоспался. Он оценивающе взглянул на плечо...

— Ну девонька...

— Что? — испугалась Вера.

— А ничего... Счас мы тебе операцию будем делать... Эк, он у тебя засел... Нож у тебя есть? — спросил он у Геннадия.

— Да что вы, дедушка?! — Вера вскочила. — Не дам я резать!..

— Так есть нож-то ай нет? Может, деколон есть? Есть, так неси...

Дед действовал как заправский хирург. Ножи — свой и Геннадия — он прокалил на огне, потом полил из флакончика одеколон на лезвия.

Потом Геннадий туго натянул пальцами кожу на плече Веры, а дед осторожно, будто боясь прикоснуться к телу, подвел кончики лезвий с двух сторон к клещу, сжал его как пинцетом, и так же осторожно вытащил.

— Все, девонька... Надоть это место теперь смазать деколоном, и заживеть.

— Спасибо, — сказала Вера.

— Да чего там... Оглядывать себя почаще надоть... Они вреднющие, эти клещи-то...

Дед еще о чем-то поговорил, что-то побубнил, ушел спать.

Смазывая одеколоном ранку, Геннадий увидел на руке Веры выше локтя синее пятно.

— Вера! Это откуда? Ты вчера не ударилась о камни?

Вера за локоть развернула руку, склонила голову набок.

— Это... — вдруг вспыхнула. — Нет, не ударилась... Это... у меня давно. Еще до маршрута.

А синяк-то был свежим, еще краснота по краям не прошла.

— Растереть бы надо. Примочить. Больно?

— Сейчас нет, а вчера...

— Так, значит, вчера?

Вера перевела взгляд на костер.

— Геннадий, я тебе скажу, только ты, когда вернешься в отряд, не передавай этому идиотику...

— Какому идиотику?

— Мишке... Это он вчера...

Геннадий возмутился:

— А ты бы сдачи! Погоди? Так та ссадина у Мишки под глазом... Ясненько...

Вера горько усмехнулась:

— И виноватой во всем оказалась я...

Ушла в избушку. Вернулась одетая. Села, снова задумалась.

— Вот так, значит...

Геннадий видел, что она хочет сказать ему что-то, но не торопил ее.

— А знаешь, как все глупо вышло? — вдруг решительно сказала Вера.

Она рассказала ему обо всем, что произошло вчера: о том, как купалась, как Мишка появился, как отбивалась от него, а потом догоняла Олега Григорьевича, о том, что, если бы не забыла копалку, ничего бы не случилось, не пришлось бы идти через тайгу...

— Как я ее могла оставить? — недоумевала она. — Ты знаешь, эти копалки, они все стандартные и все покрашены под цвет травы... Но ведь такую и потерять легче. А я, знаешь, что сделала?.. В интернате нашла... ну в кладовой там... красную краску. Девчонки смеялись: зачем тебе? А я свою копалку перекрасила... И она у меня, как пожарная машина, яркая... Посмотришь, сразу видно. Если в траве оставишь — оглянешься, а она краснеет. И как я могла ее где-то оставить?! Я ее в папку засуну, а ручка торчит, и сразу вижу: с собой, не забыла. А тут побежала, забыла взглянуть в папку, и вот...

И Геннадий вдруг вспомнил, что из Мишкиного мешка была видна ярко-красная рукоятка. В самом деле «идиотик», как назвала его Вера. Надо же додуматься — копалку взять для червей...

— Вера, а знаешь, твою копалку Мишка взял...

Она грустно улыбнулась.

— Мне теперь все равно. Пусть начальник с ним разбирается... Если бы только копалка...

Помолчали. Потом Вера сказала тихо:

— Вот завтра придем на базу и все, не увидимся больше...

— Почему? Мы же в одном городе живем...

— Ну... Это ты здесь говоришь, а там... — Она привалилась головой к его плечу. — Геннадий... — И только он попытался освободить руку, чтобы приласкать Веру, она резко встала: — Все! Спать пора. Завтра рано собираться...

В избушке темно. Дверь закрыта, а единственное маленькое, как в деревенской бане, окно почти не пропускало света. Геннадий рукой пошарил по спальному мешку: тот ли, не заменила ли Вера, когда ходила переодеваться? Нет, мешок был чуть влажный. Прикрыл его чехлом, сверху постелил плащ и, разувшись, но в одежде — иначе комары заедят — лег. Сухая трава приятно благоухала. Вера лежала где-то рядом, молчала. Он уже задремал, когда услышал:

— Гена, а ты где живешь?

Он объяснил, как его найти в городе.

— А я в общежитии. Я с двух лет у тетки жила, а как приняли в институт, перешла. У тетки своих хватает... А ты в какой институт хочешь поступать?

— Не знаю пока.

— Иди в наш.

— Не люблю педагогов, — ответил он, но тут же исправился: — Учительское дело не люблю. Впрочем, подумаю...

— А я вот не думала, — грустно сказала Вера, и он представил в темноте ее лицо. — Пошла, потому что там общежитие пообещали сразу. Мне обязательно надо было поступать после школы, потому что тетка...

Она замолчала надолго, и Геннадий, думая, что Вера уснула, молчал. Потом слышал, будто она его звала, будто говорила что-то, будто о чем-то спрашивала...

* * *

— Вставайте, детки! Вам идтить пора. По холодку-то легче. Я и костер распалил, и чайку вскипятил. Ушица в ведерке осталась, вы ее хлебайте. А дверь-то колом подоприте, как пойдете...

Старик попрощался, пошел к двери, следом за ним с полотенцем в руках выскочила Вера. Уха уже разогрелась, когда вернулась Вера. Поели. Уложили рюкзаки.

Рассвет был сырым, но уже по тому, как, открывая синее небо, поднимался туман, угадывался отличный день.

Как ни старались выбирать места посуше, но пока дошли до Сайды, промокли: ночью выпала крупная роса. Геннадий обивал ее с травы высокими сапогами, Вера шла по следу, но и ей изрядно досталось.

Солнце уже по-настоящему припекало. Когда они дошли до непроходимки, было, пожалуй, часов одиннадцать.

Геннадий устал за эти два дня. Устал не потому, что шел по тайге, по буреломам, по камням, по бродам. Он устал отвечать за Веру. Это чувство — формальное вначале — на второй день превратилось в мучительное беспокойство за вверенную ему человеческую жизнь. Конечно, Вера взрослая. Она умеет плавать, она все-таки хорошо ходит по тайге. Но когда шли через Сайду, он слушал: не отстала ли Вера, не вскрикнет ли снова, не оступится ли? Когда прыгали с камня на камень на берегу, он не отставал от нее более чем на шаг, готовый в любую секунду подать ей руку, поддержать.

Тайга поредела, стала светлее, чище, отступила от берегов. Рядом с кромкой воды появились утоптанные тропинки. Неожиданно Сайда свернула влево. Еще с горы они видели этот поворот, но он казался дальше. Они знали, что, если идти по этому берегу, все равно можно попасть в Ивановку: река протекала через село. Но путь этот длиннее, им не хотелось, уставшим после двух таежных суток, делать лишние километры.

Что за чудо эти таежные реки! Они то сужаются, становятся почти ручейками и гремят неудержимо, рвутся вперед, а то расширяются так, что, кажется, пароходы по ним могут курсировать, и тогда текут спокойно, сонно, лениво. Сайда не была исключением среди таежных рек и речушек...

— Перейдем здесь! — сказал Геннадий, когда они подошли к широкому месту и видны стали все камушки на дне. — Не надо разуваться, Вера, я перенесу тебя...

Он подошел и поднял Веру. Она ухватилась руками за шею. Он сильнее прижал ее и шагнул в воду. Идти было тяжело. Тугие струи били по ногам, норовили свалить, но он осторожно переставлял ноги... Противоположный берег медленно приближался... На середине реки пришлось остановиться, перевести дыхание...

— Отпусти, Гена, — прошептала она, — тебе тяжело.

Ее губы были рядом с губами Геннадия. Он промолчал, только понадежнее сцепил руки...

Вынес на берег, и Вера сразу же захотела встать, он почувствовал, как ослабли руки на шее, но не выпустил ее, прошел по галькам до травы и только там осторожно поставил ее на ноги. И тут почувствовал другое: как неохотно, лениво она расцепила свои руки...

— Ой, Гена... Какой ты...

— Какой? — спросил он, глядя прямо в ее большие голубые глаза.

— Хороший, — прошептала Вера.

А в глазах ее было что-то такое, от чего Геннадий резко повернулся и быстро зашагал к воде, чтобы забрать оставшиеся на той стороне реки вещи.

Кончается совместная дорога. Последний привал. Скоро будут в Ивановке, он «сдаст» Веру Корешкову, а сам потопает обратно с Катей. Сдаст! Груз какой-то... Накладной не хватает! Да есть и накладная! Где же она? Пошарил по карманам. Ну, так и есть. Конверт расклеился, попав в воду. Он вытащил письмо — вчетверо сложенный листок, пробежал глазами текст, а потом прочитал внимательно. «Виктор Федорович, все идет нормально, — писал Буров. — Пробираемся через тайгу без особых трудностей. Лошади прут, как звери. Люди подобрались хорошие, кроме одной Гариной В. С., которую я отправляю вновь к тебе. В тайге она не тот человек, на которого можно положиться; развела склоки, ругается со всеми, даже проводник отказывается работать с ней. Встретимся, расскажу подробнее. Присматривай там за ней, можешь нажить крупные неприятности. Помнишь, я предупреждал тебя, что не следует так часто отпускать их в клуб? Смотри. Девица она с характером. А Катю

Чудновскую верни мне. Не беда, что плавать не умеет, в здешних реках не утонет, да и много нас рядом. Привет Наташе. Очень прошу — не задерживай Геннадия, сразу же с Катей отправь обратно. Мы будем их ждать на р. Бобровке. Надеюсь, выполнишь мою просьбу. Пожалуйста, не спрашивай о Вере ничего у Геннадия, наши мнения о В. Гариной резко с ним расходятся. Привет всем от Елены Дмитриевны. Олег».

Так, так... Он еще раз прочитал письмо и еще раз поразился. Как мог Буров такое написать?! И он, Геннадий, должен отдавать такой бред Корешкову? Дудки, Олег Григорьевич, не выйдет номер! Или нет! Он отдаст записку. Отдаст! Точно! Но вот сумеет ли Корешков ее прочитать? Геннадий улыбнулся. Ну, товарищ Буров, оплошали же вы на этот раз. Ведь прекрасно знаете, что все документы в тайге пишутся простым карандашом. А вы решили пофорсить. Вот, мол, я какой, даже в тайге пишу чернилами и авторучкой! Вот сейчас мы посмотрим, какие следы останутся от этого фиолетового документа!

Положил листок в воду и кончик придавил тяжелым камнем. Через пять минут посмотрел. Буквы расплылись, но прочитать можно при желании. Потер пальцами по строчкам. Буквы исчезали. Расстелил просушить листок на горячем камне.

— Гена! — кричала Вера. — Иди купаться-а-а!

Он помахал рукой: не хочу!

— Иди-и! Вода хорошая-а-а! Теплая-а-а!

А если выбросить конверт и поговорить с Виктором напрямик: письмо было, но в нем дикий бред. А Буров будет спрашивать: вручил? Н-да... Лучше ответить ему «да». Конечно, к тому времени, когда Буров вернется из тайги, Корешков поймет, что в письме не все точно сказано. Но что он сегодня скажет Корешкову?

Впрочем, что думать, если уже дело сделано? Письмо он отдаст, все равно же его читать нельзя.

— Ген-а-а! Я иду-у-у!

Он торопливо сунул листок в конверт, заклеил и влажный еще конверт сунул в карман.

— Напрасно ты не выкупался! — Вера шла к нему легко и быстро. — Так хорошо! Теперь могу без привала. Как раз к обеду успеем.

И все-таки они еще раз устроили привал. Отдохнули и полезли в гору. Подъем был лесист и крут, шли труд-

но, цеплялись за кусты. Наконец они оказались на вершине.

Перевели дух и ахнули. С горы видно далеко-далеко, но первое, что они увидели, конечная цель похода — Ивановка. До нее было три-четыре километра.

Сели на камень. Под кручей бурно грохотала река, сжатая с двух сторон громадами бурых гор.

Южный склон горы был пологий, но тоже лесистый. Между деревьями видна широкая утоптанная дорожка. Вера подкинула груз на плечо и сорвалась с места.

— Догоняй! — весело крикнула она и понеслась вниз по склону.

Геннадия тоже охватило это бездумное веселье, захватил этот простор, это бесшабашное настроение, когда ни о чем не хочется думать — ни о том, что было, ни о том, что будет, — а просто бежать, бежать вслед за Верой, за ее развевающимися по ветру огненными волосами, за подпрыгивающим на спине рыжим рюкзаком, за своим счастьем...

●

ПОЭЗИЯ

Анатолий ПАРПАРА

ДВЕ РЕКИ

* * *

Украина.
Батькивщина.
Светом
Лучезарным брызжет поднебесье.
Как твоим я радуюсь поэтам!
Как твоим внимаю добрым песням!

Украина.
Батькивщина.
Батька
С детства чаровал напевной
мовой...
Я родной России без остатка
Отдаю дела свои и слово.

Русь моя — свет материнский.
Помню
Руки, что спасли меня от смерти.
Жизнь моя, стремящаяся к полдню,
Благодарности полна ответной.

Люди, дети и творцы природы,
Берегите каждое мгновенье...
Две реки, что слили свои воды,
Лишь усилили свое движенье.

ПАМЯТЬ ВОЙНЫ

М. Алексееву

Быть может, ради озорства
Иль от избытка сил своих
Парнишка топором отцовским
Ствол груши старой подкосил.

И встал он в тихом удивленье,
Когда отец, отняв топор,
Рассек грудь дерева, волнуясь,
И что-то ржавое извлек.

И было невдомек парнишке,
Зачем он, от слезы слепой,
То долго взвешивал осколок,
То примерял к своей груди...

КОБЗАРЬ

В широколицем и невзрачном —
Талант не любит показного —
В замученном,
В любви несчастном,
Как воплотилось ярко Слово
Земли, усталой от недоли,
Народа, жаждущего счастья!..
И Слово стало равным воле,
И на свободу — птицей рваться.
И вырвалось.
И осветило
Иного века те же дали.
И счастьем то,
Что мукой было,
Потомки радостно назвали.

ПРЕДЗИМЬЕ

Сквозь редкий багрянец,
Сквозь резкую охру
Октябрьских деревьев

Сквозит темнота,
И белое облако,
Равное вздоху,
Над ними взлетает
Совсем неспроста.

Усталое лето
От них отступилось,
И надо готовиться
К штурму зимы.
К осаде,
к блокаде —
Какая тут милость! —
Какую пощаду
Попросишь взаймы!

А впрочем,
Какой разговор о пощаде,
Когда отбивались
Не раз от врагов...
И лес наблюдает
С тоскою во взгляде,
Как движутся
Белые рати снегов.

* * *

Вот и восточная тема вошла
В русский размеренный слог:
Славлю завистников мелких дела!
Что бы без них я смог?

Кто не изведал удары судьбы,
Миру что может сказать?
Руки кто в кровь не колол о шипы
Розу не мог сорвать!

Славные недруги,
Знали бы вы,
Как я молился за вас!
Хоть на руках у зловредной молвы
Я умирал не раз.

Глупые недруги,
Ваша звезда
Не выдержит долгий разбег,
Ибо талант — это имя всегда,
Завистник — всегда имярек!

БУДНИ

Уходя, дочка смотрит на меня
пристально и нежно, —
Так смотрел я когда-то
на уходящего на фронт отца.

Прощаясь с дочкой, я впитываю в себя
милые черты ее, —
Так запоминал мое лицо
уходящий на фронт отец.

И каждый раз, прилетев издалека
и увидев дочь,
Я радуюсь искренне: как хорошо,
что ничего не случилось!

* * *

Олесе

Время лебеды моей прошло.
Время гладиолусов настало...
Восемь дней не приезжал в село,
А на грядках все позарастало.
Враг полей культурных,
Лебеда,
Нежная сестра степной полыни,
Рву тебя,
Как будто бы беда
Черные крыла струит поныне.
Мощный ствол.
Широкие листы.
Корневая умная система.
Что там парниковые цветы —
Желтое,
Изнеженное тело!
Очищаю их от сорняков,

Солнечному свету открываю...
Бремя детских горестных годов
На себе невольно ощущаю.
Ты прости мне, дочка,
Что опять
Завожу я речь о том тревожно.
Хоть и больно сердцу вспоминать,
Но не помнить это невозможно.
Вот уже стараются в печать
Сытые от заграниц
Собратья
Протолкнуть мыслишку:
Мол, писать
Хватит о войне, как о проклятье;
Было и полезное:
Война
Двинула к развитию науку.
Но сейчас в забвение она
Канула.
Ни духу и ни звуку...
Если б так!
Над Африкой гремит.
И Вьетнаму снова угрожает.
Если б так!
Но смерть опять грозит
Всей планете горьким урожаем.
Миллионы жизней...
Миллиард...
В жилах кровь от ужаса застыла.
О войне и я забыть бы рад,
Но о лебеде забыть не в силах.
Как ее искали мы тогда!
Каждый кустик был дороже света...
Лебеда в голодные года
Сохранила нас для жизни этой.
Доченька,
Так счастлив я, что зло
Лет военных ты не испытала...
Время лебеды моей прошло.
Время гладиолусов настало.

ПОЭЗИЯ

Иван ЛЫСЦОВ

ОТЧАЯ ЗЕМЛЯ

* * *

Землей рожденные, мы по земле
грустим,
Печалимся во дни ее ненастья.
И если уголок свой навестим,
То почитаем это мы за счастье.
И ты не в силах взора отвести
От крохотной задрогнувшей
былинки,
Сумевшей из сугроба донести
Нам голос лета, хрупкий, как
снежинки.
И, даже если жизни был не рад
До новой встречи с отчею
землею, —
Она тебя простит, простит стократ
И тихо побеседует с тобою.
Так могут лишь беседовать земля
И мать, что родила тебя для
счастья.
И потому так чутко тополя
Тебя встречают в зимнее ненастье.
И ты, исполнясь нежности к земле,

К не изменившим ей односельчанам,
Почувствуешь себя в родном селе
Не тронутым
житейским
ураганом...

* * *

Тронуты деревья желтизною,
Пламенем охвачены кусты.
В сумерков накрапе надо мною
Пролетают птицы, как листы.
С грустной песнью стая улетает
В дальние-предальние края.
Птицы, птицы, как вас повстречает
Жаркая заморская земля?
Многие сердца неровно бьются
В эти дни отлета журавлей:
Ведь не все, не все они вернутся
На шелка раскидистых полей.
Но друзей, вернувшихся весною,
Снова встретит отчая земля:
Тракторист — приветствуя рукою,
Статный дуб — усами шевеля...

* * *

Ночной порой, когда иду один
Весенним лесом, сжатыми ль полями,
Я чувствую, как дух чащоб, долин,
Входя в меня, пьянит и жжет, как пламя.
И научился я распознавать
Ночной грозы грядущее пластанье,
Разливов рек урочное восстанье
И суть всего, что хочется обнять.
Я научился зверя понимать,
Его молчанье, мудрое упорство,
Любовь к свободе, злобное покорство,
Когда его сумеете поймать.
И почему печален лёт листа —
Отпавшего, пронесшегося мимо.
И почему — и смертна красота,

И вновь землею-матерью творима...
И полюбил я общую судьбу,
Созвучное с природой состоянье.
И я вдали свое воздвигнул зданье —
В родных полях открытую избу...

* * *

Пронзительно-чистые листья
Пронзительно-белых берез
В пронзительной сини повисли
И трогают сердце до слез.

Отраден и свет небосвода,
И краски в светящейся мгле.
Чего же еще год из года
Искать на родимой земле?

Какое заменит желанье
Вот это, которое есть —
С родною природой слиянье
Иному родству предпочесть?

Она в безутешье — утешит,
В веселье — заставит грустить,
Отдаст и последний орешек,
Сумеет понять и простить...

Николай КОНЯЕВ

ЛЕГЕНДА О ЕРМАКЕ

ПЕСНЯ

Вначале прошел слух... Пробравшись сквозь лесные чащобы, смутно и невнятно растекся он по камским поселкам — «кизилбашских послов пограбили Ермачка именем...».

Кажется, и Стефан Голыш слышал тогда об этом, да позабыл — мало ли слухов ходит по Руси? Позабыл, а снова вспомнил, когда уже наяву, совсем рядом, прозвучало Ермаково имя.

И сейчас, четыре года спустя, помнил Голыш этот день, словно не четыре года прошло, а четыре дня...

По указу настоятеля ездил тогда Стефан в Пыскорский монастырь, чтобы отобрать способных учеников для сольвычегодского храма... Поехал без охоты: трудно сыскать людей, способных не только к звонкоголосому пению, но и к постижению музыкальной премудрости — сами такие люди находятся. Но так думал Стефан, отправляясь в путь, а достигнув Камы, только дивился прозорливости настоятеля — из этой поездки и привез Голыш лучшего, может быть, своего ученика Ивана Лукошко.

Стефан вздохнул и покосился на октоих, что лежал на столе перед ним. Самовольно вписал сюда Лукошко чуд-

ные напевы служб, словно бы и слышанные уже им, Стефаном, во снах, а тут наяву явившиеся...

Тогда же, июня в двадцать восьмой день, на память святых чудотворцев Кира и Исанна, не знал еще наверняка Стефан, что выйдет из монашка, сидевшего рядом с ним на камском берегу. В тот день с утра звучал в ушах Стефана напев, но сразу же ускользал, едва пытался Голыш запомнить его. А монашек вел себя беспокойно, предчувствуя дальний путь. Поминутно вскакивал и вглядывался в даль реки, умильно помаргивая короткими ресничками — мешал Стефану вслушиваться в то возникающий, то исчезающий бесследно, робкий и стыдливый напев...

И, продолжая вслушиваться в себя, думал Стефан, что, пожалуй, и зря он польстился на звонкий голос отрока: суетлив он, а служение музыке требует покоя, и еще: краешком сознания, не отвлекаясь от вслушивания, думал Голыш и о том, отчего не отправляют ладью, на которой наладились уехать в Сольвычегодск и они с монашком. Загруженная еще с вечера, стояла ладья у причала, но управляющий, что поминутно выбегал из дома посмотреть на реку, кажется, и позабыл о судне. А погода-то портилась. На небо натянуло тучи. Подул ветер, глухо и страшно зашумел в лесу, обступившем городок. Дождевыми сумерками затянуло хмурую даль Камы...

Стефан завернулся в накидку и задремал, продолжая вслушиваться в звучащую в нем музыку, а очнулся, когда мимо, обгоняя друг друга, бежали люди. Сгрудились на берегу, вглядываясь в хмурое пространство реки. Стефан тоже подошел к ним и начал смотреть туда, куда смотрели все, пытаясь узнать причину беспокойства, ничего не увидел, сморгнул, и тут — темные — возникли из серой пелены дождя струги и рядом прозвучало: «Ермак».

Оглянулся Стефан на говорившего, только не все ли равно? — уже со всех сторон неслось шепотом: «Ермак...»

Когда струги причалили к берегу, на крыльце дома показался сам Семен Аникеевич Строганов. Подивился на него Стефан: чего еще затеял седобородый? — а мимо уже шли, громыхая оружием, казаки, и страшны были их затвердевшие в битвах лица.

Ермак? Стефан глубоко вздохнул. Значит, правильный ходил слух по Каме — есть такой... Который же он? Этот, со шрамом? Или, может быть, тот — одноглазый? Или нет... Наверное, этот — в высоком шлеме...

Шли мимо одетые, словно к бою, воины, и тусклые блики скользили по их броням и оружию... Погромыхивало оружие, а на высоком крыльце стоял Семен Аникеевич, и тускло и грозно, точно отблеск на шлеме, сверкали его глаза...

И едва скрылся Семен Аникеевич с атаманами в доме, распахнулись дверки кладовых и покатились бочки с пивом — начинался казачий пир.

Только не довелось Голышу посмотреть на гуляющих казаков. Позвали на ладью, и, подталкивая оглядывающегося ученика, заспешил Стефан на борт — казаков, конечно, любопытно посмотреть, только есть и свои дела, к которым ты поставлен, и их и надо справлять.

Три весны прошумело с того лета. Четвертая согнала тяжелый снег вокруг монастыря, и многое было сделано за эти годы. Пел созданный Стефаном хор, так пел, как он, Стефан, хотел... Другие же ученики разбрелись по всему северу. По азбукам, по фигникам, по кокизникам выучил их Стефан записывать музыку, и теперь уже и сами ученики слагают сладкозвучные напевы. А в какого мастера вырос за эти годы вертлявый Иван Лукошко?

Стефан вздохнул и медленно раскрыл книгу. Чудо было вчера во время заутрени. Словно из памяти, словно изнутри зазвучала сладкоголосая музыка. Спросил: чье сочинение? Ответили — Лукошки... Вот, значит, как свиделись с учеником.

Стефан Голыш склонился над страницей, вслушиваясь в нее. Тихо было в келье. Мерцали, потрескивая, огоньки у лампад, да шуршал за стенами, осыпаясь с ветвей, снег.

Смеркалось. Самое тихое это вечернее время любил Стефан, приурочивая к сумеркам неторопливые мысли, что совершались, превращаясь в музыку, в нем. На это время суток и берег Стефан музыку ученика. Но — странно — путалась музыка: не чистое славословие господне звучало в келье, а какой-то другой, разгульный напев...

Нахмурившись, Стефан отодвинул октоих, забарабанил пальцами по столу. Отчего-то опять вспомнился хмурый день на Каме, сырой пронзительный ветер, шумящий в лесу, разорвавшие серую пелену дождя черные струги... И он смотрит на воинов, идущих к строгановскому дому, пытается узнать: который Ермак... Отчего же снова припомнилось все это так, словно вчера было?

Стефан потер лоб.

Сегодня в трапезной шептались монахи о разбойнике, который Сибирью поклонился царю. Такую вот чудную весть привез из Москвы монашек.

Откинувшись на спинку скамьи, Стефан полузакрыл глаза.

Далече-далече, во чистом поле,
Еще подале на синем море,
На синем море, на взморьице... —

словно вспомнив позабытое, тихо запел он...

По кругу Ермак похаживает,
Казакам добрым молодцам приказывает...

Не чувствовал Стефан, сколько времени звучала, длилась песня. Словно забытье охватило его, и не помнил он, как и окончилась она. Как сидел с полузакрытыми глазами, вытянув на столе руки, так и остался сидеть. Не двинулся.

Но скрипнуло в углу, возле двери. И хотя и не поворачивался Стефан, угадал по звуку нового ученика, недавно взятого в хор.

— Что тебе?

— Настоятель вас просит, дидаскол... — дрожащим от волнения голосом отвечал ученик.

— Настоятель? — Стефан нахмурился. — Скажи: сейчас буду.

Но не ушел ученик. Переминаясь с ноги на ногу, стоял у двери, не решаясь спросить о чем-то главном.

— Что еще?

— Песня, дидаскол... — невпопад ответил ученик и, совсем смутившись, добавил шепотом: — Откуль такая?

— Песня? — обернувшись, Стефан взглянул на ученика. — Услышал недавно... На стругах пели.

И, скрытая, не видна была ученику улыбка учителя. Впрочем, что ж?

Только вздохнула из-подо льда река, поплыли струги и на первом же — издалека слыхать! — «Далече-далече, во чистом поле» — звонкие заливались голоса.

РОДОСЛОВНАЯ ЕРМАКА

Так было или иначе — кто знает? Ничего не известно сейчас о композиторах шестнадцатого века Стефане Голыше и его ученике Иване Лукошке. Только музыка, на-

писанная ими, осталась нам, а о жизнях — нет! — ничего не ведомо.

Отрывисты и противоречивы и дошедшие до нас сведения о Ермаке.

Летопись говорит о нем кратко:

«О себе же Ермак известие написал, откуда рождение его. Дед его (Афанасий Григорьевич сын Аленин) был суздалец, посадский человек, жил в лишении. От хлебной скудости сошел во Владимер... и тут воспитал двух сыновей Родиона и Тимофея, и кормился извозом, и был в найму в подводах у разбойников, на Муромском лесу пойман и сидел в тюрьме, а оттуда беже с женой и с детьми в Юрьевец Подольский, умре, а дети его Родион и Тимофей от скудности сошли на реку Чусовую и вотчины Строгановы, ему породи детей: у Родиона два сына — Дмитрей да Лука, у Тимофея дети Гаврило, да Фрол, да Василей. И оный Василей был силен и велеречив и остр, ходил у Строгановых на стругах в работе, по рекам Каме и Волге, и от той работы принял смелость, и, прибрав себе дружину малую, пошел от работы на разбой и от их звался атаманом, прозван Ермаком, сказуется дорожный артельный таган, а по-вологодски — жерновой мельниц ручной».

Вот и вся родословная Котла Тимофеевича, а по-вологодски — Жернова.

Однако и эти небогатые сведения сомнительны. Кунгурская, например, летопись называет Ермака «рабом божьим Германом», а всего историками зафиксировано семь имен Ермака: Ермак, Ермолай, Герман, Ермил, Василий, Тимофей и Еремей.

Довершая путаницу, в тусклой мерцающей полутьме прошлого возникает двойник — донской атаман Ермак Тимофеевич, который летом 1581 года осадил город Могилев, а вскоре после гибели покорителя Сибири упомянут в списке донских атаманов.

Имя, место и год рождения — ни на один из этих анкетных вопросов мы не можем ответить, когда заходит речь о Ермаке.

«Слишком мало источников», — вздыхает исследователь, и это действительно так. Мы небрежны к своей истории. Разве не об этом виноватые слова дьяка из семнадцатого столетия: «...в приказе большого дворца Елатомский таможенный сбор неведом, а Старо-Резанских зборных книг... не сыскано. Подьячие же, которые те дела в

тех годах ведали, померли, и справиться о том не с кем».

Сколько же столетий подряд в войнах, пожарах и смутах, а чаще всего из-за нерадения теряем мы подробности своей истории!

Так легко воскликнуть, но в случае с Ермаком восклицание это не совсем уместно. Ермак был одной из самых крупных фигур своего времени, и значение дела, совершенного им, прекрасно понимали и при жизни. Не успело еще посольство Ивана Кольцо вернуться в Кашлык, как уже зазвучали песни о Ермаке, а былина назвала его младшим братом Ильи Муромца.

По свидетельству Александрова, входившего в состав казацкого посольства, в Москве очень настойчиво выспрашивали о личности Ермака. Да и историками-современниками Ермак не был забыт. Еще жили сподвижники Ермака, когда царь «за обедом вспомянул Ермака...» и дал указание тобольскому архиепископу Киприану Старорусенникову собирать материалы о сибирском походе.

На второй год по приезде в Тобольск Киприан призвал к себе уцелевших казаков и, подробно расспросив их о сражениях, о том, кто, где и когда был убит, составил первую сибирскую летопись.

А в конце шестнадцатого — начале семнадцатого века труды о сибирском взятии появляются один за другим. Это и Есиповская летопись, и Ремизовская, и Строгановская и т. д.

Так отчего же так мало известно нам о Ермаке?

Человек, который, возникнув из слухов, с небольшой дружиной ушел в Сибирь и сразу начал жить в песнях, просто не вмещался в изыскания древних летописцев. Любая конкретность вступила бы в противоречие с образом Ермака, созданным народом. И летописцы — сами люди из народа — чувствовали и понимали это...

ЕРМАК НА ВОЛГЕ

Карамзин сказал, что «Ермак был рода безвестного, по душою великой». Кажется, это наиболее точное определение человека, завоевавшего Сибирь.

Обрывочные сведения источника указывают на то, что больше десяти лет Ермак провел на Волге, совершал набеги на ногайцев и грабил купеческие суда.

Вероятно, он был атаманом лишь одной из многочисленных казачьих шаек, действовавших в тогдашнем Поволжье.

Московское правительство если и не одобряло, то, во всяком случае, смотрело сквозь пальцы на грешки казаков, относясь к ним как к своеобразному природному явлению, полезному для безопасности южной границы.

И хотя то и дело происходили досадные недоразумения — так, например, царский гонец доносил, что на пути из Казани в Астрахань пришли на них в стругах князь Василий Мещерский да казак Личюга хромой Путивлец и взяли «у нас судно, а меня позорили» — Иван Грозный не предпринимал никаких решительных действий против казаков, ограничиваясь засылкой к ним воевод, которые должны были объяснять казакам, что делать можно, а что нельзя. Можно было нападать на ногайцев, а грабить купеческие и тем паче царские суда не следовало. Когда же поступали жалобы от послов, царь разъяснял им, что к казакам он не имеет никакого отношения и потому не несет ответственности за их действия.

Так продолжалось до тех пор, пока не начались неудачи в Ливонской войне. По меткому определению советского историка Р. Скрынникова: «в большой дипломатической игре казаки оказались разменной монетой». Ими откупалось московское правительство от своих южных соседей.

Волжская деятельность Ермака продолжалась более десяти лет, и за эти годы он не раз участвовал в весьма сомнительных предприятиях (участвовал Ермак и в знаменитом набеге на столицу ногайцев город Сарайчик), но в документах тех лет, склоняющих имена Ивана Кольцо и других волжских атаманов, имени Ермака мы не находим. Нет его и в списке разбойников, осужденных на смертную казнь. По-видимому, его имя вообще было неизвестно Москве.

Это тот случай, когда отсутствие информации о человеке весьма много говорит о нем.

Очевидно, Ермак на голову превосходил своих товарищей по ремеслу дипломатическими способностями и гораздо лучше их разбирался в политической ситуации тех лет. Потому-то, занимаясь тем же, что и они, делом, прямых столкновений с интересами царя избегал и в самых рискованных делах умел оставаться в тени. Слушок о нем, может быть, и доходил до Москвы, но всегда рядом

с Ермаком были более дерзкие ослушники, и молнии царского гнева падали на их головы.

Гораздо более трезво оценивая ситуацию, сложившуюся на Волге к концу семидесятых годов, когда казаки оказались стиснутыми между враждебными ногайцами и карательными частями, Ермак первый и — вполне возможно — тогда единственный из волжских атаманов принимает решение уйти на Каму.

Существует версия, что Строгановы в эти годы сами пригласили к себе на службу казаков Ермака. Так или иначе, но интересы Ермака и Строгановых в этот момент совпадали: казакам нужно было пережить трудное время; Строгановы нуждались в хорошо подготовленном и вооруженном отряде — назревала новая война с немирными зауральскими князьками.

Иван Кольцо со своим отрядом остался на Волге, и то, как сложилась его судьба, доказывает своевременность действий Ермака.

В критический момент Ливонской войны, когда шведы, взломав русскую оборону на северо-западе, взяли Нарву, Копорье, Ям, когда поляки осадили Псков, Иван Грозный пожертвовал волжскими казаками ради предотвращения конфликта на южной границе.

Возвращающегося из Сарайчика посланника Пелепелицина сопровождало триста верховых ногайцев. На переправе в районе реки Самары на них напали казаки Ивана Кольца и С. Болтыря и разгромили отряд. Взятого «языка» отправили в Москву — там обычно щедро награждали за такие дела. На этот же раз все получилось иначе. Пленный ногаец назвался «улусным человеком князя Уруса» и был освобожден, а казаки казнены у него на глазах.

Царь приказал поймать Ивана Кольцо. «И мы на тех казаков на Волжских, на Митю Бритоусова и на Ивана Юрьева (Кольцо) опалу свою положили, казнить их велели перед твоим (ногайского князя Уруса) человеком».

Кстати, Пелепелицин, по-видимому, сумел тогда убежать, потому что через несколько дней — целый и невредимый — появился в Москве. Впрочем, дипломатическая карьера его на этом неудачном посольстве и кончилась. Он был назначен вторым воеводой в глухую Чердынь и сразу же уехал туда, затаив злобу на Ивана Кольцо.

«СИРОТКИ» СТРОГАНОВЫ

В письмах к царю Строгановы именовали себя сиротами. К 1580 году «сиротки» владели семью с половиной миллионами десятин земли, а торговый дом их процветал.

По словам крупнейшего знатока этой фирмы А. А. Введенского: «В русской истории Строгановы являли собою более неповторяющийся тип русских Фуггеров, и русских Пизарро, и Кортеса одновременно».

Это действительно были смелые, энергичные и предприимчивые люди. Не чужды им были искусства и науки — прославлена строгановская иконописная школа, а после смерти Аники Федоровича, всю жизнь донашивавшего отцовскую одежду, осталось огромное по тем временам собрание рукописных и печатных книг. Смело вкладывали Строгановы деньги и в политику. Это они финансировали в 1445 году выкуп из татарского плена Василия Темного.

Деньги, вложенные в политику, оборачивались новыми привилегиями, приносящими новые деньги.

Правда, щедрость московского правительства простиралась лишь на территории, где власть его была чисто символической, и, прежде чем пользоваться дарованными привилегиями, нужно было утвердить эту власть, но Строгановы не смущались такими накладками — смело продвигали они к Уральскому хребту границу Русского государства.

Прошлое людей, которых они брали на службу, мало интересовало их, и естественно, что на «подмоченную» репутацию Ермака они не обратили внимания.

Ермак был нужен им для дальнейшей колонизации Предуралья. Кроме того, после вступления Строгановых в опричнину, Грозный даровал им новые земли на Тахчеях. По царской грамоте, подписанной 30 мая 1574 года в Александровской слободе, Строгановы получили новые привилегии на землях, расположенных уже за Уральским хребтом в зоне непосредственного влияния Кучума, и поэтому укрепиться на них было трудно.

К этому времени Строгановы накопили большой опыт в освоении новых земель и сейчас продвигались к Тахчеям осторожно и основательно, ставя один за другим новые городки по Чусовой и Сылве.

Постригшись в монахи, в 1570 году умер глава фирмы Аника Федорович Строганов. В 1580 году дела дома вели трое Строгановых. Семен Аникеевич и его племянники: девятнадцатилетний Никита Григорьевич и двадцатичетырехлетний Максим Яковлевич.

Максим Яковлевич и дядя энергично осваивали земли на Чусовой и Сылве. Они и приняли в свои городки казаков.

Строгановская летопись, освещая этот период в жизни Ермака, пишет: «Атаманы же и казаки стояху против безбожных егарян буйственно и единомысленно с живущими ту людьми в городках, и бияхуся с безбожными агаряны сурово и немилостливо и твердо стояху и на неверных поощряхуся, пожиста же они: атаманы и казаки в городках два лета и месяцы два».

Казаки не напрасно ели строгановский хлеб. Еще не успели затянуться раны после набега Магомет-Кули — будущего главнокомандующего кучумовскими войсками, — как перешел Югорский хребет мансийский мурза Бегбелий и «нечаянно подошел под Чусовский Строгановых городок и оттоль, учиня нападение на Сылвенский острожек и прочие села и деревни многия, выжег и разорил и убийства людям и грабежи учинил и получа в добычу несколько мужеска пола людей, назад было побег», но был настигнут и взят в плен.

СЫЛВЕНСКИЙ ПОХОД

Историки не задумываются над тем, когда в Ермаке возникла мысль о походе в Сибирь. Считается, что стремление это уже изначально было заложено в нем, а восторженные беллетристы договариваются иногда и до того, что и на Волгу-то пошел атаман только затем, чтобы набрать отряд для задуманного похода.

Но если трезво смотреть на события четырехсотлетней давности, то легко заметить, что до весны 1581 года (новый год начинался тогда первого сентября) ничто не свидетельствует о том, что у Ермака появились столь обширные планы.

В Строгановских вотчинах он находился на положении наемника, которого кормят за выполнение вполне конкретных указаний хозяев. Строгановы же не спешили за Урал, укреплялись пока в Предуралье.

Не понимая этого, многие исследователи объясняют сылвенский поход Ермака ошибкой. Ермак, дескать, спутав устья Чусовой и Сылвы — действительно расположенные близко друг от друга — и «обмишенившись», пошел не по той реке, а когда понял свою ошибку, уже начались заморозки, и пришлось вот зимовать Ермаку на месте нынешнего Кунгура.

Самое забавное, что аналогичное объяснение я услышал и в Кунгуре от местного жителя.

— А чего? — сказал он. — Все просто. Ермак лег спать, а кормщикам чего надо? — лишь бы река была спокойная. Вот они и выбрали Сылву. Сылва-то ведь не Чусовая — ленивая, словно корова.

Местному жителю, конечно, простительно не знать, что в шестнадцатом веке и на Сылве и на Чусовой уже стояли русские городки и острожки, но как об этом забывают профессиональные историки — просто уму непостижимо!

Разумеется, Ермак не мог заблудиться.

Весной 1580 года, выполняя вполне конкретное указание Строгановых, благополучно поднялся он вверх по Сылве и поставил на месте Кунгурской ледяной пещеры городок, а весной, оставив в городке семейных казаков и поставив в городище часовню во имя Николая Чудотворца, вернулся назад на Каму.

Место над Кунгурской ледяной пещерой до сих пор называется Ермаковым городищем. Память народа сохранила до наших лет около тридцати названий на уральских притоках Камы, так или иначе связанных с Ермаком.

НАБЕГ КИХЕКА

Когда Иван Грозный в припадке ярости убил своего сына, в этой же комнате находился и Борис Годунов. Он пытался остановить расправу, но вмешательство это не помогло. Убив сына, Грозный отлупил и Годунова. Отлупил так, что тот надолго слег в постель. Знавший толк в травах Семен Аникеевич Строганов решил задержаться в Москве. Он взялся лечить царского любимца.

Полновластным хозяином в чусовских вотчинах стал двадцатипятилетний Максим Яковлевич.

Лето выдалось неспокойное. Едкой гарью тянуло с верховьев реки — там горела подожженная преподобным

Трифоном тайга, — и по воде несло задохнувшихся в огне животных.

Пожар начался так. Выжигая для пашни лес, Трифон ушел молиться и не уследил, как перекинулся огонь на заготовленные крестьянами дрова. Крестьяне вместо того чтобы тушить пожар, первым делом кинулись ловить отшельника. Поймали, сбросили со скалы, но, увидев, что он остался жив, кинулись снова догонять его, а пожар за это время ушел в тайгу.

К счастью для будущего святого, возле берега стояла лодка. Он прыгнул в нее, и лодка, покачнувшись, отошла от берега и быстро поплыла по стремнине.

Отшельника перехватили в Нижнечусовском городке. Максим велел одеть на него железо и бросить в темницу.

«Скоро и сам ты понесешь то же!» — предрек Трифон, но Максиму было недосуг вдумываться в пророчество. Уже донесли лазутчики, что просочились из-за камня войска пелымского князя Кихека и — не сегодня завтра — следовало ждать их у стен городка. Дни и ночи проводил Максим с Ермаком на городских стенах.

Были и другие недобрые знамения. Прибежал из леса вогулич со стрелою в спине, упал у ворот и умер. Когда вышли посмотреть, увидели — оперение у стрелы золотое. Кучумовской была та стрела...

С Кучумом не собирался воевать Максим. Слишком могущественным был сибирский владыка. Он и московскому царю мог писать: «Хочешь миру — и мы помиримся, а хочешь воевать — давай воевать будем». Куда уж тут ему, Максиму? Нет, не воевать он хотел, а пробиться на пожалованные на Тахчеях земли, укрепиться там, а дальше уж... Бог подскажет, что делать дальше.

Но не с кем было посоветоваться...

Горечью лесного пожара пропитался воздух. Максим по ночам вставал с постели, долго сидел у стола, сжав руками голову... Не вовремя, ох, не вовремя отлучился дядя. Максим одевался, снова шел на стену, до боли в глазах вглядывался в мутноватые рассветные сумерки.

Лишь в августе, убедившись, что войска пелымского князя прошли севернее, на Чердынь, Максим приказал Ермаку готовиться в путь. Нужно было успеть поставить до снега еще один городок — в самом верховье Чусовой.

СЕМЕНОВ ДЕНЬ

Первого сентября — Семенов день.

Первого сентября 1581 года случилось сразу три события. Случились они в разных концах страны, но все они имеют важное значение для последующего повествования.

Первого сентября 1581 года струги Ермака ушли из Нижнечусовского городка. Начался знаменитый сибирский поход.

Первого сентября 1581 года войска пелымского князя Кихека обрушились на Чердынь.

«Город Чердынь деревянный, а на городе шесть башен, а мосты и обломы на городе и на башнях давно сгнили, и кровля обвалилась, а четверты ворота да тайник дак совсем завалилися, да и колеса у пушек ветхи и худы» — такою была в тот день Чердынь, но — странно! — она выдержала удар и, растекаясь по окрестностям, кихековские банды пошли к Кай-городку, где «велию пакость учиниша», а затем вернулись на Каму, сожгли Соликамск и двинулись — уже с другой стороны — к строгановским вотчинам.

Отпуская казаков Ермака, Максим просчитался. Хотя Кихеку и не удалось взять ни один из строгановских городков, но опустошения, произведенные им, были огромны. Все окрестные деревеньки были сожжены пелымским князьком.

Решающее сражение состоялось у стен Нижнечусовского городка. Вооружив сбежавшихся в крепость крестьян, Максим вышел навстречу неприятелю, и «сражение было жестокое и упорное, а победа сумнительная». Тем не менее с остатками своих войск Кихек бежал за Камень.

Всю зиму Максим бился, восстанавливая порушенное хозяйство, весной, как снег на голову, хлынули в его городки бегущие с Волги отряды Ивана Кольца.

Максим Яковлевич наотрез отказался снабжать этих казаков припасом, но казаки подступили к нему «грызом», а Иван Кольцо крикнул гневно: «Мужик! Не знаешь ли, ты и теперь мертв! Возьмем тебя и растерзаем по клоку!»

С тоской смотрел Максим Яковлевич, как из его амбаров тащат казаки в его струги его добро. Казаки тащи-

ли все без разбора, так что скоро «струги грузу знимать не стали и под берегом тонули».

Кунгурская летопись дважды рассказывает о начале похода, называя сперва имя Ермака, которого Строгановы сами снаряжают в поход, а затем имя Ивана Кольца, который сам собрался в поход, ограбив Строгановых. Так, наверное, и было, но, когда записывались рассказы казаков, оба отряда уже настолько слились в их представлении в одно целое, что казаки не различали их между собой, и поэтому и летопись не дифференцирует выступления казачьих отрядов.

Несчастья Максима Строганова, однако, на этом не кончились, потому что в Семенов день 1581 года случилось еще одно, пока не упомянутое нами событие. В этот день прибежал в Москву вырвавшийся с бойни, учиненной казаками на самарской переправе, Василий Пелепелицин.

Перечеркивая карьеру незадачливого дипломата, Грозный назначает его вторым воеводой в Чердынь. Легко представить себе, что чувствовал Пелепелицин, когда узнал, что Максим Строганов позволил уйти казакам Ивана Кольца за Камень. Весь гнев опального воеводы, а тогда Пелепелицин был единственным воеводой — князя И. М. Елецкого отозвали в Москву, — обрушился на голову Максима Яковлевича.

Срочно в Москву полетел донос, и уже 16 ноября 1582 года Грозный откликнулся опальной грамотой на Максима и Никиту Строгановых. Все потери в войне с пелымским князем ставились в счет Строгановых: «И то все осталось вашим воровством и изменой».

Впрочем, до заточения Максима дело не дошло. Он вовремя вспомнил о пророчестве преподобного Трифона, приказал снять с него оковы и отпустить на волю и, как утверждает житие, «по молитве преподобного царский гнев прекратился».

Трифон вскоре покинул негостеприимные края и в дальнейшем продолжал свою деятельность в Хлынове, где основал Успенский монастырь. После смерти он был причислен православной церковью к лику святых.

Вторая, помимо молитв Трифона, версия о прекращении царского гнева основывается на том, что в январе 1582 года до Москвы добралось посольство Ермака, при-

везшее известие о взятии Сибири, и возглавлял его осужденный на смертную казнь Иван Кольцо.

Но, впрочем, мы уже слишком забежали вперед. Впереди еще весь беспримерный, героический поход в Сибирь.

ЕРМАК В КОКУЙ-ГОРОДКЕ

Первого сентября 1581 года струги Ермака поплыли вверх по Чусовой. Обитая белой жестью, долго еще была видна верхушка церкви в Нижнечусовском городке, но вот пропала и она — Ермак смог вздохнуть спокойно. Снова он превратился из наемника в полновластного, как и на Волге, атамана.

По свидетельству казака Ильина, который «полевал» с Ермаком двадцать лет, атаману в момент начала похода перевалило за сорок лет. Это был опытный и решительный военачальник, умеющий обуздывать своенравную казачью вольницу...

Долго плыли по Чусовой. Берега были пустынны. Только у Красного камня встретили людей. Тяжелые лесные кручи, отражаясь в реке, обычно темнили воду, а здесь, под Красным камнем, вода была тревожно-красной, как кровь, и напротив, на каменистой отмели, горел костер. Вогулич с луком за плечами смотрел из-под руки на приближающиеся струги. Но когда казаки пристали к берегу, нигде сыскать вогулича не смогли.

Проводники — коми — говорили, что лучше свернуть с Чусовой на Медвежью утку. Но когда туда послали разведку, выяснилось, что вода там слишком мелка для стругов. После совета стали подниматься по Серебрянке.

Медленно, до глубокой осени, поднимались вверх по реке. Часто приходилось останавливаться и ставить запруды из парусов, чтобы поднять в реке уровень воды.

К заморозкам дошли до реки Кокуя, притока Серебрянки, и здесь поставили городок.

Пока Ермак действовал в точном соответствии с инструкциями Максима Яковлевича Строганова — городок был поставлен и мог служить как оборонительным сооружением, так и плацдармом для дальнейшего продвижения в Сибирь.

Зимовка в Кокуй-городке была спокойной, и со стороны казалось, что Ермак бездействует, но именно в эти

месяцы совершалась в нем та огромная внутренняя работа, что превращала наемника в народного героя.

Ермак многое умел в свои сорок лет. Умел обуздывать своенравную казачью вольницу, умел организовать и осуществить разбойничий набег, умел увернуться от царского гнева, умел ставить городки и биться с неприятелем, но всех этих умений не хватало теперь для разрешения стоящих перед ним задач. В сферу умственных интересов Ермака оказались включенными такие новые, неизмеримо большего масштаба понятия, как Русь, Сибирь... Чтобы охватить их, нужно было измениться самому, неизмеримо вырасти...

Сибирь была уже совсем рядом и от местных жителей — здесь жили манси сибирского владения, — которых приводили в острожек рыскавшие по округе казаки, много нового узнавал Ермак о необъятной стране, лежащей перед ним.

Чуткий политик и дипломат, он, безусловно, очень быстро уловил внутренние противоречия Кучумовского государства.

Завоевание Сибири татарами произошло в тринадцатом веке, и за это время сменилось четыре династии правителей. В пятнадцатом веке к власти пришел Ивак из рода Шейбанидов, который в 1481 году предпринял смелый набег на Золотую Орду и погубил хана Ахмета, сжегшего незадолго до этого Москву, а «ордобазар с собой приведе в Чимгу-туру».

Сын Ивака — Кулук-салтан пытался утвердиться в Перми, но там уже владычествовали русские, и из этой затеи ничего не вышло, тем более что царство Ивака было недолгим. Скоро его убил хан Махмед, который перенес столицу из нынешней Тюмени в город Искер.

Один из потомков Махмеда, Едигер, опасаясь внука Ивака — Кучума, накапливавшего силы, попросил русского царя принять его в подданство. Просьба Едигера была удовлетворена, но никакой реальной помощи сибирский правитель от России не получил, и в 1563 году вместе со своим братом Бегбулатом пал от руки Кучума.

Кучум энергично укреплял свое государство, насильственно внедряя мусульманство, и очень скоро сделался ненавистным для коренных народов Сибири. Родственные узы связывали его с правящими родами ногайцев и казахов, и даже в своей столице он опирался не на местную татарскую знать, а на ногайскую гвардию.

Огромное царство Кучума было непрочно, и, вероятно, здесь, на зимовке в Кокуй-городке, и решился Ермак предпринять свой беспримерный поход.

Ему не составило труда уговорить дружину. Предчувствуя богатую добычу, казаки сами рвались в Сибирь.

На зимовке в Кокуй-городке Ермак разработал и план предстоящей кампании. Впервые в мировой практике он решается начать речную войну.

Когда военачальник находит особенно удачное решение, оно всегда кажется смелым и необычным, но, когда кампания благодаря этому решению благополучно и победно завершается, кажется, что иного решения и не могло бы быть, а предложить какой-то иной план значило бы совершить непростительную глупость. И естественно, что четыреста лет спустя единственно возможным в сибирской войне кажется нам вариант похода на стругах, и мы не видим в этом какой-то особенной заслуги Ермака — ведь иначе и быть не могло!

Но так нам кажется спустя четыреста лет, а пока поход был не осуществлен, все выглядело совсем не так очевидно. Вот, например, другой план сибирской кампании, составленный современниками Ермака: «На Пелымского князя зимою на нартах ходить».

И действительно, против речного плана имелось очень большое количество возражений. Утрачивался элемент внезапности — одно дело незаметно пробираться по лесным чащобам и совсем другое — открыто плыть по рекам. Пугала опасность — никто по этим рекам не плавал — застрять на мелководье и оказаться в ловушке. И самое главное: никто же еще не воевал так! Ведь одно дело — грабить купеческие караваны и совсем другое — вести войну.

Но имело смысл и рисковать, потому что так же отчетливо видел Ермак и преимущества речной войны. У противника не было ни опыта, ни средств для ведения такой войны. Кроме этого, всегда оставался защищенный тыл — казаки могли в любой момент развернуть струги и плыть назад.

Как подтвердила действительность, первое преимущество и сыграло основную роль в победе казаков. На протяжении всей кампании, наступая, Ермак мог по собственному усмотрению уклоняться от сражений или принимать их. Как правило, он избегал открытого пространства, где могла бы развернуться лавина татарской конни-

цы, и предпочитал схватки на узких береговых полосках, где биться татарам приходилось в пешем строю. Таким образом, на протяжении всей кампании инициатива всецело находилась в руках Ермака.

Второе же преимущество обернулось в дальнейшем против Ермака и едва не привело к срыву всего наступления, но об этом мы будем говорить ниже.

Все эти плюсы и минусы речной войны легко перечислять сейчас, но чтобы увидеть их тогда, в Кокуй-городке, когда Сибирь представлялась белым пятном, безусловно, требовалась гениальность Ермака.

Весной, оставив на Серебрянке струги, казаки перетащили двадцатипятиверстным волоком кладь и легкие лодки на реку Журавлик и начали спускаться в Сибирь.

Струги Ермака пролежали здесь больше столетия. Уже в начале восемнадцатого века историк Икосов видел их здесь. Кустарник пророс сквозь прогнившие днища, и струги Ермака как бы срослись с землей.

НАЧАЛО СИБИРСКОГО ПОХОДА

У Медведь-горы на Тагиле Ермак приказал остановиться.

У того Медведя-камня у Магницкого-горы становилися,
А на другой стороне было у них плотбище.

Здесь, в двенадцати километрах от нынешнего Нижнего Тагила, три недели стояли казаки Ермака — делали новые струги.

Теперь, когда осталась позади зимняя нерешительность и сомнения, снова твердыми и уверенными стали приказы Ермака, и все увидели вдруг, как сильно изменился атаман.

Иван Кольцо, догнавший у Медведь-горы дружину Ермака, не сразу узнал своего товарища по волжским набегам. Другой человек стоял перед ним, и его Иван Кольцо не знал.

Пытаясь подавить смущение, он начал рассказывать, как лихо, разгромив строгановские магазины, прорвалась его ватага за Камень.

Ермак нахмурился — ни к чему было ссориться со Строгановыми в самом начале похода, но ничего не сказал, коротко указал, где работать прибывшим, и отошел в сторону.

И, может быть, потому, что не стал Ермак упрекать Кольцо, и стало вдруг ясно всем, как различны атаманы. Один так и остался разудалым казаком с Волги, а другой уже знал что-то большее...

Кольцо и сам почувствовал это. Схлынула дурашливая веселость. Безмолвно подчинился приказу, признавая командиром своего бывшего сотоварища.

И все-таки на следующий день Ермак собрал казачий круг, где он снова был избран атаманом — слишком велико было его преимущество над другими.

Первого мая поплыли вниз по Тагилу.

Хотя то и дело мелькали по берегам островерхие шапки татар, плавание было спокойным.

Лишь на омутистой Туре состоялся первый бой. Князь Епанча, собрав мансийцев и татар, преградил путь стругам.

Ермак приказал прижаться к противоположному берегу, и татарские стрелы упали в воду, не долетев до стругов. Казаки прошли мимо, но Епанче это не понравилось, и, пройдя напрямик через излучину реки, он перехватил казаков под самым городком.

Бой был коротким. Опрокинутые огневым залпом, татары смешались и, когда казаки бросились в атаку, не выдержали и бежали, оставляя в добычу казакам Епанчин-городок.

Стремительно движение Ермака.

Кольцо еще жег Епанчин-городок, а легкие струги уже помчались к Чимге-туре.

Метрах в двухстах от устья Тюменка, впадающая в Туру, раздваивается и сжимает своими рукавами высокое взгорье. Здесь-то и стояла когда-то старая татарская столица.

Сейчас это взгорье хорошо видно из окна Тюменского краеведческого музея. Оно находится почти в центре города.

Татарские городки строились без расчета на нападение с реки. С наблюдательных башен Чимги-туры река не просматривалась, и казачьи струги подошли незаметно. Прокравшись по заросшей тальником пойме, казаки почти вплотную подобрались к степам и стремительно бросились на штурм.

Татарин на сторожевой башне еще только натягивал

тетиву лука, а бой уже шел в городе. Коротким и бескровным приступом была взята Чимга-тура.

Один за другим падают города, прикрывающие подступы к ханской столице с запада.

В Тарханном городке на Тоболе казаки захватили в плен Кучумова сборщика ясака Кутугая. Сохранилась легенда, что Ермак приказал стрелять в снятую с Кутугая кольчугу, чтобы продемонстрировать мощь огнестрельного оружия.

Основываясь на этой легенде, многие исследователи Ермака, стремящиеся увидеть в нем русскую разновидность Кортеса, Писсаро и Васконулье де Бальбоа, как раз наличием огнестрельного оружия и объясняют успех его экспедиции.

Нет нужды объяснять, что Ермак не обладал преимуществом южноамериканских завоевателей. Главнокомандующий кучумовскими войсками Магомет-Кули сам совершал набеги на Русь и ничего сверхъестественного в предстоящей войне не видел. Если что и смущало его, так это тактика, избранная Ермаком.

Одно за другим выигрывает Ермак сражения.

Возле урочища Березовый Яр крупные татарские силы пытались остановить его, но Ермак прехитрил противника:

Понаделали людей соломенных
И нашили на них платье цветное.
Было-то дружины у Ермака триста молодцев.
А уж с теми стало больше тысячи...
А татары смотрят да дивуются,
Каковы-то русски люди крепкие,
Что убить-то ни единого не могут их...

Пока татары смотрели на тальниковые пучки, наряженные в казачьи кафтаны, и дивовались, Ермак с дружиною зашел им в тыл и разгромил их.

Возле Караульного яра татары перегородили узкий здесь Тобол железной цепью, но цепь не выдержала напора стругов, лопнула, и казаки прошли дальше.

Обеспокоенный приближением казаков Кучум в июле ввел в сражение главные свои силы под командованием Магомет-Кули.

Магомет-Кули был одаренным военачальником. В дальнейшем, попав в плен, он поступил на русскую службу и

участвовал в 1590 году в шведской кампании, а в 1598 году отличился во время похода царя Бориса на крымских татар.

Впервые Магомет-Кули столкнулся с Ермаком возле бабасанских юрт. Казацкие струги, развернувшись в одну линию, дали залп по скучившейся на берегу татарской коннице и, когда Магомет-Кули приказал спешиться, бросились в атаку. Татары не выдержали и побежали, но наступившая ночь прекратила сражение. Пять дней длилась неудачная для татар битва возле бабасанских юрт.

После Бабасанского побоища Магомет-Кули разгадал свою ошибку. Его коннице нужно было открытое пространство, чтобы можно было развернуться широким фронтом, окружить неприятеля и ударить по флангам, но вот как раз этого-то Ермак и не давал ему сделать. Прикрывшись щитами от стрел, казаки проплыли мимо Долгого Яра, где изготовилась к бою конница Магомет-Кули, и первого августа взяли расположенный на острове городок советника хана — Карачи.

Это был последний городок на пути к ханской столице.

В этом городе Ермаку предстояла куда более трудная, чем с конницей Магомет-Кули, битва...

СОРОКАДНЕВНОЕ СИДЕНИЕ

В Карачинском городке казаки провели сорок дней. Считается, что казаки отдыхали здесь после утомительных боев. Ермак, разумеется, заботливо относился к нуждам рядовых казаков, но едва ли — будь на то его воля — позволил бы он терять время, давая укрепиться Кучуму на подступах к столице.

До сих пор мы не говорили о взаимоотношениях Ермака со своей дружиной. Во время боевых действий казаки беспрекословно подчинялись атаману, но только боем и ограничивались его прерогативы как руководителя. Все остальные вопросы решал казачий круг.

Казаки, еще весною рвавшиеся в Сибирь, успели достаточно обогатиться во время похода и теперь требовали возвращения. На острове этот вопрос должен был решиться.

Ермак не мог допустить, чтобы поход сорвался. Чутьем, интуицией полководца он понимал, что именно сейчас и только сейчас можно сокрушить царство Кучума. Через

год этот же самый поход будет проходить совсем иначе — переимчивость татарского главнокомандующего не оставляла сомнений. Ермак во что бы то ни стало должен был предотвратить возвращение.

Но как предотвратить, если на казачьем кругу авторитет его, как он ни велик после стольких удачно проведенных сражений, все равно окажется недостаточно весомым в сравнении с личной безопасностью каждого из уже насытившихся добычей казаков.

Безопасные пути отступления — одно из главных преимуществ речного плана — оборачивались сейчас против Ермака. Нужно было, чтобы путей возвращения не стало.

Ермак нашел выход.

Расспрашивая пленных, он выяснил, что Иртыш замерзает во второй половине октября, Тобол и Тура примерно в это же время. Казаки спускались по этим рекам три месяца. Не меньше уйдет на то, чтобы подняться вверх.

Первого августа еще можно было успеть вернуться назад.

Летопись глухо говорит о распре, затеянной на острове атаманами Иваном Кольцо и Никитой Паном.

Вероятно, Ермаку нетрудно было поссорить вспыльчивых атаманов. И пока тянулась распря, сам оставался в тени, чтобы не нести в дальнейшем ответственности перед кругом за задержку.

Девятого сентября Ермак словно бы очнулся от апатии, охватившей его со времени прибытия на остров. Снова перед казаками был их прежний — энергичный и решительный атаман. Был собран круг. Путей отступления не оставалось. Выход был только один — взять Искер или погибнуть.

С уверенностью говорил Ермак о том, что сибирские народы, приученные ханской резней повиноваться тому, кто держит в руках столицу, сразу же отвернутся от Кучума, а с оставшимися силами он не решится беспокоить казаков.

Теперь, когда отступать было поздно, и сыграл свою роль авторитет Ермака — решение круга было единодушным.

Четырнадцатого сентября казаки покинули Карачинский городок и направились к устью Тобола.

Скоро они увидели белые воды Иртыша.

БИТВА У ЧУВАШСКОГО МЫСА

Подступы к Кашлыку прикрывала Чувашова гора, на которой укрепились татары.

Двадцать первого октября началась решительная битва возле Чувашского мыса.

Картина Сурикова, изображающая это сражение, грешит лишь одной неточностью — пушки действительно участвовали в бою, но стояли они не на казацких стругах, а на вершине горы, у татар.

Первые три приступа были отбиты, и единственным достижением их было то, что казаки сбросили в Иртыш эти пушки.

Укрываясь за засеками, татары осыпали казаков стрелами, и каждый шаг вперед стоил многих казачьих жизней. Казалось, уже совсем разбитые отошли русские войска, но двадцать третьего октября начался новый приступ, во время которого был ранен Магомет-Кули.

Его увезли, и в кучумовских войсках началось шатание. Первыми оставили Кучума низовые ханские князьки, следом за ними побежали отряды мансийцев.

К вечеру двадцать пятого октября сражение утихло. Русские потеряли в этом бою сто семь человек, то есть примерно четверть состава, но Кучум был разбит.

В ночь на двадцать шестое октября он оставил столицу и откочевал в ишимские степи. Легенда утверждает, что еще в Карачинском городке казаки получили посылку от Максима Строганова. Кроме припаса, он прислал и знамя, изготовленное в строгановских иконописных мастерских. На одной стороне квадратной хоругви архангел Михаил поражал копьем дьявола и низвергал в волны дома и башни, на другой стороне был изображен святой Дмитрий Солунский, побеждающий Кучума.

Под этим знаменем и вошли казаки в город.

Случилось это двадцать шестого октября, в день памяти святого Дмитрия Солунского.

Интересна дальнейшая судьба знамени. Долгое время оно хранилось в Омском казачьем соборе, но в начале гражданской войны по приказу Колчака знамя было изъято оттуда и вручено передовой сотне, которая должна была первой войти в Москву. Дальнейшая судьба знамени неизвестна.

Ермак был прав, предполагая, что хозяин в Сибири тот, кто владеет столицей. На четвертый день в Кашлык пришел остяцкий князь Бояр, а затем мансийские князьки Суклем и Шибердей. Возвращались в Кашлык и местные жители.

Остяки и мансийцы на медвежьей шкуре клялись в верности Ермаку, а татары целовали окровавленную саблю.

Слепой Кучум откочевал в Ишимские степи. Он сидел там в золотой юрте и слушал рассказы людей, которые видели, что вода в Иртыше стала красной, как кровь, а в воздухе возник город с церквами. Хан перебирал четки и ждал выздоровления племянника.

Впрочем, когда поправился Магомет-Кули, было уже поздно. 23 февраля 1583 года он был взят в плен и отправлен в Москву.

ПОСОЛЬСТВО В МОСКВУ

Взятием Кашлыка Ермак блистательно завершил свой поход. В Кашлык вернулось население. Привезли дань местные князьки — Русь наконец-то утвердилась в Сибири.

В ходе военных действий изменялась задача похода. Выполняя указания Строгановых, Ермак утверждался на Урале, затем пошел в Сибирь повоевать Кучума и вот — в ходе боевых действий — сокрушил его. Роль Ермака давно уже переросла границы строгановских владений. Присоединив Сибирь к Руси, он разрешил коренную национальную задачу, и не Строгановым докладывал он о завершении похода — безмерно малыми сделались вдруг камские властители... Зимой по волчьей тропе мансийский князь Шибердей повел посольство Ермака через Камень — в Москву.

В Кашлыке изменились, построжали и казаки. В каждом бою по отдельности, в каждом штурме не было для них ничего удивительного — они и раньше брали города и сражались не менее отчаянно... Но теперь, когда все сибирские бои и взятия слились в одно огромное дело, когда цель была достигнута, совершенное казалось столь невероятным, что уже мелькали в воспоминаниях о недавних боях хоругви, плывущие по воде и указывающие путь, кто-то вспоминал, что видел среди боя арханге-

лов в облаках — высшим светом наполнялись казачьи души.

Ермаку не составляло теперь труда удерживать казаков от ненужных жестокостей и грабежей.

И снова он является нам в новом облике — мудрого и дальновидного правителя страны. К концу декабря ясак был собран полностью, и 22 декабря на собачьих и оленьих упряжках посольство ушло в Москву.

Ермак назначил в посольство осужденного на смертную казнь Ивана Кольцо, подчеркивая этим важность совершенного дела. Безмерно малыми становились теперь прежние прегрешения.

Иван Грозный прекрасно понимал язык дипломатии Ермака. Дело, совершенное Ермаком, и ему казалось столь огромным, что впервые после долгих неудач он воспрянул духом.

С богатыми дарами возвратились послы в Кашлык.

Сибирью Ермак поклонился царю...

СМЕРТЬ ЕРМАКА

Первого августа 1585 года Ермак получил известие, что Кучум задержал большой караван бухарских купцов. С небольшим отрядом Ермак выступил в поход.

Казаки поднялись по Вагаю до урочища Атабаш и, не обнаружив нигде следов каравана, вернулись к устью Вагая. Это было в ночь на шестое августа.

Лил дождь.

Казаки разбили лагерь на острове и заснули, не выставив караулы.

Татары между тем крались за казаками по берегу.

И был у Кучума «татарин в смертной казни». Когда на острове погас последний костер, Кучум послал его в разведку. Разведчик скоро вернулся и доложил, что казаки спят.

Кучум не поверил ему и приказал принести какую-нибудь вещь. Татарин отправился назад на остров и принес три пищали и срезанный с казака нательный крест.

Только после этого татары бросились на остров.

Ермак успел проснуться. Яростно отбиваясь от наседающих татар, он начал пробиваться к обрыву, где стояли струги, пробился, прыгнул с обрыва, но струг покачнулся, Ермак упал в воду — тяжелая кольчуга увлекла его на дно.

Нелепость? Случайность?

А может быть, просто слишком большие, непосильные для человеческих плеч задачи взял на себя Ермак, и вот наступил момент нечеловеческой усталости, и тогда-то и произошла эта крохотная оплошка, которая привела к непоправимому.

Слишком напряжены были силы, потому что все приходилось делать самому. Ведь, наверное, не Ермак должен был проверять: выставлены ли посты, но получилось так, что сделать это было некому, и вот результат: короткая, бестолковая и бесславная сеча, обрыв Иртыша, темная вода.

Но высший свет чудится в гибели Ермака. Может быть, таким и должен был быть его путь, чтобы, возникнув из слухов, из дыхания народа, уйти в мутную воду Иртыша, неразличимо затянувшую его жизнь... чтобы нам, потомкам, осталось лишь дело его — Сибирь...

Образ подлинно русской судьбы явлен нам в жизни Ермака. Образ его слился в народном сознании с обликом былинных героев, живет в песнях, которые до сих пор поет народ.

ПОХОРОНЫ ЕРМАКА

Тринадцатого августа татарин Якыш, внук Бегиша, выехал на лодке наживлять перемет и увидел у берега «шатающиеся человеческие ноги».

Кольчуга перевернула в воде тело Ермака, и голова его уткнулась в дно, а ноги всплыли вверх.

Якыш вытащил тело Ермака и созвал татар.

Как утверждает летопись, над телом долго и злобно издевались. Приехал с остяцкими князьками Кучум и приказал положить тело на рундук и пускать в него стрелы. Хищные птицы, слетаясь на запах трупа, с резкими криками вились в воздухе.

Ночью у татар начались видения — перед глазами стоял воин со стрелами в груди, — и ночь татары провели неспокойно. Кучум, уже давно страдающий галлюцинациями, приказал похоронить тело.

Ермака похоронили на татарском кладбище под развесистой сосной.

В день похорон было зажарено и съедено тридцать быков.

На следующий день стали делить вещи Ермака.

Верхняя кольчуга с золотым орлом досталась жрецам Белогорского идола, нижняя — мурзе Кондаулу, кафтан — мурзе Сейдуку, сабля и пояс — бывшему советнику хана Караче.

Рассказывали, что на могиле у Ермака пылал по ночам огненный столб с глазами.

Среди татар распространилось поверье, будто земля с могилы Ермака излечивает от ран и делает человека непобедимым.

ЭПИЛОГ

Узнав о смерти Ермака, пятнадцатого августа казаки ушли из Кашлыка.

Скоро в пустой город, по улицам которого бегали только пыльные собаки, вошел сын Кучума Алей, а за ним и сам хан.

Видения не прекратились у Кучума и после возвращения в столицу. По ночам чудился ему глазастый огонь, из столба высовывались руки с саблями, а наверху виднелась церковь с колоколами. Страшный звон колоколов будил Кучума. Он просыпался, вокруг было тихо — только перелаивались на улицах собаки.

Предчувствия не обманули слепого Кучума. Из казахских степей пришел царевич Сеид Ахмад — сын зарезанного Кучумом Бегбулата. Он убил Кучума.

И снова опустел Кашлык.

А невдалеке от татарской столицы уже поднимался первый в Сибири русский город — Тобольск.

В 1621 году первый архиепископ Тобольска Киприан Старорусенников записал имена Ермака и казаков, убитых при покорении Сибири, в синодик и заповедал ежегодно в неделю православия вспоминать их и возглашать им вечную память.

Далече-далече, во чистом поле,
Еще подале на синем море,
На синем море, на взморьице...
По кругу Ермак похаживает...

Народ помнит о Ермаке. Чтит его память. Поет о нем четыре столетия спустя.

ПОЭЗИЯ

Феликс ЧУЕВ

ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ

* * *

В М. Шатилову

Вот он, Шатилов генерал!
В семье у них вот так:
Шатилов Яков
Зимний брал,
Василий взял рейхстаг.

Случайность?
Нет —
в конце концов,
как почесть на груди,
как не случаен путь отцов
с Победой впереди.

* * *

Огонь и порох
на гвардейской ленте,
земля и кровь —
солдатские слова,
как символы двадцатого столетья,
вплетенные надолго в торжества.

И каждый год
невылинялым стягом
в живом букете
первых майских дней
Победа полыхает над рейхстагом
спасенной картой Родины моей.

* * *

Ничегошеньки не изменилось,
продолжается юность моя —
мне такая отпущена милость,
потому что всепамятлив я.

И меня не состаришь. Я помню!
Не обманешь и не проведешь,
потому что от детства легко мне —
все в нем познано, только не ложь.

Потому что не дрогнула вера,
что росла и растила меня,
легендарных времен пионера
ради каждого нового дня.

Потому что ни разу не плакал,
как бы ни было жгуче впервой,
принимая, как высшее благо,
над собой этот свет голубой.

* * *

Положу я цветы особые
у камня светлого одного —
Леониду Сергеичу Соболеву
за морскую душу его

и за то, что она, победная,
сухопутных иных мощней,
провела, и сама не ведая,
капитальный ремонт — моей.

Не сказал бы ему так запросто —
не такой он был человек! —
дескать, здравствуйте, благодарствую...
А теперь и цветы не грех.

ПОРТРЕТ

В. В. Решетникову

Светит, горит, как волшебный фонарь,
маленький, красный, огромный «кубарь».

Кончил училище. Доблестный вид.
Гордо «Пальмира» меж пальцев дымит.

К светлой отваге — во имя! — готов
сокол — да что там! — тридцатых годов.

...Скорость — два маха у вас, генерал,
и седина — за войну гонорар.

Годы-года, ерунда, суета,
только б летать, только б небо — всегда.

Только бы в небе светил, как и встарь,
маленький, красный, огромный кубарь!

Семен КЛЕБАНОВ

ПРОЗРЕНИЕ

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Утром третьего июля профессор Дмитрий Николаевич Ярцев, ведущий офтальмолог одной из городских клиник, как обычно проводил обход больных.

Без пяти минут девять он вышел из кабинета и направился в ординаторскую. Он открыл дверь, все сразу встали, поздоровались и ждали, когда Дмитрий Николаевич скажет привычное: «Начнем». Но профессор сообщил:

— Сегодня у нас праздник...

Врачи переглянулись. Никто еще не успел спросить Дмитрия Николаевича о неведомом празднике, как в ординаторскую вошли старшая медсестра Лидия Петровна и санитарка Евдокия Ивановна.

Все называли ее «тетя Дуня». Она редко бывала в этой комнате и не понимала, зачем ее сюда пригласили. «Неужели промашку допустила?» — подумала она, смущенно глядя на профессора.

— Сегодня у Евдокии Ивановны день рождения, — прервал неловкую паузу Ярцев. — Такой у нас праздник.

— А мне и в голову не пришло... Сама забыла... — упавшим голосом промолвила Евдокия Ивановна.

В основу повести, рассказывающей о преступлении и расплате за него, положен реальный случай.

Ярцев пододвинул ей стул:

— Праздник! И вы, пожалуйста, садитесь.

Евдокия Ивановна, присев на краешек мягкого стула, стянула с головы выцветший платочек и стала приминать его концы.

— Мне очень приятно от всей души, сердечно поздравить нашу коллегу, милую тетю Дуню, — сказал Ярцев. — Без таких людей жить трудно, просто нельзя. Мы вас любим... Давайте пожелаем Евдокии Ивановне крепкого здоровья, радости и счастья. — Все дружно похлопали. — Одну минуточку. Еще не все. — Он вынул из кармана накрахмаленного халата синюю коробочку, извлек оттуда часики и надел их на худую руку Евдокии Ивановны. — Пусть время долго отсчитывает дни вашей жизни. — Ярцев обнял санитарку, поцеловал ее.

Тут же подошла Лидия Петровна с букетом цветов.

Тетя Дуня взяла большой букет, промокнула глаза уголком платочка и встала.

— Спасибо вам... Будьте все здоровы... — И смущенно добавила: — Я пойду, Дмитрий Николаевич... В двадцать шестой надо ребятишек покормить...

Профессор приветливо кивнул головой, и она вышла.

Ярцев начал обход палат. В небольшом холле приостановился и обратился к коллегам:

— Меня настораживают жалобы Дроздова на неутихающие головные боли. Вторая неделя, если мне память не изменяет. Ведь так, Сергей Васильевич?

— Восьмой день, — уточнил врач в прямоугольных очках.

— А диагноза нет, — перебил профессор. — Вы, наверное, стесняетесь пригласить консультанта? Разве это зазорно? Полагаю, опасаетесь подорвать свой авторитет... Но Дроздову, равно как и всем другим, хочется одного: чтобы им помогли... Кто это сделает — Сергей Васильевич или Ираклий Леванович, — им, страждущим, глубоко безразлично. А если боль не пройдет — тут уж всю медицину будут шерстить...

К профессору подошла Лидия Петровна, напомнила:

— В двенадцать тридцать у вас операция. Шестаков из тридцать первой ждет... Вы обещали выписать его.

Ярцев взглянул на часы. Он не любил опаздывать сам, не любил, чтобы опаздывали другие.

— Обещал, обещал... — Он улыбнулся. — А вдруг?..

— Я вам нужна?

— Неизменно и обязательно, — с веселым озорством ответил профессор. — Загляну и в тридцатую. Там я тоже обещал... Подготовьте больного к осмотру.

В тридцатую палату Лидия Петровна вошла, когда Федор Кра-

пивка, сидя на кровати, нащупывал ногой больничные шлепанцы.

— Кто? — спросил он и, услышав голос медсестры, лег обратно на скрипнувшую кровать.

— Опять лечиться будем, — раздраженно сказал Крапивка.

— Сегодня, Федор Назарович, решающий день. Если все будет благополучно, Дмитрий Николаевич разрешит вас выписать.

— А почему он сам не пришел?

— В соседней палате задержался.

Сняв повязку, Лидия Петровна промыла Крапивке глаза и отметила для себя успешный исход операции.

На соседней тумбочке лежал кем-то оставленный календарик.

Лидия Петровна дала Крапивке лупу и календарик. Он без охоты глянул на него.

— Прочтите...

— Союзпечать... 1965 год.

Вошел Ярцев. В его глазах еще лучилась радость.

— Одного сейчас выписал в лучшем виде... Честно говоря, не очень верил в успех... Тяжелый случай. Ну, здесь как дела?

— Все нормально. Отделяемого не было, — доложила Лидия Петровна.

Ярцев заметил странный взгляд Крапивки и уловил легкое дрожание рук.

— Будем смотреть... Ну, ну, не волнуйтесь.

Крапивка сел на стул, откинул голову.

Ярцев склонился и, нажав пальцем на его веко, спросил:

— Больно?

— Нет.

— Откройте глаза. Закройте. Еще раз откройте. — Он снова нажал на веко. — Больно?

— Нет.

— Что-то вы хмурый сегодня, Федор Назарович? Радоваться надо. Все хорошо.

Крапивка встал, тяжело вздохнул и молча направился к двери. Вдруг остановился. Потом, как бы преодолев оцепенение, нерешительно повернулся и шаркающими шагами, которыми ходил по земле в годы слепоты, подошел к профессору.

— Что с вами? — спросил Ярцев.

— Домой отпускаете? — произнес Крапивка.

— Да, домой.

Крапивка молчал. И только взгляд выдавал его смятение.

Ярцев подумал, что Крапивка остро переживает свое одиночество, и сейчас его охватил страх перед началом новой жизни.

— Нельзя падать духом... Вам помогут, Федор Назарович, вы

ветеран войны. Не оставят без внимания. И мы письмо напишем. Будем просить...

— Спасибо... — перебил Крапивка. — Я, конечно, благодарю за все... А вот смотрю на вас... Очень вы лицом похожи на одного человека. Ну, просто вылитый он... Вот напасть какая...

— С прозревшими это бывает, — улыбнулся Ярцев. — Один во мне родного брата признал. Помните, Лидия Петровна?

— Помню. Потом сам смеялся.

— Но я-то не ошибаюсь. Я того Проклова и слепой видел. На всю жизнь запомнил. И теперь на вас смотрю, даже страшно. Вылитый Иван Проклов.

Ярцев замер. Было почти физическое ощущение удара. На какой-то миг все окружающее как бы погасло, провалилось во тьму. Откуда-то издалека донесся голос Лидии Петровны:

— Кто же этот Иван Проклов?

— Бандит... Отца и мать моих убил...

— Ничего другого не могли придумать! — возмутилась Лидия Петровна.

— Вылитый Проклов, — зло произнес Крапивка. — А вот фамилия почему-то другая...

Кабинет Ярцева глядел большими зеркальными окнами на тихий скверик с фонтанчиком.

И всякий раз, ощутив усталость, Ярцев подходил к широкому подоконнику и, облокотившись, разглядывал скверик, где молоденькие мамы выстраивали вокруг фонтана детские коляски.

Сейчас же, почти выбежав из палаты, Ярцев бесцельно и долго плутал по длинным коридорам клиники, прежде чем пришел в просвеченный солнцем кабинет. Вопреки давней привычке он не раскрыл окно, а наглухо зашторил его. Комната погрузилась в серую темноту; померкло круглое зеркало, висевшее над умывальником, но Ярцев все-таки заметил горячечный блеск своих запавших глаз, окаймленных синеватыми полукружьями. Он сидел, прижавшись к спинке кресла, разглядывая одинокий блик, дрожавший на стене.

«Откуда он? Почему это пятно света тоже кажется страшным? — подумал Ярцев. — Неужели тем, что похоже на крест?»

Время, отсчитав долгий срок, отбросило его в прошлое. И сделало это глазами слепца Крапивки, которому он вернул зрение.

Все, что давным-давно затерялось в тайниках давних лет и,

казалось, навсегда исключало воскрешение Ивана Проклова, обернулось катастрофой для Дмитрия Ярцева.

«Что делать?.. Что делать?» — с тупой навязчивостью твердил Ярцев. Голос безответно пропадал в душной темноте кабинета, на белой двери которого висела табличка:

«Доктор медицинских наук профессор Д. Н. Ярцев».

Сколько суждено ей висеть?

Ректор института любил повторять студентам, будущим хирургам: «Мы часто говорим: человек — кузнец своего счастья. Не забывайте: он же и кузнец своего несчастья. Сотворите свою судьбу».

Спустя много лет они встретились на симпозиуме медицинских работников, и ректор не скрывал радости, говоря об успехах застенчивого студента Дмитрия Ярцева, которым теперь по праву гордится институт. Что бы он сейчас сказал?

Судьба дала Ярцеву большую отсрочку. И только сейчас — там, в тридцатой палате на четвертом этаже, — эта отсрочка была аннулирована. А ведь он верил, что она дана ему навсегда.

Ярцев вдруг вспомнил, что сегодня предстоит операция. «А если я не смогу? Даже пальцы не гнутся. Почему я должен? Нет профессора Ярцева. Слышите, нет... — Ярцев вновь увидел палату, а в ней Крапивку, услышал его слова: «Иван Проклов... Бандит... Отца и мать моих убил». — А при чем здесь Проклов? Ждут профессора Ярцева... Люди доверяют ему свои жизни. Ему... Значит, он есть. Есть. Просто я сейчас не могу, немеют руки. Не видят глаза. Слышите! Кому позвонить? Кому объяснить?» — Ярцев рванул узел галстука...

В кабинете зазвонил телефон. Ярцев не поднял трубки. Снова резанул телефонный звонок.

— Слушаю.

— Мы вас ждем, Дмитрий Николаевич, — сказала Лидия Петровна.

Ярцев молчал. Потом медленно опустил трубку.

Он опять заметил световой блик, раздраженно отвернулся от навязчивого креста.

Наконец встал, резким движением раздернул штору, нагнулся к умывальнику, ополоснул лицо холодной водой. А подняв голову, увидел в зеркале побелевшие виски.

«Так кто же ты? Проклов? Нет, черт возьми! Ты Дмитрий Ярцев. Спроси людей: кто их оперировал? Они скажут: «Ярцев!» Разве так просто зачеркнуть всю жизнь?.. Не Проклов, а Дмитрий Ярцев был землекопом в Челябинске. Это он учился на рабфаке. Это Митя Ярцев падал в обморок в анатомичке.

Ярцев делал первую полостную операцию, а потом сотни, тысячи других операций. Это Дмитрий Ярцев пошел на фронт и одолел все военные дороги... Ему уже пятьдесят три года... Много это или мало? Не знаю. Это не арифметика... Ну какой же я Проклов? О чем я?! О чем?!»

ГЛАВА ВТОРАЯ

Елена Сергеевна и Марина вышли из вагона, а он остался в коридоре и с задумчивой грустью смотрел через окно на своих женщин.

Поездка для Ярцева была неожиданной. В Челябинске тогда отмечался юбилей глазной больницы. Кто-то из местных врачей прослышал, что Ярцев когда-то работал в Челябинске, и Дмитрию Николаевичу послали приглашение.

Встречу с коллективом больницы, который собрался в актовом зале, Ярцев начал так:

— Прежде всего сердечно благодарю вас за любезное приглашение. Мне действительно пришлось в свое время работать здесь на строительстве тракторного завода. Был я тогда землекопом. Профессия была трудная, в ту пору все земляные работы велись вручную. Мозоли, правда, у меня исчезли, но сохранились добрые воспоминания о Челябинске. Теперь по существу... Два дня я имел возможность наблюдать сложные операции, выполненные на высоком уровне. Не ждите от меня оценок и поучений. Мне представляется важной для нашего общего дела заповедь: «Не заслони собой другого». Да, да... Авторитет науки нельзя подменять авторитетом того или иного работника.

Закончив беседу, ответив на вопросы, он сказал:

— А теперь я поброжу по городу...

От машины Ярцев отказался и двинулся пешком в район тракторного завода. Все было неузнаваемо. Все было ново и совсем не похоже на довоенный Челябинск, а тем паче на старую Челябу с ее мукомольнями и винокурнями.

Только земля под ногами была прежняя, та, что когда-то раскинулась целинными просторами с березовым редколесьем.

Но об этом знает лишь память. Облик той жизни можно еще увидеть на поблекших фотографиях в музеях города и завода.

И все-таки Ярцеву повезло: он нашел несколько домов старого города. На Сибирской улице он узнал двухэтажный особняк торговой фирмы братьев Якушевых, где поздней размещалась контора Челябтракторстроя. Он ни разу не был внутри помещения, но вывеску запомнил; на ней красовался трактор.

Ярцев мысленно расставлял по прежним местам приземистые бараки, баню, санитарный пункт, столовки и магазин с громким наименованием: «Универмаг Центрального рабочего кооператива». За магазином пролегала дорога к Шершневским каменным карьерам. По обе стороны тянулись землянки и убогие камышитовые хибары. Ярцев поймал себя на том, что вспоминает с таким старанием, словно должен рассказать кому-то обо всем подробно и не имеет права ошибиться.

«А где же была комендантская?» — спросил он себя и не мог ответить.

Комендантская... Комендантская... С нее все начиналось.

Сюда сводили дороги и тропки тогдашних смоленских и тамбовских, рязанских и пензенских крестьян. Шагали в одиночку и артелями. Шли землекопы и плотники, лесопильщики и коновозчики-грабари. Шли сотнями, тысячами в лаптях и зипунах. Только за один тысяча девятьсот тридцатый год на Челябтракторстрой прибыло сорок три тысячи человек.

Комендантская... Комендантская...

Многие приходили сюда с пилами, топорами, лопатами; здесь особо ценились те, у кого был собственный инструмент. Комендант бросал торопливый взгляд на прибывших. Ему казалось, что у всех одинаковые лица, бородатые, заросшие. И все ждут одного: хорошего заработка. Он привычно записывал в толстую амбарную книгу фамилию, имя и отчество, давал квиток в баню и на медицинский осмотр. Когда новичок возвращался со штампиком на квитке, этот листок становился его удостоверением. Возле комендантского столика до самого потолка высилась груда полосатых матрацев, набитых ватой и опилками.

— Выбирай, какой по душе, — зычно говорил комендант, — и валяй в барак... У тебя девятый. Занимай койку. Понял? Ты теперь рабочий класс... Следующий!

Ярцев хорошо запомнил сутулого небритого коменданта, потому что долго смотрел на него, ожидая своей участи. А когда приблизился к столику, то сразу услышал:

— Молодо-зелено... В землекопы пойдешь.

Он попал в артель тамбовского мужика с жидкой бороденкой, которую тот расчесывал сколом женского гребешка. У мужика были юркие глаза, будто хотевшие видеть все сразу, и говорил он быстро, без пауз. Оглядев парня с головы до ног, артельщик предупредил:

— Завод казенный, но артель моя. Так что не советую отбиваться от порядков. Коль работать, так лопату поглубже врезывай, а ежели в чем недовольство будет, не забывай: ты человек артельный...

Вся артель — семнадцать человек — жила вместе. В левом крыле барака было их общежитие — с узкими нарами, длинным дощатым столом, где они чаевничали, с железной печуркой, у которой сушили портянки. И без того тяжелый дух становился невыносимым, но открывать дверь, выстуживать барак артельщик не разрешал. Он часто получал письма из деревни и, прочитав, всегда скучнел, валился на койку, загадочно произносил:

— Ну и дела... Ну и дела...

Однажды пояснил:

— Спрашивает Евдокия, как быть, вступать в колхоз или дожидаться лучших дней. А кто знает? Может, ни к чему нам это, ежели у меня артель... Как полагаешь?

— Не торопись, — советовал Гаврилыч, рыжеватый рассудительный мужик, носивший старые калоши вместо лаптей. — Обмозгуй.

— Отвечать надобно, — вздыхал тамбовский артельщик и, расчесавшись, свирепо дул в сколок гребня. — Ну и дела...

— Завтра отпишешь, — гнул свое Гаврилыч. — Утро вечера мудреней.

Ярцев вспомнил: в ту ночь сосед по койке надрывно кашлял и стонал от высокого жара. Пришел доктор со слезящимися от сильного ветра глазами, прослушал больного, прописал микстуру и круговые банки. Обещал прислать медсестру. Уходя из барака, попросил Ярцева: «Ты, парень, рядом, последи, чтобы хоть поблизости не курили, больному и без того дышать тяжело».

Койка Ярцева была крайней в левом ряду, справа располагалась артель коновозчиков-грабарей. В их землячестве всегда было шумно, каждый вел себя вольготно, и никак артельщик не мог навести порядка. А нынче они опять не поладили меж собой. Белобрысый верзила по прозвищу Каланча под сильным хмельком цеплялся ко всем. Никто не мог его утихомирить. Он шастал меж коек, гнусаво распевал похабные частушки, вызывая ухмылки у мужиков.

В это время пришла ставить банки медсестра. Она скинула телогрейку, размотала платок и, надев халат, раскрыла на табуретке чемоданчик. Затем вынула банки, флакон спирта, факелок и спички. Ловко все получалось у нее. Синим пламенем вспыхнул спирт. Она подносила факелок к горлу банки и тут же прикладывала ее к костлявой спине больного. Чмок — и банка прилипала, втягивая бледную кожу. Когда медсестра отвернулась, Каланча схватил флакон со спиртом.

— Что вы делаете? Поставьте на место! — крикнула она.

Каланча повел осоловелыми глазами, промычал:

— Мое... — Он вытащил пробку, но никак не мог поднести флакон ко рту.

— Заберите у него спирт! — умоляюще просила медсестра, оглядываясь по сторонам. — Заберите!

Никто не сделал шага. И тогда она сама ринулась к нему. Но не успела. Каланча пихнул ее ногой. Она упала на грязный пол возле койки, где сидел Ярцев.

— Доктор! Доктор! Ну, что же вы!.. — жалобно стонал больной.

С посеревшим от боли и злости лицом медсестра поднялась, руки ее дрожали. Она посмотрела на погасший факелок.

— Что я теперь сделаю? Что?! — Она встретила взгляд Ярцева. — У него воспаление легких! А если он умрет?! Он может умереть! Ты слышишь?! — Она разрыдалась.

Еще ни разу с такой ясностью не вспоминалась эта история. В какое-то мгновение Ярцев даже услышал голос медсестры, презрительный, гневный, осуждающий голос...

Прошло больше тридцати лет, а он все слышен.

В киоске у гостиницы Ярцев купил газету и поднялся на свой этаж.

Он принял душ и уселся с газетой в кресло. Ярцев любил тишину: думалось легче, и время текло медленней. А может, жизнь, проведенная в операционных, приучила к тишине, у которой своя тональность, такая знакомая и такая одинаковая. Только оттенки ее предвидеть никто не мог. Они возникали по ходу операции — от резкого возгласа до мертвой паузы.

Вечером раздался негромкий стук в дверь.

— Да, — отозвался Ярцев.

В комнату вошли женщина и мужчина, поздоровались. Остановившись у двери, они всматривались в лицо Ярцева, как бы сверяясь: не ошибка ли?

— Ярцев Дмитрий Николаевич? — уточнил мужчина.

— Да.

— Кравцов Родион Николаевич, — представился посетитель и слегка поклонился.

— Очень приятно.

— Моя жена... Зоя Викторовна. — Женщине на вид было под пятьдесят.

— Проходите, присаживайтесь, — предложил Ярцев, не понимая, что могло привести к нему этих незнакомых людей.

— Возможно, мы что-то перепутали, — с откровенностью бывалого человека начал Кравцов. — Вы извините... Прочли в газете о вашем приезде. А сегодня по радио слыхали ваше инте-

рвью... Вы заявили, что в тридцатые годы работали на стройке тракторного?..

— Землекопом, — вставила Кравцова и улыбнулась.

— Мы тоже в то время работали на стройке, — продолжал Кравцов. — И был там один парень по фамилии, кажется, Ярцев, а звали Митька... И вот мы подумали, может, вы и есть тот самый парень? Я ему очень обязан. — И с надеждой спросил, поглаживая голову: — Вы меня не помните?

Ярцев пожал плечами.

— Ну, понятно, малость полысел, усы отпустил... И седина пробилась, — усмехнулся Кравцов.

В наступившем молчании они разглядывали друг друга.

— Нет, — сказал Ярцев. — Не помню. — Ему было неловко перед ними. Он походил по комнате и, остановившись возле Кравцова, сказал: — Давайте попробуем по принципу «горячо» или «холодно». Глядишь, найдем что-нибудь.

— Вы жили в бараке или землянке? — начал Кравцов.

— В бараке.

— В пятом? — Кравцов застыл в ожидании.

— Да.

— Прекрасно! — обрадовался Кравцов. — Там проживали две артели: землекопы и коновозчики-грабари.

— Правильно. Я был у землекопов.

— Ваш артельщик... кажется, Мухин.

— Нет, другой.

— Махалкин... Макарцев... — вспоминал Кравцов.

— Мухоркин, — вырвалось у Ярцева. — Горячо?

— Он! Точно, Мухоркин!.. А помните, у вас однажды драка была?

— Погоди, Родион, — остановила жена. — Если про драки, то весь вечер потратим. Сколько их было!

— Тогда не просто драка началась. То вражья сила голову подняла. — Кравцов посмотрел в окно, где желтели, золотились вечерние огни. — Этот случай не помните? — обернувшись, спросил он.

— Когда склад горел и новый жилой дом?

— О другой драке речь. Меня били. Смертным боем.

— Принесли в санпункт, весь в крови, я глянула и решила: «Не жилец», — вставила жена.

Ярцев ждал, когда же Кравцов опять заговорит о Митьке Ярцеве, но тот почему-то все оттягивал, поглядывая на жену. А самому Ярцеву вспоминались только пьяница Каланча и печальная молоденькая медсестра.

Кравцова неожиданно поднялась, подошла к Ярцеву. В ее глазах блестели слезинки.

— Вы узнали меня? — спросила она.

— Нет... — Ярцев покачал головой.

— Это была я. Медсестру помните? Никогда не думала, что встретимся. Я тогда возненавидела вас. Никто не заступился. Вы помните?

— Помню.

Минутное молчание воцарилось в комнате.

Чтобы преодолеть неловкость, Ярцев обратился к Кравцову:

— Вы сказали, что тому парню... Митьке Ярцеву вы чем-то обязаны... Что же произошло? Расскажите.

— Хорошо, — согласился Кравцов. — Постараюсь поподробней. Я тогда был секретарем партячейки третьего участка. Сами знаете, в первое время трудности быта осложняли работу, вызывали недовольство. В первую очередь у сезонников. Вы помните, работали у нас всякие люди — и раскулаченные элементы, и уголовники, и артельные шабашники. За одно лето состав строителей сменился четырежды. И любой наш промах мог дать повод для провокации. В тот день из-за промашки заведующего в столовой не хватило обедов. И хулиганы стали бить посуду, орали: «Бросай работу! Нас обманывают!» Когда я и Лещев — он был председателем постройкома участка — прибежали в барак, то сразу слышим: «Бей их!» Я кричу: «Тихо! Сейчас обо всем поговорим!..» В ответ пьяная ругань... «Расценки не подымете — уйдем! Все артели уйдут!» И опять кто-то заорал: «Хватит митингов, бей их!» Гляжу — схватились за поленья. Какой-то пьяный бородач командует: «Ату их!» Сзади ударили, кто-то навалился на меня. Лещеву удалось вырваться, он побежал за помощью. Меня стали бить... Сколько прошло времени, не помню. Но вдруг слышу крик: «Стойте, сволочи! Не троньте его! Стойте! Иначе сожгу! Всех сожгу!» Уже потом, в больнице, я узнал подробности. Какой-то парень из землекопов схватил бидончик с бензином — бидончик всегда был возле печки для растопки сырых дров, — и облил бородача. Зажег коробок спичек и приказал: «Отпусти его! А то спалю!» Бородач отпрянул. Парень поднял меня и вытащил на улицу. К нам уже бежали люди. Вот этот парень и был Митька... Кажется, по фамилии Ярцев.

— Нет, — сказал Ярцев. — Простите, не припоминаю... А может, был другой Митька и тоже Ярцев?

— В одном бараке-то? Да вы бы знали, что есть однофамилец. Я потом заходил, расспрашивал. Но парня того не застал. Куда-

то он перешел на новое место. Смотрю сейчас на вас — вроде тот самый...

— И я так думаю. Даже уверена, — запальчиво сказала Зоя Викторовна. — Просто сопоставьте факты... И вы все поймете. — Глаза ее блеснули. — Дмитрий Николаевич! Вы же сами вспомнили нашу стычку. Это произошло в пятом бараке. Я тогда не знала ни вашей фамилии, ни имени. Для меня существовал официальный для того времени адрес — пятый барак. Так и значилось в журнале регистрации вызовов. Через полгода, когда там же избили Родиона Николаевича, я хорошо помню, стала называть этот пятый проклятым. Это факт, а не догадка.

— Я понимаю... Но согласитесь, мне вроде бы отказываться ни к чему... Только я действительно не могу вспомнить, — сказал Ярцев.

— А вы знаете, как бывает в жизни? Вроде бы провал, а утром или через день, в автобусе или в лифте все ясно вспомнишь.

Супруги Кравцовы переглянулись.

— Извините за вторжение, — сказала Зоя Викторовна.

— Вот уж не представлял, что возможна такая встреча... Мне было очень приятно. Спасибо. Приедете в Москву, дайте знать о себе. — Ярцев протянул Кравцову визитную карточку. — Буду рад.

Родион Николаевич все еще с надеждой всматривался в лицо Ярцева. Вероятно, ему очень хотелось, чтобы его спасителем был именно Дмитрий Николаевич. И, прощаясь, он сказал:

— Удивительно, как жизнь тасует людей. Встречи, разлуки, снова встречи, потери, расставания. И вдруг видишь, как прошлое вступает в сегодняшний день... Всего вам доброго.

Когда Кравцовы ушли, Ярцев опустился в кресло и долго смотрел на дверь, словно ждал их возвращения. «Кто они теперь? Почему я не спросил?»

Его раздумья прервал телефонный звонок.

— Слушаю... Нет, не сплю, Сергей Сергеевич.

В трубке звучал голос главного врача глазной больницы.

— Завтра в девять утра операция, о которой мы говорили. Если не заняты — приезжайте. Мне звонил ректор университета Родион Николаевич Кравцов, спрашивал, в какой гостинице вы остановились. Хотел вас навестить...

— Супруги Кравцовы недавно ушли от меня... — ответил Ярцев.

* * *

До встречи Ярцева с Крапивкой оставалось два года.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ярцев погасил папиросу и закрыл глаза. Еще давно, в институте, профессор призывал студентов: «Когда слушаете больного, закрывайте глаза, чтобы лучше слышать... Наверное, заметили, так поступают музыканты». Обдумывая прожитое, он с болезненным пристрастием искал родное, ярцевское, словно отстаивая шаги трудного восхождения.

Припомнился шалый весенний дождик. Он сыпал на землю, стучался в оконные стекла. Лужи то вскипали водяными пузырьками, то покрывались мелкой рябью. Весна выдалась ранняя, сумбурная. Еще неделю назад метелица гуляла в последнем отзимке, а на другой день выглянуло солнышко, и повсюду простенькими нотами зачастила капель. Снег обмяк. А сегодня с утра зарядил дождь. Бродит по Москве, поливает прохожих — на счастье, заглядывает в окна — внимания просит.

Но Ярцев ничего не замечал.

Настольная лампа под зеленым абажуром освещала узкое лицо профессора, его короткую старомодную стрижку. Карие глаза под густыми бровями оторвались от книги и остановились на старинных напольных часах. Они устало пробили одиннадцать.

Отложив книгу, Ярцев попытался понять, отчего возникло тревожное беспокойство. Никаких видимых причин не было. Возможно, взволновала книга Льва Толстого «Путь жизни».

Открылась дверь, и вошла дочь. Она никогда не стучала, прежде чем войти. Однажды мать спросила, почему Марина так поступает. И Марина с категоричностью старшеклассницы ответила: «Нельзя квартиру превращать в учреждение».

— Тебе телеграмма, папа, — сказала Марина. — Из Киева.

Он поблагодарил, взял телеграмму.

— Что ты читал? — спросила Марина. Посмотрев книгу, сказала: — Я возьму. Интересно?

Они нередко читали с дочерью одни и те же книги. Он кивнул, подошел к столу.

— Что в школе?

— Учимся... Но мне кажется, ты хочешь спросить о Максиме. Я не ошиблась?

— Вы не поссорились?

— Подозреваю, он тебе нравится, — усмехнулась Марина. В ее голосе послышались какие-то новые интонации. Кокетливые, что ли... — Ходили в кино. Потом провожались. — Она чмокнула отца в щеку, вскочила с дивана и уже в дверях, прижав голову к косяку, добавила: — Мне он тоже нравится. Спокойной ночи. Допоздна не работай, слышишь?

Ярцев прочел телеграмму:

«Приглашаю к телевизору в субботу вечером. Во втором акте я вам подмигну. Целую ваши золотые руки. Мещерин».

Так мог написать только Константин Михайлович.

«Вот как все получилось. — Ярцев повеселел. — А тогда тянул дрожащую руку, слезно причитал: «Помогите другу Василия Качалова слепенькому актеру Мещерину...»

Много историй поведал Константин Михайлович профессору, пока лечился у него. Ярцев любил поближе сойтись с людьми, которых лечил, старался вникнуть в их человеческую суть.

Случилось с артистом, казалось, непоправимое. Однажды во время спектакля Мещерин спускался по декорационной лестнице и внезапно рухнул вниз на сцену.

— Почему вырубили свет?! — кричал он. — Включите!

Дали занавес. А зрители поначалу ничего не поняли, никто даже не встал с места. Да и кто мог подумать, что упавший актер мгновенно ослеп?

Как-то Константин Михайлович задержал профессора в палате неожиданной просьбой:

— Можно, я сыграю сцену из «Живого трупа»?

— Вам нельзя напрягаться.

— Что вы! Прошу вас... Не уходите. Я не могу без зрителей...

И Ярцев стал свидетелем чуда: почти мгновенно Мещерин превратился в Федора Протасова. В лице Мещерина с застывшим взглядом слились воедино страдания и боль. Руки судорожно шарили в карманах распахнувшегося халата. Потом, приставив к сердцу вместо пистолета чайную ложечку, артист вздрогнул и повалился на кровать... «Что ты сделал, Федя? Зачем?» — воскликнул он за Лизу и прошептал: «Прости меня, что не мог... иначе распутать тебя... Мне этак лучше. Ведь я уже давно... готов».

Он заплакал. И вместо реплики: «Как хорошо. Как хорошо» — молитвенно произнес:

— Дмитрий Николаевич, если бы вы знали, как хочется жить, видеть...

В тот день Ярцев не мог ему ничего обещать. Только через три месяца в глаза Мещерина прорвался свет.

— Вы не поверите, Дмитрий Николаевич! Я вижу! Прекрасно вижу...

— И что же вы видите?

Мещерин вдруг опустился на колени:

— Вас, дорогой кудесник!..

Смущенный, он помог ему подняться, спросил нарочито рассерженно:

— Сосчитать мои пальцы сможете? Сколько их?

— Два.

— А сейчас?

— Пять, — ответил Мещерин. — И все пять бесценные! Они вернули мне Отелло и Протасова.

— Не забуду, как вы чайной ложечкой стрелялись вот на этом коврике, — сказал Ярцев.

* * *

До встречи Ярцева с Крапивкой оставалось шестьдесят два дня.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Закончив оперировать дочку бакенщика Хромова, Ярцев спустился в приемное отделение, там с утра мучился в тревоге и ожидании ее отец. Увидев Ярцева, он вздрогнул. Ему почудилось, что приход профессора связан с дурной вестью, иначе пришла бы дежурная сестра.

Но Хромов услышал уверенное и доброе:

— Все хорошо.

Хромов закивал головой, в горле у него заклокотало и, оробев, он не смог поблагодарить, а только глухо выдохнул:

— Радость-то какая, господи!..

Ярцев сел рядом и стал успокаивать его, понимая, что сомнение и страх еще гнездятся в отцовском сердце.

— Не зря все твердили: Ярцев, Ярцев... Чем же мне одарить вас?

— Да вы что?! И не стыдно? — рассердился Ярцев.

Но Хромов, не слушая его, пообещал:

— Я вам речку подарю. Вот! Приезжайте, гляньте на подарок!

С той поры Хромов стал называть свой линейный участок — Светлое. Мало-помалу прижилось это название и в округе.

...Наконец-то машина вырвалась за кольцо Окружной дороги. Стрелка спидометра, долго скучавшая в зоне малой скорости, резко двинулась вправо, скоро юркий «Москвич» окажется на берегу реки, где царит хруст льда, подхваченного половодьем.

К полудню апрельское солнце стало пригревать. И все вокруг обрело яркие, звонкие тона: и голубой, почти осязаемо струившийся воздух, и словно бы побеленные стволы березняка, и золотисто-рыжие стожки прошлогодней соломы.

Ярцев свернул на обочину, остановил машину.

Справа от шоссе вешняя вода высоко залила крутой склон,

поросший кустарником. Ледяное крошево, шурша, кружилось меж затопленных ветвей. Он был рад встрече с этим весенним многоцветьем, он предвкушал отдых в светелке, где днем распахнуто окно, а вечером мгновенно, разом набегает сон, один час которого дороже целой ночи в городе...

Ярцев неторопливо ехал по лесной дороге. Он опустил боковые стекла и вдыхал пахнущий мокрой землей воздух. Лес встречал гостя нескончаемым праздничным хороводом деревьев.

Хромов обрадовался приезду Ярцева.

Позавчера, отправляя из райцентра телеграмму, он написал: «Ледоход в разгаре. Не прозевайте». И хотя Хромов не был уверен, что дела позволят профессору приехать, он все же сходил в сельмаг и купил бутылку шампанского, что завезли еще к Новому году, буханку ноздреватого и пахучего хлеба, который гость предпочитал пирогам и ел, запивая холодным молоком. Целую крынку выпивал. Продавщица сразу догадалась, кого ждет Хромов, и с хлопотливым интересом спросила:

— Водку пить твой профессор не научился?

— Ты зубы не скаль, граммофон с языком.

Хромов вышел, хлопнув дверью.

За обедом, что сготовил хозяин, говорили о житье-бытье, но Хромов больше рассказывал про дочь Аленку. Нынешним летом она закончит институт и поедет учительствовать на Дальний Восток.

— Распределили?

— Сама напросилась. Есть у нее моряк-пограничник. К нему решила податься.

— А вам бы хотелось, чтоб здесь была, рядом с папашей?

Хромов вздохнул:

— Сами знаете, настрадалась она. Не хочу теперь приневоливать. А вот Глаша не отпустила бы... — Он смолк, притих, словно пожалел, что вырвались слова о жене.

Спать легли рано. Ночью Ярцеву снился сон: собирал он грибы, белые, боровички, всем грибам полковники. Набрал полные ведра, а вокруг грибов — тьма тьмущая, хоть коси, только класть некуда. Кричит он, зовет Хромова, а того нет — пропал. Один-одинешенек Ярцев в лесу.

Утром за завтраком профессор сказал:

— Сон привиделся мне: грибы собирал. Это что, к болезни?

— К дороге.

— Значит, пора...

Хромов прищурил глаз, ухмыльнулся.

— В бога вы не верите, — сказал он. — Не положено учено-

му человеку. А сны признаете. В который раз про них спрашиваете. Это как понимать, Дмитрий Николаевич?

— Очень просто, Афанасий Мироныч: много еще неизвестного, неразгаданного. А знать-то хочется все. Есть такая жадность...

— Есть, — охотно согласился бакенщик.

* * *

До встречи Ярцева с Крапивкой оставалось четыре года.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В небольшой прихожей квартиры Ярцевых стоит на треноге полукруглая плетеная корзина, почти доверху заполненная поздравительными открытками. Теперь уже трудно вспомнить, кто предложил собирать их, чтобы потом, спустя десять-пятнадцать лет, совершать путешествие во времени, перечитывая послания, отмеченные вехами знаменательных дат. Только все помнят, что открытки начали класть в корзину, когда Маринке исполнилось три годика. Теперь ей семнадцать.

Миновал намеченный срок, и пора бы обозреть почту, как когда-то замыслили, но никто не отважился на хлопотное дело. Тем более что подошли праздничные майские дни — придет много поздравлений, — решили читку отложить до осени. Два раза в день бабушка опустошала почтовый ящик, затем стопкой складывала корреспонденцию на столе Дмитрия Николаевича. Писали друзья, коллеги, однополчане и многие бывшие пациенты. Некоторые письма подолгу задерживались в руках Ярцева. Он зачитывал их вслух...

— Лена! Сердечно поздравляет Леонид Алексеевич Скворцов. И опять спрашивает: ты все такая же красивая? Что ответим? Такая же?

Елена Сергеевна улыбнулась.

— Надо ответить Скворцовым телеграммой.

— С подписью: прекрасная Елена. Я за!.. А вот послание от твоего вечного поклонника Вадима Дорошина. Каллиграфическим почерком свидетельствует свое уважение и шлет наилучшие пожелания.

Утром девятого мая Марина проснулась раньше всех и умчалась раздобывать цветы. Ей повезло: купила отменный букет гвоздик. Марина вручила цветы отцу и ровно двадцать раз — была двадцатая годовщина Дня Победы — поцеловала его. А потом сказала:

— Я хочу пожелать, чтобы та война была последней.

— Я тоже хотел бы.

— А шампанское по этому поводу откроют?

— Шампанское утром не пьют, — напомнила Елена Сергеевна.

— Мы этого не проходили, мама!

Пришла в праздничной вязаной кофте бабушка, и семейное застолье началось с шумного выхлопа пробки. Шампанское позолотило высокие бокалы.

Вскоре телефонный звонок отвлек Ярцева. Добрых десять минут он выслушивал поздравительную тираду Вадима Дорошина. Можно было подумать, что на фронте был Ярцев не врачом, а боевым генералом.

— Остановись, Вадим, хватит, — сказал Ярцев. — Не забывай, я плохо переношу эпитеты...

— От этого не умирают... Позволь твоему верному другу выразить свои чувства. Постарайся стать академиком. Вполне заслужил. Мы с Валентиной ждем вас к обеду.

— Слушай, не получится.

— Никаких отговорок!

— Сегодня в больнице встреча. Мне надо быть.

— Тогда приезжайте вечером.

— Ладно, созвонимся.

Ярцев положил трубку:

— После разговора с Вадимом начинаешь чувствовать себя по меньшей мере Наполеоном.

— Господи! — воскликнула Елена Сергеевна. — Столько лет его знаешь и все привыкнуть не можешь.

— Не могу...

— А Дорошин воевал? — спросила Марина.

— Нет. Он всю войну проработал в госпитале. В Томске.

— Значит, далековато от фронта. Там могли работать женщины, пожилые люди... Я знаю, ты очень любишь Дорошина. Поэтому защищаешь?.. Ты не сердись, папка... Ты ведь тоже мог остаться в тылу! Не остался же!

— Марина, оставь отца в покое! — вмешалась мать. — Праздник, а ты затеяла дискуссию!

— Все правильно, Леночка. Вопрос поставлен, надо отвечать, — спокойно заметил Ярцев. — По-разному складываются судьбы людей. Война застала Вадима в районной больнице. Двух врачей, работавших там, мобилизовали в армию. Вот он и остался единственным специалистом. Потом больница стала госпиталем. А это неотделимая часть фронта. Вадим награжден орденом, медалями...

Марина задумалась. Вероятно, чего-то она не понимала в той

жизненной правде, которая была ясна отцу. И Марина не удержалась:

— И все-таки для меня фронт — это... Как бы поточнее выразиться?.. Это не место службы. А нечто большее... Человеческий долг. Пойми меня правильно... Останин — журналист. У него была бронь, а он поехал на фронт. Значит, сделал выбор другой, чем Дорошин. — Она посмотрела на часы, отставила стул. — Я пошла...

— Куда? — спросила Елена Сергеевна.

— Праздник. Имею я право поздравить других мужчин?.. Пока. — И убежала.

Тотчас раздался междугородный звонок. В трубке звучал голос Останина: «Поздравляю. Желаю. Всегда с вами». Вот так все праздники он приветствовал друга. Оказывается, звонит из Норильска. Что его занесло туда? Неугомонная судьба журналиста?

— Спасибо, Николай! И тебя поздравляем...

Днем в актовом зале клиники Ярцев появился при орденах и медалях.

Возле председателя месткома Шершавиной, суетливой и озабоченной, щебетали самые хорошенькие молодые медсестры, специально отобранные ею, чтобы вручать цветы фронтовикам. Ярцев еще издали заметил, как Шершавина, взяв со стола букетик, передала его одной из медсестер и показала глазами на Ярцева.

Из всех праздников для Дмитрия Николаевича День Победы был самым дорогим. В этот день ему всегда хотелось побыть в одиночестве, вспомнить о пережитом на войне.

Выйдя из зала после официальной части, Ярцев встретил хирурга Фомина, раскрасневшегося, с влажными глазами.

— Дмитрий! — воскликнул врач, обнимая Ярцева. — Светлая моя голова, поздравляю. И не сердись, голубь. Ну, помянул друзей, помянул! Не могу!.. Было нас сто двенадцать. А по мосту прошли только семеро. Я седьмой. Давай помянем тех, кто не прошел...

По дороге домой у Ярцева не выходили из головы слова Фомина. Ему чудились звуки разрывов, а потом в наступившей тишине издали гулко донеслись шаги семерых солдат...

Уже кончился парад в честь двадцатилетия Победы. На улицах, прилегающих к Большому театру и площади Свердлова, собралось множество фронтовиков, пришедших на встречу с однополчанами.

По Садовому кольцу двигались орудия. Артиллеристы готовились к юбилейному салюту.

На уличных эстрадах звучала музыка, кружились пары, кто-то смеялся, а кто-то плакал, не скрывая слез...

Марина с Максимом выбежали из толпы на площади.

— Хватит! — взмолилась она. — Три часа на ногах, устала.

В небольшом кафе они сели за столик, покрытый пластиком. Из дальнего угла доносилась магнитофонная музыка.

Максим, откинувшись на спинку стула, сидел молча, уставясь на Марину. Наконец признался:

— Знаешь, при тебе я все время улыбаюсь... Со стороны, верно, выгляжу дурак дураком. Отец говорит: «Ты взрослый парень, а физиономия у тебя первоклассника. Надо быть серьезней».

— Конечно, надо.

— Постное лицо тоже еще не свидетельство ума.

— Это уже тема для реферата. И для поэмы. Ты не пишешь стихи?

— Зачем? — пожал плечами Максим. — Отлично сознаю, что бездарен. Вряд ли когда-нибудь сочиню: «Ты так светла, как снег невинный. Ты так бела, как дальний храм...»

— Что это?

— Блок. Вот он бы сумел написать, что во всей Москве нет такой девчонки, как ты...

— Да неужели?

— Лично я убежден.

— Поклянись!

— Это такая же аксиома, как та, что Земля вертится! — Максим поднял руку. — Клянусь!

— Тебе не кажется, что ты торопишься? Со всякими признаниями?

— Я чем-то оскорбил тебя?

— Ни капельки...

— Я для тебя просто друг?

— Пока друг. Самый лучший. Разве этого мало?

Максим разминал ложечкой мороженое и смотрел, как оно таяло. В душе его возникало чувство неожиданной потери, чего-то исчезающего, как этот шоколадный шарик.

— Ну вот ты и обиделся, — усмехнулась Марина.

— Просто осмысливаю услышанное.

— Я и сама себя не понимаю!..

Они вышли из кафе. Максим вдруг стал рассказывать какую-то морскую историю про легендарный корабль «Ташкент» и его командира.

Они подошли к Большому театру и увидели у колонны девушку в темной шали. У нее были страдающие глаза. Она держала в руках фотографию молоденького лейтенанта и время от времени спрашивала у проходивших фронтовиков:

— Может, вы знали его? Это мой отец.

Люди молча вглядывались в лицо лейтенанта и уходили. Высокий полковник-артиллерист с обожженным лицом протянул девушке букетик подснежников.

У Каменного моста Марина остановилась.

— Отец рассказывал: наши отбили у немцев деревню. Все разрушено, уничтожено... И вдруг отец видит: лежат обломанные ветви яблонь, а на них — молодые листья, цветы белые...

И тут сзади послышался чей-то голос:

— Помогите, товарищи... Кто-нибудь!

Марина оглянулась. Человек в солдатской гимнастерке с медалями растерянно топтался на месте.

— Кто-нибудь есть? — повторил он.

— Слепой, — шепнул Максим.

Они подбежали. Оказывается, человек уронил палку и не мог найти ее. Палка скатилась с тротуара на мостовую.

Марина взяла слепого за руку и почему-то громко спросила:

— Вам куда?

Прохожий ответил:

— Слышу я хорошо. А вот не вижу ничегошеньки, дочка.

Максим поднял палку — старую, вырезанную из можжевельника.

— Спасибо, — сказал слепой. У него было худое скуластое лицо и безжизненные, мертвые, остановившиеся глаза.

— Куда? — спросила Марина.

Прохожий пожал плечами.

— Попал в историю — хоть стой, хоть падай, — произнес он и на ощупь достал из кармана телеграмму.

Они прочли текст.

В Москву, на Праздник Победы солдата Федора Крапивку пригласил его бывший комбат Лучко. Он прислал пятьдесят рублей на дорогу и обещал, что будет встречать Крапивку у вагона. И не встретил. Крапивка коротко рассказал, что в сорок четвертом после тяжелого ранения и долгих госпитальных дней его комиссовали. Ни отца, ни матери в живых у него не осталось, определили его в инвалидный дом. Несколько раз он пытался найти Лучко, но безуспешно. А совсем недавно комбат сам объявился. Прислал письмо, а потом и деньги. Не забыл, выходит.

Но произошло необъяснимое: почему-то не встретил Крапивку. Целый час отстоял Крапивка на платформе. Все ждал: мало ли чего в жизни случается. Да так и не дождался. Подошел к нему носильщик, посочувствовал, спросил:

— Где комбат живет, знаешь?

— Так вот он, адрес-то. — Крапивка показал листок.

— Такой праздник, а ты неустроенный, — вздохнул носильщик. — Ерунда получается. Давай провожу тебя. Такси возьмем.

Когда подъехали к дому, носильщик сказал:

— Ты посиди, я его вызову.

В квартире Лучко никто не ответил.

Старушка соседка сообщила, что живет он один, человек пристойный. Если пригласил — надо ждать, объявится.

Носильщик уехал, оставив Крапивку в старом кресле у лифта.

Полдня прошло. Измученный ожиданием, он решил вернуться на вокзал. На улице оступился, палка укатилась на мостовую.

— Нужно вас устроить в гостиницу, — предложила Марина.

— Лучше я уеду, — без особой уверенности произнес Крапивка. — Видать, не гостить мне в Москве.

— Придет комбат, — заверил Максим. — Глупо вам уезжать не повидавшись.

Они объездили несколько гостиниц, но мест нигде не было. «Праздник... Поток гостей», — виновато оправдывался Максим.

Крапивка устало напомнил:

— Говорил я, лучше б уехать. А теперь и поезд тю-тю...

Несколько минут прошли в молчании. Потом Марина сказала:

— Надо позвонить отцу. Может, у него есть знакомые деятели? Как считаешь, Максим?

— Одобряю...

Марина вошла в будку, позвонила домой. К телефону подошел Ярцев. Она торопливо, волнуясь, рассказала о происшедшем.

— Помоги, папка... Потревожь своих знакомых...

— Да нет у меня знакомых в этом хозяйстве... — подумав, ответил Ярцев. — Директора универмага оперировал... А здесь — никого.

— Как же нам поступить? Жалко человека... Нельзя ж его бросить. Ты слышишь?

— Слышу... Думаю...

— Жду!

— Поступим так... Я позвоню в приемный покой. Скажу, чтобы приняли. Только вы сами его отвезите в клинику... Поняла?

— Еще бы! Спасибо, папка!..

Все завершилось удачей. Крапивку определили в клинику.

Медсестра привела Крапивку в душ. Здесь держался слабый запах хлорки.

— Ну, папаша, ополоснитесь. А потом поужинаете.

— Спасибо, сестрица.

Стоя под шумящими струями, Крапивка поднял руки и потрогал ладонями мокрые кафельные стены. Тревога, бродившая в нем недавно, оставила его. Крапивка намылил голову и выронил скользкий кусок мыла. Случайно наступив на него, чуть не упал.

— Вы что там, танцуете? — спросила медсестра.

— От радости, — ответил Крапивка.

Медсестра помогла ему обтереться полотенцем и натянуть хрусткое от крахмала белье. Крапивка ощутил смущение и благодарность. Он давно не помнил прикосновения женских рук.

Медсестра привела его в изолятор. Усадила на койку.

— Располагайтесь. После ужина будете слушать салют. Я включу радио. Хотите?

— Это хорошо, — ответил Крапивка и, притихнув, вздохнул.

Дверь за медсестрой закрылась. Снова почему-то вернулось тоскливое настроение. Крапивка подумал, что у него могла быть такая дочка, как эта медсестра. Но нету дочки. Никого нет. А жить-то осталось не так уж и много.

После ужина, в девять часов, он стоял у окна и слушал артиллерийские залпы. Выстрелы глухо сотрясали стекла. Крапивка нашарил ручку форточки и открыл ее. Теперь он отчетливей улавливал праздничный салют, представлял себе небо, расцвеченное искрящимися огнями, которые он никогда не видел.

* * *

До встречи Ярцева с Крапивкой оставалось четырнадцать часов.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Утром в клинику первой приходит тетя Дуня. Девятнадцать лет кряду хозяйничает она на этаже, где чистоту можно проверять белым платочком. И не зря моряк-острослов, выписываясь из клиники, назвал тетю Дуню впередсмотрящей. Для больных она еще и поводырь. Наверное, только в отделе кадров знают ее фамилию. А так все зовут по-домашнему, по имени. Она вошла в изолятор и увидела Крапивку.

— Здравствуй, новобранец... Кто ж ты такой будешь?

Он повернул голову на звук ее голоса.

— Федор Крапивка. Здравствуйте.

— Слыхала я, будто ты знакомец профессора Ярцева?

— Да нет. Я сам по себе.

— А почему его дочка тебя привела?

— Так уж случилось, — без охоты ответил Крапивка. Он рассказал про неудачную поездку к комбату и хмуро объявил: — Сегодня двину обратно...

— Ты не самоуправствуй, посоветуйся с профессором по-хорошему, — поучала тетя Дуня. — Считай, повезло тебе, что попал к нам. Счастье тебе привалило, а ты его сгоряча упустишь.

— Не к вам ехал, к комбату.

— Ты, орелик, так рассуди... Твой комбат небось телеграмму не получил. Или с дружками водку пьет, будь она неладна...

В час обхода в палату пришел профессор Ярцев.

— Я домой поеду!.. — сразу заявил Крапивка.

— Что так? Не понравилось у нас? — спросил Ярцев.

— Чего без толку время терять?.. Все одно не поможете, так лучше не расстраиваться, не горевать...

— Давно не видите?

— С сорок четвертого. После ранения. Надоело по госпиталям валяться.

— Делать операцию предлагали?

— Один раз было. А потом отказались. И больше не предлагали.

— Советую не спешить. Обследуем вас, тогда все решим.

— Устал я... — признался Крапивка. — Пустой, видать, жребий.

— И у судьбы бывают неожиданные повороты. Заранее не падайте духом. Вы попали в хорошую клинику.

— Койка другая, болячка все та же, — вздохнул Крапивка. — Уеду.

Поначалу это просто был пациент. Один из сотен, из тысяч таких же несчастных, которым надо было помочь. Ярцев, глядя на сумрачное лицо Крапивки, хорошо понимал причину его недоверия.

— Столько лет прошло, — сказал Крапивка. — Опять напрасно мучиться? — Он безнадежно махнул рукой.

— Видите ли, Федор Назарович, медицина за эти годы основательно шагнула вперед. — Ярцев мог бы рассказать о новейших методах хирургического вмешательства при различных поражениях глаз. Но не стал. Словами не убедишь. Да и рано

что-то обещать. — Давайте проведем обследование, — заключил он.

И Крапивка неожиданно согласился.

Через два дня Ярцев сообщил ему результаты обследования и предложил остаться в клинике для операции. Правда, операция требуется двухэтапная: вначале убрать травматическую катаракту, а уж потом ликвидировать отслойку сетчатки.

— Вот так, Федор Назарович. Случай не безнадежный. Решайте. Кем вы были на фронте?

— Связистом.

— Человек вы бывалый. Сумеете перетерпеть. Первая операция под местным наркозом. И длится она недолго.

— А вторая? — спросил Крапивка.

— Через месяц-другой выполним вторую. И на этом все...

— Чего теперь скажешь? Авось хуже не будет.

...За дверью, над которой светилось табло: «Тихо. Идет операция», стояла напряженная тишина.

Что ни говори, а при слове «операция» человеку всегда не по себе. И подсознательный страх вступает в спор с рассудком, и не убеждают доводы, что действия хирургов основаны на точном решении. Но хирурги не боги. Хотя порой могут то, что богам не снилось. Учитель Ярцева, покойный профессор Русаков, ударом скальпеля рассекал семь марлевых салфеток, лежавших на бумажном листе. И скальпель не касался бумаги.

Многое унаследовал от учителя Ярцев. И сейчас он был спокоен и уверен.

Ассистенты и операционная сестра Лидия Петровна закончили приготовления. Ярцев уселся в кресло, положил руки на подлокотники. Лидия Петровна выдвинула штатив с микроскопом. Прильнув к окуляру, Ярцев увидел резко увеличенные глаза Крапивки.

Над операционным столом висела полусфера люстры. Ее ровный бестеневой свет делал лицо Крапивки бледным, почти безжизненным.

На круглых часах неутомимо двигалась синяя секундная стрелка, словно свидетельствовала: все в порядке.

Ярцев провел множество операций, и каждая требовала виртуозной пластики — чтобы коснуться скальпелем в нужной микроточке. Только подлокотники, если бы могли чувствовать, знали, какое напряжение испытывают руки Ярцева. Закончив операцию, он медленно, оцепенело откидывается к спинке кресла и сидит, закрыв глаза, пока не расслабится.

Когда Крапивке сняли повязку, чтобы закапать лекарство, он увидел чье-то изображение и закричал: «Вижу!»

— Это только начало. Первый проблеск, — улыбнулся Ярцев. — Лидия Петровна, пожалуйста, подставьте лупу.

— Лучше! Еще лучше!.. — радовался Крапивка, глядя через лупу.

Нервное напряжение мешало ему сосредоточиться. Только спустя несколько дней он смог описать увиденное.

Ярцев напомнил ему про вторую операцию и сказал:

— Тогда цыплят посчитаем!..

Крапивка уехал, чтобы вернуться в клинику.

Через полтора месяца на вокзале Крапивку встречала тетя Дуня. Она увидела его в окне вагона и постучала пальцами по стеклу, забрызганному каплями дождя.

— Вчера вызвал меня Ярцев и говорит: «Завтра надо встретить Крапивку, — рассказывала тетя Дуня. — Не возражаете?» Говорю — поеду. Грамоте, милок, всякого можно обучить, а вот чтоб душа теплой стороной к людям была повернута, тут не обучишь! Ну, кто ты ему? Сват, брат? Больной, и только. А он хлопочет о тебе...

Крапивка слушал и теперь уже благодарил судьбу, что свела его с Ярцевым. Может, теперь жизнь и пригреет его, битого-перебитого. Ведь не так уж много ему и надо. Годы не молодые. Вот-вот разменяет полвека. На солнышко взглянуть — и то счастье.

Вскоре Крапивку опять привели в операционную. С каждой минутой он все глуше и глуше воспринимал отрывистый разговор ассистентов, анестезиолога; постепенно погружался в теплую, мягкую сонливость; деревенел язык, и наконец все оборвалось.

Девяносто три минуты длилась операция.

Первой навестила Крапивку тетя Дуня.

— Ожил?

— Ожил, да пока не знаю — к добру или худу...

— В нашем деле торопиться нельзя, — с достоинством повторила она слова профессора. — В девять обход. Жди... Придет сам.

— Водички хочу, сушит.

Тетя Дуня принесла стакан воды. Он выпил, спросил:

— Когда повязку снимут?

— Всему свое время. Понял? Зря томить не будут.

Скоро беспокойные мысли, занимавшие Крапивку, оборвал тихий голос Ярцева.

Крапивка, приподняв голову, пытался угадать, к кому подойдет профессор первым: к семикласснику Паше Ломову, а может, к Степану Прокофьевичу, который позавчера приехал из Калуги? А может, к нему?

— Давайте посмотрим, что мы сотворили...

Лидия Петровна подкатила к кровати передвижной столик с медикаментами, бинтами, набором инструментов и, склонившись над Крапивкой, стала снимать повязку. Теперь приблизился профессор. С помощью лупы он осмотрел его глаза. Ничто не вызывало опасений, и он попросил сестру закапать капли и сделать перевязку.

Крапивка удивился, почему Ярцев не спрашивает у него, как он видит. «Наверно, дело плохо», — подумал он.

Только через несколько дней услышал Крапивка долгожданный вопрос и, не веря себе, ответил: «Все вижу!» Этот возглас он повторил трижды, будто и другие тоже еще не верили...

И опять, наперекор ликованию Крапивки, Ярцев сказал:

— Рано, рано...

Лидия Петровна поднесла к его глазу лупу, и Крапивка, оглядевшись вокруг, доложил:

— Все вижу! Честное слово — вижу! Губы красные...

Это относилось к Лидии Петровне.

— Прекрасно, все начинается с женщины, — улыбнулся Ярцев.

Крапивка жадно всматривался в окружавшие его предметы и поспешно называл их: шкаф, стул, лампа, халат... Он торопился все перечислить, словно боялся, что его прервут.

— Будьте внимательны, — сказал Ярцев. — Не торопитесь. Разглядывайте предмет обстоятельно. Вам надо научиться видеть.

— А можно, я сам буду держать лупу?

— Конечно.

Крапивка нацелил волшебное стекло на лицо Ярцева, потом посмотрел на Лидию Петровну.

— Дмитрий Николаевич! А мне казалось, у вас борода... Такая аккуратная, клинышком.

— Увы, не обзавелся.

Крапивка неотрывно всматривался в спокойное лицо профессора.

Дни проходили в ожидании процедур, после которых Крапивка брал лупу и нацеливал волшебное стекло на уже виденную палату. Но теперь его внимание все больше привлекали подробности. Возвращалось ощущение многомерности и многоцветности. А когда он подходил к открытому окну, то звуки улицы, жившие в его памяти, чудесным образом сливались со зримой картиной мира, вновь открытого для глаз...

Столь же дотошно Крапивка нацеливал лупу и на Ярцева. Пытливо вглядывался в его лицо, точно боясь обмануться...

Однажды профессор даже усмехнулся:

— Вы бы лучше на Лидию Петровну смотрели. Богиня.

Лидия Петровна, застенчиво улыбнувшись, сказала:

— Больному хочется запечатлеть образ своего исцелителя.

Лидия Петровна бесшумно вкатила свою передвижку в палату. Крапивка понуро сидел возле кровати: на тумбочке стоял остывший нетронутый завтрак.

— Почему не ели? — удивилась Лидия Петровна.

— Не хотелось.

— Ладно, будем лечиться.

— Погодите с перевязкой, — попросил Крапивка. — Можно посмотреть через лупу?

— Пожалуйста.

Он принялся разглядывать палату.

Неожиданно вошел Ярцев.

— Что ж, наступила осень. Пора цыплят считать... Дня через два будем прощаться.

Крапивка сжал цепко черную ручку лупы, навел линзу на лицо Ярцева и увидел — сильно увеличенную — рассеченную мочку уха.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В последние дни Крапивка чаще стал вынимать из-под матраца бумажник и раскладывать на кровати свои документы и бумаги. Дольше всего задерживались в руках две странички, сколотые булавкой. Он ощупью прикасался к страничкам и, убедившись, что они на месте, снова складывал их по старым изгибам.

Лидия Петровна появилась как раз в этот момент.

— Кто? — спросил Крапивка и, услышав знакомый голос, с неожиданной неприязнью продолжил: — Я думал, вы забыли про меня.

— Что вы, Федор Назарович!

Крапивка насторожился, словно Лидия Петровна угадала его мысли. Мысли, которых он сам пугается.

— А почему Дмитрий Николаевич не пришел? — с чувством еще большего раздражения спросил Крапивка.

— В соседней палате задержался.

— Подождем, — тихо бормочет Крапивка. — Дождемся...

Долгие годы одиночества приучили его разговаривать с самим собой. Слова, произнесенные вслух, хоть звуком окрашива-

ли печальную бесцветность мира. Было в его жизни время, когда он обрел друга. Собрав сбережения, оставшиеся от пенсии, он купил овчарку. Назвал ее Стрела. «Будет у меня собака-поводырь... С ней и поговорить можно», — с надеждой размышлял Крапивка.

Понемногу приучил он собаку к нелегкой службе и по-детски радовался взаимной привязанности. Но шальной грузовик сшиб Стрелу насмерть.

Лидия Петровна, сняв повязку, промыла Крапивке глаза.

Вошел Ярцев. Крапивка ясно увидел Дмитрия Николаевича, но тут же облик профессора обрел черты Ваньки Проклова.

...В 1930 году Феде Крапивке исполнилось тринадцать лет. Был он быстр, непоседлив: в один день мог сбегать за много верст в дальнюю деревню, вдоволь нагуляться с босоногими дружками и затемно вернуться домой. От усталости валился на топчан, что стоял за громоздким шкафом, и, растянувшись на тулупе, брошенном черной шерстью вверх, мигом засыпал легким и долгим сном.

Дом, крытый железом, стоял близ дороги, а за мостком, перекинутым через речушку, высилась мельница-ветряк. Дед Федьки издавна занимался мельничным делом и сына своего Назара приставил к жерновам, наказав: «Береги божий ветер и не протянешь руку за хлебом насущным».

Когда дед отдал душу богу, Назар стал хозяином мельницы. Все чаще и чаще проводил он неспокойные дни и ночи: о нем начинали поговаривать, что он-де кулак-мироед. Приближалась коллективизация, пошел слух, что мельницу конфискуют. Но время листало календарь, слух не подтверждался. Ударил в набат год тридцатый, и слово «колхоз» не сходило с уст людей. Кулаки люто противились рождению колхозов. Травили скот, жгли хозяйственные постройки. Сеяли смуту и убивали из-за углов колхозных вожаков и сельских активистов.

Шастая к своим дружкам, Федька невольно становился свидетелем шумных разговоров, слышал, как поминали недобрым словом Назара Крапивку, его отца...

Сам Назар чувствовал, что близится крах, и однажды хотел было спалить мельницу, но не отважился, да и жена отговаривала.

— Зачем зло свое выказывать? — убеждала она. — Лучше по-доброму отдать. Нет у них другого мельника. Может, они тебя и оставят.

Назар выслушивал молча и, понуро покивав головой, говорил:

— Так уж и оставят! Держи карман шире! Разве не слыхала, как мужиков с родных мест выколупливают? Тут дело Сибирью

пахнет. — Но, помыслив, соглашался с женой: — Может, верно, отдать. Авось, не угонят тогда от отцовской могилы.

Федька с ватажкой ребят пускал бумажного змея с мочальным хвостом.

Змей взлетел высоко, но вдруг нитка запуталась в макушке долговязой сосны. Было жаль змея, и тогда вызвался Федька по голому стволу влезть на верхотуру, чтобы освободить пленника. Измерив взглядом сосну и поплевав на ладони, он стал взбираться. Мальчишки шумно подзадоривали его. Когда он достиг середины, то передохнул, прижавшись к липко-шершавому стволу, и снова, откинув голову, начал упрямо подтягиваться по вершку-вершочку. Наконец, ухватившись за первый сучок жидкой кроны, радостно крикнул:

— Эй-ге-гей! Эй, вы!

И, глянув вниз, увидел рослого парня, подошедшего к ватажке.

Чтобы доказать свою удаль, Федька полез выше, на самую макушку и отцепил застрявшую нитку. Змей ожил. Поплыл.

Федька лихо, не ободрав руки, спустился на землю.

— Не страшно? — спросил рослый парень.

— Ни капельки, — бойко ответил Федька.

— Змей лучше в поле или по берегу пускать, — посоветовал рослый. — Наши мальцы так играют.

— Чьи ваши? — спросил Федька.

— Михайловские.

— Это за железной дорогой?

— Там, — сказал рослый и похлопал Федьку по плечу. — А ведь мы с тобой встречались. Помнишь, на пароме?..

— Помню...

Парень постоял немного и пошел к лесной тропке.

— А у него ухо рваное. Видали? — глядя вслед, сказал Федька. — Я еще на пароме пригляделся... Кто ж ему ухо рванул?

— Мало ли кто...

Крапивка встревоженно приподнял голову с подушки. В палате было тихо. Лицо Ваньки Проклова проступило с такой неожиданной и отчетливой резкостью, что даже ясно обозначился шрам на мочке уха.

И сразу Крапивка увидел себя тринадцатилетним подростком — в ту незабываемую жуткую ночь...

После ужина, когда солнце расплылось в закате, Федька попросился в ночное. Отец редко отпускал его, подозревал, что Федька с дружками в поле курят донник, а Назар терпеть не мог дурного зелья. Федька побожился, что не займется баловством, и вымолил отцовское согласие.

— Ладно. Смотри у меня... А поить Метелицу веди на песчаный откос. Вода там чистая.

Вернулся он на рассвете, но не стал входить в избу, а полез на чердак и улегся на мешках. Ночью он все-таки не удержался — курил и теперь жутко боялся, что отец учует запретный запах.

Чуть в стороне от Федьки была открытая створка лаза, он глянул в квадратный проем: родители спали, отец похрапывал, закинув руку под голову.

Федька уснул особенно крепким, безмятежным сном.

Он не слышал, как кудлатый мужик в потертой кожанке шепеляво грозил отцу, размахивая наганом; другой, прихрамывая на правую ногу, волочил плачущую мать, а молодой топором взламывал сундук. Когда отец рванулся к матери, кудлатый выстрелил в него. Отец рухнул. Именно от этого выстрела Федька проснулся, обмирая от страха, подполз к лазу. На полу лежал отец в рубахе, залитой кровью. У Федьки помутилось в глазах. Но все-таки он увидел, как молодому удалось отвалить крышку сундука. Подбежал кудлатый и, разворошив лежалое добро, выхватил кубышку с деньгами. И тут же потянулся за сапогами с торчащими из голенищ ушками.

Молодой попятился к двери.

— Стой! — крикнул кудлатый. — Кончай ведьму!

Федька отчетливо разглядел лицо молодого и сразу узнал в нем того рослого парня из Михайловки. Со шрамом на ухе.

Взгляды их встретились. Молодой замотал головой и спасительно прикрыл лицо ладонями.

— Кому сказал! — Кудлатый зловеще матерился. — Добей ее!

В палату вошла тетя Дуня.

— Домой хочу, домой, — простонал Крапивка.

— Нашкодил, а теперь в кусты, — заговорила тетя Дуня. — И как тебя угораздило профессора бандитом обозвать?.. Тебе он сторонний человек, а мы его столько лет день в день знаем! Откуда в тебе зло притаилось? Разве доброму человеку придет в голову сказать такое? Да нет, горе всегда утишивает, а ты... Чего молчишь?

— Я правду сказал! Он Проклов, а не Ярцев.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

После бессонной ночи Ярцев принял холодный душ и раньше обычного направился пешком в клинику.

Вошел в палату. Соседей Крапивки не было.

Здравствуйте, Федор Назарович, — сказал он.

— Здравствуйте, — ответил Крапивка, дрожащей рукой отставив стакан чаю. И с опаской спросил: — Скоро меня выпишут? Или теперь задержат?

— Почему же?

— Да теперь всякое может быть, — пробормотал Крапивка. — Только не могу я больше... Сами уговорили делать операцию. Я не хотел. Вы настояли... — Он умолк, всем видом показывая, что говорить больше не желает.

Ярцев сел на стул, давая понять, что разговор только начинается.

Крапивка резко повернулся. С напряжением всматривался в лицо Ярцева.

— Все так... Честное слово, Ванька Проклов. — Он вдруг встал, подошел к кровати, вынул из-под матраца пухлый старенький бумажник. — Здесь про мою жизнь все сказано. И про Ваньку Проклова имеется. Здесь документы, а не слова. — Он раскрыл бумажник. Правый кармашек был набит разными бумагами, а левый, тот, который сейчас ощупывал Крапивка, был тонкий.

Крапивка вынул оттуда две странички, сколотые булавкой.

— Тут частное определение суда. — Крапивка ткнул пальцем в типографский бланк и, перевернув страницу, коснулся поблекшей печати. — Можете прочитать...

— Нет уж, сами читайте. Вы теперь зрячий.

Крапивка развернул листок и скорее по памяти, чем по тексту, прочитал частное определение, в котором суд просил отдел народного образования ускорить прием Феди Крапивки в детский дом. В конце была выписка из приговора суда, где указывалось, что родители Феди Крапивки убиты бандитами.

Прочитав, Крапивка не спрятал бумажку, а оставил ее на столе, явно рассчитывая, что Дмитрий Николаевич захочет посмотреть ее.

Но Дмитрий Николаевич, склонив голову, не двигался.

В наступившей долгой тишине вдруг не выдержал и горячо заговорил Крапивка:

— Бражко и Гнилова суд приговорил к расстрелу. А Проклов сбежал. Объявили розыск беглеца.

— Федор Назарович, почему вы прямо не спросили меня: было такое или нет?

— Ну, спросил бы я... Любой отрекаться станет. Какой вам смысл подтверждать?

— Откуда такая уверенность?

— Был я на том суде. Видел двоих, которых поймали. А третий — Ванька Проклов — сбежал. На дороге нашли тогда ремень с выцарапанным именем: «Иван Проклов».

— А может быть, его давно поймали и рассчитались с ним? И нет его, Проклова, больше на земле! Нету! — Впервые Ярцев повысил голос. — Чего вы добиваетесь?..

— Не рассчитались с Прокловым, живой он! А как вы стали Ярцевым, не знаю! Вот мы и встретились... За горе — проклинаю. А за то, что глаза видят...

Ярцев перебил его:

— Выходит, я пощады должен у вас просить. К жалости взывать... Мол, я тебе зрение вернул, а ты у меня жизнь не отнимай! Так?

— Нет, Дмитрий Николаевич! Нет! — задыхаясь, неловко взмахнул руками Крапивка. — Мне вашей повинной не надо!

— Федор Назарович, вам кажется, что вы знаете всю правду о гибели ваших родителей? — спросил он.

— Знаю. Я все видел своими глазами.

— И я видел, — не отводя глаз, сказал Ярцев.

Крапивка тронул рукой небритый подбородок, несколько раз провел пальцами по сухим губам.

— Когда-то меня называли Иваном Прокловым... Был я в ту ночь в избе. Только я не убивал. Нет на мне крови. Нет!

...Отец вернулся с гражданской без ноги. Семья бедовала, вдоволь натерпелись нужды. Двоих детей унес голод. Отец стал пить, часто буянил. Измученная, больная мать страдала от его побоев, Ваньке тоже доставалось. Однажды так кнутом огрел, что рассек мочку уха. Вскоре у отца начались приступы белой горячки. Потом он ушел. Сказал — в город на заработки. Но не вернулся. Какая-то из деревенских баб однажды сообщила матери, что видела отца: тот бродил по базару, просил подаяние. Мать слухам не поверила. Они с Ванькой батрачили, получали гроши... С каждым днем силы покидали мать. Она часто кашляла, корчась от боли, плевалась кровавой слюной и причитала: «Тяжко мне, сынок... Видно, приходит конец...» На исходе воскресного дня мать упала у колодца и больше не встала. Ее доконала чахотка.

Когда Ванька бросил ком земли на крышку гроба, кто-то крикнул: «Пожар!» Ванька оглянулся — подожгли его избу. За что? За то, что мать в колхоз хотела вступить... Лютая злость охватила Ваньку... На беду встретил у церковных ворот подвыпивших мужиков. Один кудлатый, лет под сорок, другой помоложе,

белозубый, хромающий на правую ногу. Кудлатый сказал: «Положено помянуть усопшую... Пошли...» Ванька согласился. Выпил. Спросил у них: «А вы сами-то откуда? Кажись, не из наших краев?» — «Дальние, — ответил кудлатый. — С голодных мест идем. Да и здесь, видно, не рай. Хотя мы еще порядком не пригляделись. Может, подскажешь, малый, у кого кубышка есть? Свою долю получишь. Не обидим сироту». И тогда Ванька сказал: «Есть кубышка... У мельника». Тут вмешался хромоногий: «Вот бы нам его колупнуть». А кудлатый уставился, спрашивает: «Ты точно знаешь?» Ванька ответил: «Люди говорят, я не видел». — «Пойдешь с нами?» Ванька молчал. Потом кивнул. Хромоногий полез в торбу и дал ему ломоть хлеба и шматок сала. «Пошли, посмотрим твое пепелище», — сказал кудлатый.

От избы остался один угол, где висела икона, а под ней фотография — Ванька с матерью... «Не помогла богородица, видать, тут грешники жили, — пробормотал кудлатый, — пора за дело браться». И он, подняв головешку, пьяно ухмыльнулся и швырнул в икону.

Потом все случилось не так, как думал Ванька. Разговор шел о краже, а вышло убийство... И револьвер, который вытащил кудлатый, и нож с кривой рукояткой у хромоногого — об этом Проклов не подозревал.

— Когда раздался выстрел, я проснулся, — сказал Крапивка. — Потом услышал: «Ванька, добей ведьму!» Это кудлатый кричал.

— Верно, — подтвердил Ярцев. — Верно. Я возле двери стоял. Обернулся на крик. И вдруг тебя увидел. Вспомнил, на пароме встречал тебя, говорил с тобой у сосны, когда ты бумажного змея снимал. Счастье мое, что увидел тебя. Это было моим спасением. Я рванул дверь и побежал к лесу. Вот как это случилось, Федор Назарович... Вам решать, верить мне или нет. Это не Ярцев рассказывал. Это Иван Проклов исповедовался. Теперь в самый раз его к прокурору тащить.

Крапивка вскинул голову.

— К прокурору, говорю, надо идти.

— Что ж вы, Дмитрий Николаевич, глаза мои спасли, чтобы я ваш позор увидел?

— А как быть?.. Столкнулись две правды.

— Двух правд не бывает.

— Но у нас с вами у каждого своя, — сказал Ярцев. — Как быть? Человеку дана одна жизнь. И никому не удавалось прожить ее первый раз начерно, а потом уж набело. Не знаю, думал ли об этом Ванька. Боюсь, как бы не стал Ярцев говорить

за Проклова. Ни к чему это. Вы и без того меня трусом считаете, Федор Назарович!

— Не говорил я такого!

— Не говорили, но думали. Оттого и не спросили, было ли это на самом деле.

— Зачем?..

— Вы тридцать пять лет ждали этой расплаты. Может быть, тот Проклов сейчас бы и сказал: «Прости, очень прошу, прости. Давай все забудем». Но я, Ярцев, не могу. Не имею права.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Ты спишь, Дмитрий? — произнес Дорошин, тихо войдя в комнату. Он остановился у тахты, приподнялся на цыпочках и все же не увидел лица Ярцева, вдавленного в измятую подушку. — Это я, проснись. — Он коснулся рукой его плеча и слегка потормошил.

Ярцев приподнял голову и, еще не расставшись с тяжелым сном, спросил:

— Сколько времени?

— Восемь... — сказал Дорошин. — Вчера весь день пытался найти тебя — не удалось... Вид у тебя неважнецкий. — Круглое, с маленькими усиками лицо Дорошина было участливым.

Ярцев отбросил одеяло, сел на тахту, взял с тумбочки папиросу, закурил.

Он познакомился с Вадимом в юности, в студенческом общежитии, когда тот пришел, чтобы вернуть долг сокурснику. Ярцев лежал в маленькой комнате, где умудрились расположить пять коек. Он был болен, грипповал. Высокая температура держалась четыре дня.

Вадим положил трешку под подушку товарища и направился к двери. Но вдруг остановился, сказал: «А ты, дружок, здесь новенький. И вижу — хворый...» Он подошел к нему, затем, потрогав лоб, сказал: «Тридцать восемь, а то и больше». Он посмотрел на тумбочку, где рядом с пустой эмалированной кружкой лежали таблетки и половинка черствого бублика. «Так ты, дружок, концы отдашь. Без присмотра скучаешь... Подружка есть?.. Молчишь. Понятно. Первокурсник. Давай знакомиться: Вадим Дорошин. Третий курс. А ты?»

Ярцев назвал себя и, повернувшись на бок, произнес: «Ничего, пройдет».

Вадим усмехнулся и сказал: «Стыдно слушать... И это говорит студент медицинского института. Знай такое профессор

Грушин, отчислил бы немедленно. Вот что, Митя, где твои финансы?»

Ярцев протянул руку к ящику тумбочки.

Вадим открыл, увидел мелочь, копеек шестьдесят: «Ладно, не горюй!» Через час Вадим вернулся. В одной руке был чайник, в другой увесистая авоська. Там вперемешку лежали картошка и яйца, кусок колбасы и пачка чая, кулек с сахаром и румяный батон. «Ну вот, будем лечиться, дружок», — сказал Вадим и стал готовить еду.

Ярцев смотрел на него с чувством неловкости: «Сколько хлопот доставил тебе. И денег ты кучу истратил».

Вадим махнул рукой: «Жив будешь — деньги отдашь, а хлопоты цены не имеют. У них одна оплата — те же хлопоты... Давай ешь. Чаю больше пей, помогает, — наставительно заметил он. — Сейчас в магазин ходил, гляжу — птенчик на тротуаре. Что делать? Отнес его в сквер, накрошил хлеба. Пришлось батоном поделиться. Вот беда, воробышек из гнезда вывалился...»

Ярцев надел махровый халат и, сгорбившись, вышел из комнаты.

Покуда он принимал душ, Дорошин прикидывал, какие же неприятности могли обрушиться на друга. При этом он исходил из непреложной для него удачливости Ярцева. В душе он даже завидовал счастливому жребию, выпавшему на долю Ярцева. А вслух говаривал: «Везучий ты человек, Дмитрий. Под счастливой звездой родился».

В конце концов Дорошин пришел к мысли, которую раньше никогда не допускал: «Может, Елена ушла от него?..»

Вернулся Ярцев и, сев в кресло, опять закурил.

— Плохо? — спросил Дорошин.

— Очень.

— Елена?

— Что ты!

Дорошин махнул рукой и тоном остряка на банкете сказал:

— И засуху победим!

Встретив тяжелый взгляд Ярцева, осекся. Было слышно, как часы щелкают маятником.

Ярцев отпил глоток воды. Поморщился.

— Выслушай меня... В тридцатом году... случилась беда. Мне было тогда восемнадцать лет. И звали меня Иван Проклов. Не перебивай...

На лице Дорошина застыл испуганный взгляд.

— Ты помнишь, я говорил тебе про операцию, которую сделал одному пациенту... Крапивке? Он узнал во мне Ваньку Проклова.

Ярцев изложил все происшедшее.

Дорошин сидел, обхватив руками голову, нервно постукивая носком ботинка по полу. Он уже мысленно отнял у друга звание, лишил ученой степени, уволил с работы.

Не выдержав мучительной паузы, Ярцев спросил:

— Что же ты молчишь?

— Как-то сразу все... Самое скверное, что пожар не удастся погасить. Слухи, наверное, уже ползут по больнице. Поэтому и Лидия Петровна так холодно говорила со мной. Я сразу понял, что стряслось нехорошее. Недруги обязательно поднимут голову...

— Ты не подбирай слова. Говори все, что думаешь.

— Погоди, погоди... Мы давние друзья, Митя. Столько лет мы вместе! Скажу тебе честно: если бы это случилось со мной, я бы не знал, как жить дальше...

— Вот и поговорили... — Ярцев погасил окурок. — Допустим, я приму твой совет. Что ты потом будешь говорить обо мне? Придешь на мои похороны?..

Внезапно Дорошин ударил кулаком по столу, да так, что стеклянной дрожью отозвалась посуда.

— Ты, Дмитрий, любил повторять, что совесть природа дает человеку бесплатно!

— Это говорил Ярцев, а не Проклов.

— Почему ты обиделся на меня? Что ты придумал? Я совсем о другом!.. Успокойся!..

— Вероятно, я ошибся, — ответил Ярцев.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Останин получил телеграмму Ярцева, где было всего два слова: «Очень нужен». Сейчас, сидя в номере гостиницы на другом краю страны — в Хабаровске, — Останин пытался понять, что же произошло, если Дмитрий со своей щепетильностью был вынужден послать такую телеграмму. Значит, что-то случилось такое, о чем нельзя даже сказать по телефону. «Надо лететь, — решил он. — Немедленно. Чтобы потом не казнить себя». И все же глухое раздражение из-за прерванной командировки не утихало. Только на телеграфе, послав «молнией» одно слово «вылетаю», он расстался с сомнениями. И поздним вечером улетел в Москву.

Когда Останин вошел в подъезд дома, где жил Ярцев, старушка лифтерша приветливо поздоровалась с ним как со старым знакомым.

Дверь открылась лишь после третьего звонка. В проеме стоял Ярцев.

— Я ждал тебя завтра.

— Достал билет на ночной рейс... Впустишь?..

— Моя фамилия Проклов. Иван Проклов. Мне было восемнадцать лет. Я тогда скрылся. Убежал. О суде мне рассказал Крапивка... Ты никогда ничего не знал про эти мои годы. Время хранило тайну, которую ты сейчас узнал. Для тебя моя биография всегда начиналась с Челябинска... С той поры все было обозначено именем — Дмитрий Ярцев... Теперь ты узнаешь все о Проклове.

Останин потянулся к пачке сигарет, но Дмитрий Николаевич отодвинул их.

— Ты же бросил...

Несколько раз Ярцев прерывал свою исповедь; порой не хватало дыхания, нить давних событий внезапно терялась, ее приходилось нащупывать, вытягивать с болью.

— Я убегал, прячась в густом орешнике, — продолжал он рассказ. — Я бежал долго, наконец выскочил на просеку — она вела к волостному центру — и с ужасом сообразил: туда нельзя, опасно. Тогда я бросился в сторону, помчался в лес. Я бежал, не оглядываясь, задыхаясь и падая. Ноги сами уводили меня от места, где случилась беда. Не помню, как очутился у железной дороги. Потом на каком-то разъезде я взобрался на платформу, груженную бревнами. Уже светало. Товарный состав тащился неизвестно куда. Мне было все равно. Я уснул и очнулся под небом с мерцавшими звездами. Значит, наступила новая ночь после той, страшной. Состав стоял перед закрытым семафором. Было холодно, мучительно хотелось есть...

Ночь, которая его укрывала, уже таяла, и наступал рассвет. Он лежал на бревнах и прикидывал, как раздобыть еды; если отлучиться, можно отстать и упустить верную возможность оказаться вдалеке, на новом месте, где его никто не знает. Пришлось терпеть, пересиливать голод. Как назло, пошел дождь — холодный, пронизывающий. Проклиная все, он был готов покинуть свое убежище, но вокруг тянулся лес. Наконец впервые за все время товарный остановился вблизи станции. Ушел отцепленный паровоз. И тогда Иван, спрыгнув на землю, прошел в конец состава, где в тамбуре хвостовой платформы сидел кондуктор. От него Иван узнал, что поезд идет в Донбасс, везет крепежный лес для шахт. Когда разговорились, Иван назвался погорельцем, со слезами вспоминал мать. Сердобольный кондуктор по-

жалел парня, поделился скудными харчами и посоветовал непременно ехать в Донбасс. Там рабочий люд в цене и его сразу определят в шахтеры и поселят под теплую крышу. Иван робко спросил, не надо ли чем помочь, но кондуктор, пожав плечами, сказал, что дело у него одно: ночью — зажигай фонарь да следи, чтоб не потух, а днем держи красный флажок, чтобы избежать аварии. Часа через два снова поехали. Иван улегся на полу тамбура, прислонился головой к низко спадавшему тулупу кондуктора и, захмелев от чужого тепла, погрузился в сон, да надолго: товарный успел более ста километров отмахать. Паровоз брал воду на узловой станции. Ивану не терпелось сойти, раздобыть еду, но страх будто стреножил его, он сидел, вздрагивая от близких голосов. «Подальше уедем, тогда...» — твердил он...

Ярцев потер виски.

— В Донбасс я не попал. На какой-то станции — забыл ее название — пришлось стоять в очереди за кипятком. Я держал бидончик кондуктора и все оглядывался на наш товарный. Вдруг он тронулся. Я побежал через пути, но тут встречный... И я не успел... На пристанционном базарчике я продал злосчастный бидон из белой жести — получил рубль и тут же купил ржаную лепешку. Проглотив ее, я спросил бабу: «Может, надо дров наколоть?» Узнав, что я погорелец, она посоветовала пойти в депо — там нужны люди. Действительно, там меня словно ждали. Паровозов много, а грузчика два. Какой-то усач в галифе поговорил со мной, направил в общежитие. Это был старый вагон. Я переспал на голой полке, а утром влез в брезентовую куртку и стал кидать уголь в тачки, которые потом везли по мосткам и опрокидывали в паровозный тендер. Навсегда запомнился первый заработанный суп из гороха и кусок соленой селедки с огурцом. Через три дня грузчики взяли расчет и повели меня на станцию к бойкому вербовщику. «Этот с нами поедет. Записывай». Вербовщик похвалил ребят за помощь и, глядя на меня, отчеканил: «Поедем строить тракторный гигант. А место ему уготовано в Челябинске. Может, слыхал? Нет? Ну, увидишь. Поначалу определим в землекопы. Жалованье по выработке. Обеды по талонам. Житье в общежитии. Дорога за наш счет». Потом открыл тетрадку, послюнявил карандаш и спросил: «Фамилия?» Тут меня осенило: «Ты теперь другой!» — и, вспомнив, как звали кондуктора, я ответил: «Ярцев Дмитрий... Николаевич...» Так меня и записали. С той минуты я перестал быть человеком, которого раньше звали Ванькой Прокловым. — Ярцев отпил глоток холодного чая. — Ну а с Челябинска тебе все известно.

Помолчав, Останин спросил:

— А Елена знает о Проклове?

— Нет.

— Понятно. Значит, Елену пока выведем за скобки.

— Ты поможешь написать заявление в прокуратуру?

— О чем?

— Обо всем... Решенный вопрос. Во всяком случае для меня, Ярцева.

— А для Проклова?

— Писать будет Ярцев...

— Я Проклова не знал. Я могу судить только Ярцева. Не стану тебя обманывать. За тобой большой долг. Не каждому по силам оплатить такой долг. Ты можешь. Ярцев богат. Хватит ли твоего богатства, чтобы рассчитаться за Проклова, решит суд. А я для тебя все тот же друг, что и раньше.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Поезд увозил Ярцева в Полесье. Он лежал в двухместном купе спального вагона, уставившись взглядом на верхнюю полку, пустую, незастеленную. Бесшумный вентилятор, перемешивая тепловатый воздух, поддувал ветерком.

«Я еду в Полесье. Это похоже на встречу со смертью, — подумал он. — Почему похоже? Похоже — это нечто приблизительное... А здесь...»

Постучав в дверь, вошла проводница, предложила чаю.

Отпив несколько глотков, он услышал в коридоре:

— Кто желает заказать билет на обратный путь?

У Ярцева кольнуло в сердце. Он был единственным пассажиром, который не знал, вернется ли обратно в Москву...

И сразу возникло лицо Дорошина, когда тот сказал: «Я бы не знал, как жить дальше».

Потом была ночь.

Он принял таблетку снотворного, накапал коньяку в горячий чай и повалился на диван с надеждой на сон.

Утром в окне замелькали одинокие домики, потом они вытянулись в цепочку улицы, поселка. Поезд замедлил ход. Вскоре показалась чистенькая платформа станции.

Прежде чем переступить порог прокуратуры, Ярцев долго бродил по бульвару в центре города, продумывая предстоящий разговор.

Наконец подошел к старому зданию с колоннами. Поднялся на второй этаж. День был не приемный, но прокурор принял его.

— Жбаков Павел Иванович... — представился он.

Ярцев сел на краешек стула, вынул удостоверение, одетое в красный сафьян с золотым тиснением, и подал Жбакову. На одном дыхании произнес:

— Меня интересует судебное дело Ивана Проклова. Это было в Трехозерске в 1930 году. Нельзя ли поднять архив?..

— Прежде чем ехать, — с сочувствием сказал Жбаков, — вам следовало позвонить мне. Я бы сразу сказал: архив сгорел. Нас с первого дня войны бомбили.

— Может, в других материалах какой-нибудь след найдется?

— Вряд ли, Дмитрий Николаевич. А что побудило вас искать столь давнее дело? Тридцать пять лет прошло. Уже история.

В это время раздался звонок. Жбаков несколько минут терпеливо слушал, а потом, вспыхнув, сказал:

— Никто не имеет права навязывать суду оценку личности подсудимого. Никто! Так что дальнейший разговор считаю бессмысленным. Да, да! — Положив трубку, он вызвал секретаря и попросил достать подшивку областной газеты за прошлый год.

Ярцев извинился за беспокойство и, попрощавшись, вышел из кабинета.

День был жаркий, душный.

Побродив по зеленым малолюдным улицам, он зашел в кафе, чистое, уютное. Официантка расторопно подала обед, не задав непременного вопроса: а что будем пить?

Потом, перейдя сквер, Ярцев оказался у здания редакции газеты. А что, если зайти в редакцию и попросить разрешения полистать комплект газеты тридцатого года? Может, он сохранился?

В приемной коротко подстриженная девушка в роговых очках сказала:

— Подшивки хранятся в библиотеке. У заведующей ребенок заболел... Ее сегодня не будет. Завтра с утра, пожалуйста.

Ярцев, скрывая огорчение, поблагодарил — впереди почти целые сутки томительного ожидания.

«Бог ты мой, — подумал он, — этот короткий путь через две улицы уведет меня из шестьдесят пятого года в тридцатый. Какие неожиданные маршруты вычерчивает жизнь».

На другой день он сидел в библиотеке и под частыми взглядами заведующей просматривал ломкие пожелтевшие страницы газеты.

Полистав подшивку до половины, он спохватился, сообразил:

все случилось летом. Когда же? День вспомнить он не мог. Ярцев запомнил другой день тридцатого года — обозначенный фиолетовым штампиком на обеденном талоне, который выдали землекопу Ярцеву двадцать первого августа на стройке тракторного, в Челябинске... Значит, это было до двадцать первого.

И вдруг ему стало страшно. Он даже не понял отчего. Сообразил только через минуту. Ведь он листал уже газеты августа. Возникали даты: пятое, шестое, седьмое... А обеденный штампик — двадцать первого августа.

Сейчас в лотерее, которую затеял Ярцев, он хотел проиграть, обязательно проиграть. Пока его номера не было. С каждой страницей, переброшенной в левую часть подшивки, шансов на проигрыш становилось больше. Вот и сентябрь переброшен налево. В номере от шестого октября он увидел заголовок «Из зала суда». Нет, это про ограбление кассира.

Ярцев почувствовал сухость во рту.

В номере от шестнадцатого октября на четвертой странице была небольшая заметка — «Суровая кара».

«Закончилась выездная сессия суда, которая рассмотрела дело Бражко и Гнилова, обвиняемых в убийстве. Бандиты приговорены к расстрелу. Объявлен всесоюзный розыск находящегося в бегах И. Проклова».

Ярцев прикрыл заметку разом вспотевшей ладонью, будто кто-то стоял сзади и заглядывал через его плечо...

— Может, хотите пообедать? У нас хорошая столовая, — предложила заведующая.

— Спасибо, — через силу ответил Ярцев.

Он переписал текст заметки, дату и номер газеты, быстро поднялся и, уходя, зачем-то сказал библиотекарю, что придет завтра.

А вечером уехал в Москву.

И снова были смутные, тяжелые сны. Он просыпался в поту и, стесняясь соседей по купе, лежал неподвижно, пока не забывался опять.

В последние дни Крапивка мало находился в палате, чаще сидел в дальнем коридоре верхнего этажа, где размещались лаборатории.

Здесь и нашла его доктор Баранова.

Крапивка встретил ее настороженно, с опаской.

Упрямые, жесткие складки появились у него в уголках рта, когда Баранова спросила о его самочувствии. Он подсознательно понял, что вопрос продиктован не добротой душевной, а зло-

счастным недавним событием. А он к этому событию возвращаться не мог и не хотел.

— Все нормально, — вяло ответил он.

— Мы, друзья и коллеги Дмитрия Николаевича, — шепотом заговорила Баранова, — обязаны защитить его от возможной беды... А для этого должны знать правду. Расскажите, как все было?

— Дак что рассказывать? Я ведь домой хотел уехать. Не верил, что операция поможет. А профессор уговорил. Теперь вижу... Вот спасибо, значит, Дмитрию Николаевичу...

— Я не об этом спрашиваю. Кого вы узнали в профессоре?

— Я?

— Вы, Федор Назарович, — жестко сказала она и тут же улыбнулась, смягчая тон. — Неужели вы не хотите помочь нам?.. Вы, кажется, назвали профессора бандитом?.. В палате была сестра, она слышала это...

— Ну, брякнул... Так мало ли чего не бывает на свете? Вон у меня приятель... Такого наплетет...

— Значит, вы отказываетесь от своих слов?

— Нет. Не отказываюсь.

— Странно. Вам все-таки придется объяснить, что произошло.

Крапивка откашлялся, покраснел лицом, отчего скулы его обозначились резче, и твердо сказал:

— В общем, обознался я тем разом, товарищ доктор. И все тут.

— Может, вас кто запугивает? Вы скажите, мы примем меры.

— Мокрый дождя не боится.

— Зря вы так, Федор Назарович. Мы к вам всей душой, а вы... Мы вам добра хотим... И Ярцева жалко...

Крапивка отвернулся, потом сказал:

— Что же вы прямо с отмычкой в душу лезете?.. Устал я, пойду в палату... — Он поднялся и ушел.

И в этот момент Баранову осенило предположение: Ярцев дал взятку Крапивке! Поэтому и молчит, не выдает профессора. Теперь все виделось в ином свете. Ну да, Ярцев откупился! Ну вот, Дмитрий Николаевич, любите вы медок, полюбите и холодок...

На другой день Баранова торопливым шагом устремилась к станции метро, чтобы появиться в клинике к восьми утра, когда приходит главный врач. До начала пятиминутки можно будет спокойно поговорить с Борисом Степановичем.

Беседу с ним она начала с просьбы, чтобы доверительный разговор остался пока между ними, хотя все, что она знает, по

существу дела является ясным и требует лишь частичных уточнений.

Увидев, как Борис Степанович молча кивнул головой, Баранова стала рассказывать историю прозрения Федора Крапивки.

— Как бы нам не опоздать, Борис Степанович! Ведь нас спросят: где же вы были, уважаемые товарищи?

Баранова замолчала и, спрятав руки в карманы халата, с вниманием наблюдала за Борисом Степановичем, который не торопился с ответом. Может, потому, что припоминал сейчас то заседание совета врачей, где Ярцев не пощадил его самолюбия? Недвусмысленно причислил его к лику середняков?

— Допустим, ваш рассказ соответствует действительности. Допустим, что все так и было. — Борис Степанович подчеркивал слово «допустим». — Но мы-то с вами здесь с какого бока?

— Надо реагировать!

— Разве это наша компетенция?

— Наша. Вы только представьте, что может произойти!..

— Не могу представить. Подобного опыта не имею.

— Вы, пожалуйста, поймите! Больной при свидетеле сказал...

— Хватит! Лучше подумайте, как будете выглядеть, если все окажется вымыслом?

— Я понимаю ваши опасения... Поэтому хочу добавить очень важное, даже решающее соображение.

— Какое?

Баранова пожала плечами и тут же, подавшись вперед, сказала:

— Я беседовала с Крапивкой. Наедине. Весьма подробно.

— Подтвердил Крапивка?

— Сначала все подтвердил, затем отказался. Полагаю, что Ярцев откупился взяткой. И в этом вся загадочность события. Сперва Крапивка признал, а потом передумал, где логика? Под влиянием чего передумал? Почему опасается говорить?

Борис Степанович чувствовал смутную неловкость и подступавшую тоску.

— Надо подумать, серьезно подумать, — неторопливо сказал он.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Заместитель начальника следственного управления Прокуратуры СССР принял Останина точно в назначенное время.

Входя в кабинет, Останин вспомнил, что фамилия Шагина из-

вестна ему много лет. Шагин часто публикует интересные очерки.

— Что привело к нам?

— Неожиданное событие.

— Все, чем занимается прокуратура, — неожиданное, — улыбнулся Шагин.

— Здесь особый случай... У меня есть друг. Добрый, старый, верный друг. Я сразу определяю свое отношение к нему, чтобы вы знали мою позицию в этой истории. — Останин говорил спокойно, он настроился на нелегкий разговор и берег силы. — Возможно, в вашей практике эта история окажется уникальной. Так вот, мой друг — доктор медицинских наук, профессор. Думаю, сейчас нет смысла называть его фамилию?

— Пока не настаиваю, — согласился Шагин.

Выслушав весь рассказ до конца, Шагин прищурился, сцепил пальцы на животе. Был он полноват, румян, улыбчив — этакий тип доброго дядюшки. Но во взгляде влажно-каштановых глаз таились зоркость, цепкость.

— Что вас интересует, Андрей Васильевич? — спросил Шагин.

— Ознакомьте меня с законодательством, которое действует в подобных обстоятельствах. Конечно, если это не противоречит вашим служебным нормам?

— Нет, не противоречит, — сказал Шагин. Подошел к книжному шкафу, достал нужный том. — Так вот, существует срок давности, по истечении которого человеку, совершившему преступление, уже не может быть предъявлено обвинение. Но если преступник скрывался, то течение давности приостанавливается и возобновляется в момент, когда он будет задержан или явится с повинной. Ясно?

Останин кивнул.

— Это не все. Есть важное дополнение, которое вам следует знать. Если со времени преступления прошло более пятнадцати лет, смертная казнь уже исключена. Таковы главные пункты интересующего вас законодательства.

— Значит, будет судебное разбирательство? — спросил он.

— Для этого должен быть основательный повод... Задержание преступника или явка с повинной.

— Мой друг пишет заявление в прокуратуру. Сообщает обо всем.

— Я понимаю, — сказал Шагин. — И тем не менее определенно ответить на ваш вопрос нельзя. Судебное разбирательство возможно только при наличии объективных доказательств вины того или иного человека. Имеются в виду свидетельские пока-

зания, улики, вещественные доказательства, опознания. Но разве легко спустя тридцать пять лет воссоздать истинную картину происшедшего? Иной раз просто невозможно.

— А признание собственной вины разве не дает оснований?..

— Нет. Получим мы заявление, примем его. — Он выдержал паузу, развел руками. — Все равно нужны доказательства. И самое важное. Как вам известно, презумпция невиновности заключается в том, что до вступления в силу обвинительного приговора суда человек считается невиновным. Защищаться против предъявленного обвинения — это право, а не обязанность обвиняемого. Подсудимый может вообще не давать объяснений в свою защиту и даже не приглашать защитника.

— Стало быть, пока ничего определенного?..

— Получим заявление вашего друга, начнем разбирать. Вот все, что можно сказать с уверенностью...

На следующее утро Ярцев приехал в Москву.

Он позвонил с вокзала Останину домой и договорился, что сразу приедет к нему.

Они сидели в небольшом кабинете, где книжные полки опоясывали все стены до потолка и комната выглядела как маленькая книжная лавка.

Ярцев прочитал вслух текст газетной заметки, рассказал о встрече с прокурором.

— По-моему, пора решать, — сказал Останин. — Многое прояснилось. Есть два пути. Первый... Можно поблагодарить наш гуманный закон и продолжать жить, как жил до сих пор Дмитрий Николаевич Ярцев. Естественно, отвергая напрочь фантастические измышления Федора Крапивки.

— Не понимаю...

— Дослушай, — перебил Останин. — Есть второй путь. Предположим, Крапивка возбуждает уголовное дело. Но теперь нам известно, что все судебные материалы сгорели. Двое участников преступления расстреляны. Свидетелей обвинения нет. Точнее, остался один. Сам Крапивка. Но он не сможет доказать, что ты Иван Проклов!

— Кому доказать?

— Всем!

— Всем, кроме меня, — сказал Ярцев.

Письмо, адресованное генеральному прокурору — семь страниц, которые перепечатал на машинке Останин, — лежало на

столе, и сейчас Ярцев выбирал: отправить его по почте или отнести самому. Он понимал, что сразу рассчитывать на встречу с прокурором трудно, но передать секретарю, видимо, возможно.

Процедура отправки письма заботила его не случайно. Глядя на запечатанный конверт, он опять подумал, что раньше тайна принадлежала только ему и существовала лишь в устном рассказе. Теперь же его исповедь легла на бумагу. Скреплена подписью. Дополнена адресом, номером паспорта и местом работы... Совсем не исключено, что письмо, попав в канцелярию, начнет свое движение под всяческие пересуды. Отыщутся доброхоты, которые сообщат в клинику, а может, и в министерство. Нет, пусть его дело до поры до времени не выйдет за стены кабинетов тех официальных лиц, которые будут решать его судьбу. Значит, надо попасть на прием к руководящему лицу, вручить письмо лично...

Как ни старался Ярцев уверовать в правильность этих рассуждений, он чувствовал их подоплеку. Трусость. Боязнь огласки. Страх за репутацию. Вот что кроется за этими рассуждениями. Нет, к черту! Трусом Ярцев не был. Никогда не был!

...Операционную полевого госпиталя устроили на окраине разбитой деревни, в единственной уцелевшей избе. Вместо сорванных дверей вход был завешен плащ-палаткой. А под наспех сколоченным навесом лежали раненые, стонавшие от боли.

Совсем рядом, в пяти километрах, шли упорные бои.

Ярцев двое суток не отходил от операционного стола. Руки становились все более скованными, почти чужими. Но он, оглушенный близкой канонадой, упрямо продолжал работать. Закончив очередную операцию, распрямился, жестом подозвал санитара. Тот вытащил из пачки папиросу, прикурил и дал хирургу. Ярцев вышел за порог избы, жадно затянулся и через минуту опять был возле операционного стола. Там уже лежал молоденький солдат, умоляя:

— Спасите руку! Спасите!

Воспаленные глаза его были полны слез.

— Спасите!.. — хрипел солдат.

В избу вбежала запыхавшаяся медсестра Тося.

— Приказано уходить, — крикнула она. — Наши отступают!

Ярцев не ответил.

— Уходить надо! — громче закричала Тося. — Там последняя машина... Вы слышите, Дмитрий Николаевич!

— Молчать! — приказал Ярцев. — Раненый на столе.

Тося застыла, ощутив лихорадочные толчки сердца. Все смешалось разом: горечь отступления и беда, что ждет раненых, лежащих под навесом, возле избы,

Ярцев продолжал операцию. Когда он закончил, наших частей в деревне уже не было.

Проклиная шофера, угнавшего санитарный фургон, Тося отыскала какую-то брошенную телегу. С трудом подтащила ее к избе.

Они уложили раненых. К оглоблям привязали лямки и потащили телегу по раскисшей грязи. Въедливый скрип несмазанных колес терялся в грохоте близкого боя.

Когда потом вручали награды, командир дивизии, передавая Дмитрию Николаевичу орден Отечественной войны I степени, сказал:

— Поздравляю... Доктор Сивка-Бурка.

Все засмеялись, понимая, чем вызвана шутка генерала.

Надолго прилепилась к Ярцеву эта кличка. Однополчане вспоминали про нее даже в поздравительных открытках и после войны.

Лежат эти открытки теперь в корзине, и горше всего будет Ярцеву, если кто-либо из фронтовиков дознается, что у Сивки-Бурки была и другая, неизвестная им жизнь.

В приемной прокуратуры было много народу. Преобладали озабоченные, встревоженные лица.

Ярцев занял очередь и, оглядев инспекторов, принимавших посетителей, решил, что подойдет к столику, где сидел молодой инспектор, стриженный под бобрик. К другим инспекторам почему-то доверия не возникло. Сейчас с ним беседовал фронтовик, на стареньком пиджаке которого висели вразброс ордена и медали. Ярцев заметил, как он взял заявление фронтовика и, поглядев на листок, сказал:

— Что вы здесь накалякали? Ничего не разобрать.

— Без очков я, — оправдывался фронтовик. — Дужки сломались. Через неделю будут готовы. Я и так старался, в три руки писал...

— Это же документ! — негодовал инспектор.

— Когда молодой был — все видел. А теперь...

В это время освободился другой инспектор, седовласая женщина, и Ярцев торопливо подошел к ней.

— Старший советник юстиции Рыбакова Евгения Марковна, — представилась она. — Слушаю вас.

Ярцев вынул из папки заявление, протянул Рыбаковой.

Прочитав первую страницу, Рыбакова ошеломленно посмотрела на Ярцева. А он слепым взглядом уставился на ее руки, державшие страницы позднего, горького признания.

Он не запомнил, сколько прошло времени, пока она добралась до конца, но встрепенулся, когда Рыбакова кому-то позвонила и попросила срочно принять ее вместе с профессором Ярцевым.

Он хорошо запомнил: «с профессором Ярцевым»...

— Зачем вы привели его ко мне? — спросил Рыбакову заместитель генерального прокурора, прочитав заявление Ярцева. — Сейчас трудно о чем-либо говорить.

— Я понимаю... Но я хотела, чтобы вы увидели его.

— Ярцев... Ярцев... Где-то я слышал о нем или читал... Евгения Марковна, я не буду с ним говорить. Просто поздороваться ни к чему. Дайте ему мой телефон и пусть позвонит через три дня. Да, через три. — Он сделал пометку в календаре и сказал Рыбаковой: — Об этом заявлении никто не должен знать. Зарегистрируйте его под фамилией Проклов. Ясно? Ярцеву скажите, что я занят.

Рыбакова вышла из кабинета. В конце коридора у балконной двери стоял Ярцев и смотрел на улицу.

— Вот по этому телефону вам надлежит позвонить через три дня, — сказала ему Рыбакова.

Дома он развернул бумажку с номером телефона и обнаружил, что никакой фамилии там не написано. Лишь четко было выведено слово — «прокуратура».

А в это время заместитель генерального прокурора как раз думал о Ярцеве и по другому аппарату позвонил заместителю министра здравоохранения и попросил рекомендовать какого-нибудь видного офтальмолога в качестве консультанта по важному делу.

— Сейчас, минуточку, — раздумывая, ответил заместитель министра. — Поговорите с Коржихиным, Былинским. Запишите еще Лысогора. Если заняты и не смогут, тогда позвоните Ярцеву. Даст согласие — считайте, что повезло. — И продиктовал их телефоны.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Этот срок, эти три дня, оставшиеся до звонка в прокуратуру, Ярцев прожил как-то механически. В его душе все притупилось, окружающее стало безразличным.

Однажды подумалось: приговор о расстреле — почти единственный случай, исключающий неожиданность ухода человека из жизни. Даже на войне дня и часа смерти не знаешь.

День четвертый был понедельником. Тринадцатого июля. Но даже суеверных предчувствий не возникло. Главное сделано: до-

кумент в прокуратуре, а сколько потом минет черных пятниц и тяжелых понедельников — незачем предугадывать и считать. И не стоит надеяться на везение, удачу. Ивану Проклову давно не повезло — еще в Полесье, в тридцатом году.

После полудня он позвонил и узнал, что ему надлежит приехать в прокуратуру к товарищу Ледогорову, который будет вести дело.

Входя в кабинет следователя по особо важным делам Вячеслава Александровича Ледогорова, даже беглым взглядом можно было заметить нечто особое в атмосфере казенной обстановки. Рядом с письменным столом, у кресла, покоились две гири по пуду каждая, облитые черным лаком. Несколько раз за день Вячеслав Александрович делал разминку — энергично выжимал эти гири. Позади селектора на белом подоконнике метались в длинном аквариуме экзотические рыбки. Одна из них, выплыв из водорослей, уткнулась в подсвеченное стекло, заглядевшись на Ярцева.

Ледогоров, беседуя с посетителями, невольно посматривал на рыбок, благо сидел посетитель на фоне аквариума.

В тридцать девять лет Вячеслав Александрович со своим гладким и розовым лицом, глазами цвета крепкой чайной заварки, выглядел очень молодо. И своей мальчишеской улыбкой порой озадачивал людей, ибо появлялась эта улыбка в самые неподходящие моменты. И, наоборот, когда ей полагалось возникать, лицо Ледогорова оставалось непроницаемо-строгим. Он знал эту свою особенность, но ничего поделать не мог, хотя при встрече с начальством такой диссонанс иногда приводил к нежелательным результатам.

Приход Ярцева совпал с разминкой, оставалось еще два жима, но Ледогоров поставил гири.

— Садитесь, будем беседовать... — сказал Вячеслав Александрович, подчеркнув слово «беседовать». Это было приглашение к серьезному разговору, к анализу происшедших событий.

— Давайте, — устало ответил Ярцев. — С чего начнем?

Ледогоров начал с того, что представился, а затем спросил:

— Вы обращались к адвокату?

— Нет.

— А мне показалось... Здесь есть информация, связанная с судом в Полесье... Откуда она?

— Я ездил в Полесье. Был у прокурора Жбакова.

— Когда?

— Пятого июля.

— А заявление датировано десятым.

— Правильно.

— Я о другом. В заявлении вы указываете, что судебное дело погибло во время войны. Об этом вам сообщил прокурор. При таких обстоятельствах у вас была возможность принять иное решение.

— Конечно, был и другой путь... Простите, как мне следует к вам обращаться? Гражданин следователь или...

— Я вам представился: Вячеслав Александрович.

— Так вот, Вячеслав Александрович, иначе я поступить не мог. Насчет адвоката — это что, рекомендация или юридическая необходимость? Мне бы не хотелось его иметь. Я сам и обвиняемый и адвокат. Все очевидно, даже не нуждается в расследовании.

— Не спешите с выводами, Дмитрий Николаевич. Коль вы и адвокат, то советую: почаще заглядывайте в процессуальный кодекс. Сказав: «не нуждается», вы проявили, простите, юридическое невежество. Ничего еще не доказано. Поэтому я для вас не гражданин следователь, а Вячеслав Александрович. До той поры, когда смогу доказать, что вы — именно Проклов. Это главный камень преткновения. Здесь меня ожидает больше синяков и шишек, чем пирогов и пышек. Ваше признание в официальном документе может фигурировать только в качестве цитат из вашего заявления. А таковые, как известно, берутся в кавычки. Мне кавычки будут очень мешать. Видите: задачка с одним неизвестным, а решать ее надо сложнейшим путем.

— Каково мое юридическое положение? Кто я? Подследственный, обвиняемый, подозреваемый, подсудимый?.. Кто?

— Пока вы заявитель. Мы с вами еще не устранили ни единой неясности.

— Я-то устранил...

— Дмитрий Николаевич, ваш приход с повинной, несомненно, имеет существенное значение. Но если бы ваше заявление поступило к нам хотя бы на один день раньше вашей встречи с Крапивкой! Будем все называть своими именами. Тут проглядывается простая схема. Крапивка узнал вас. Вы испугались и... — Вячеслав Александрович смолк, видимо, подбирая слова для оценки случившегося. — Вот мы с вами беседуем. Правда, беседуем в доме с вывеской: «Прокуратура». Так вот, мне в нашей беседе представляется, пожалуй, очень важным вопрос: Почему вы, Дмитрий Николаевич, не сделали этого шага раньше? Чуть усложню вопрос. Можно? — И, не дождавшись ответа, добавил: — Без внешнего раздражителя, так сказать, без случайного фактора? Вам не грозит расстрел, но понимаю, что десять, семь или пять лет тюрьмы не могут не нарушить

устоявшийся образ вашей жизни. Не только вашей. У вас семья.

Ярцев молчал. Только вспоминались слова, которые говорил своим больным: «Потерпите, будет больно, но потом обязательно станет легче... Потерпите...»

— Я никогда ничего не знал о суде и приговоре. О расстреле Бражко и Гнилова я узнал, только прочитав заметку в газете. Почему тогда удрал? Был убит страхом. Бежал от себя, от Проклова. Во все времена это называлось — спасать шкуру. Есть присловье: «Не пойман — не вор». И вот, прикрывшись им, как шапкой-невидимкой, двинулся уже Ярцевым по жизни. Потом грянула война. Не брала меня смерть... Не брала окаянная. Теперь вам судить, хорошо ли она потрудилась или зря старалась.

Ярцев хотел попросить воды, каких-нибудь капель, понюхать нашатыря, но он не стал этого делать, чтобы Вячеслав Александрович не расценил просьбу как слабость, рассчитанную на жалость и милосердие, которые вроде были обещаны вначале, а потом неожиданно исключены в ходе беседы.

Ярцев не был уверен в справедливости своих выводов, но восприятие им Ледогорова совершило эволюцию: от открытого доверия до протеста и обиды — что ж, не повезло...

Вячеслав Александрович смотрел спокойно, будто исповедь Ярцева не коснулась ни слуха, ни сердца следователя.

— Не устали?

— Волнуюсь.

— Боль всегда чувство личное. Вам, профессор, это хорошо известно.

— Нет... Это одна из наиболее распространенных ошибок в жизни, — возразил Дмитрий Николаевич. — Природа ее возникновения понятна. Простой пример. Человек вывихнул ногу. Страшная боль. Ну а хирург, вправляющий ногу, он как, по-вашему, только слышит стон и крик больного? И ничего его больше не тревожит, все отключено? Было бы такое, горе бы раскололо земной шарик. Одним больно, а другим — трын-трава. И вы, Вячеслав Александрович, если искренне исповедуете веру, что боль всегда чувство личное, допускаете ошибку. Неужели вы так присмотрелись, приобвыкли к конвейеру боли, который тащит людские судьбы по всем вашим этажам? Поймите меня правильно, мы с вами в определенной мере люди одной человеческой профессии — санитары общества... — Он помолчал. — Подслушал бы кто мой разговор, вот бы вдоволь подивился... Хорош санитар, петля по нем скучает.

— И я подумал об этом, — признался Вячеслав Александрович.

— Вы лицо служебное, — начал Ярцев, но сразу высказал другую мысль: — В этом повинен только я, а не вы.

— Хотите сказать о неотвратимости ответственности, а, мол, мне удалось ее избежать. Об этом речь?

— Да.

— Дойдем до отправной точки и признаем: первопричина трагедии кроется в самом факте — в совершенном преступлении.

И снова Ярцев почувствовал укор. Он взглянул на хозяина кабинета и, по-своему оценив сказанное, с печалью заметил:

— Вы начали с совести, к ней и пришли. Вернулись на круги своя.

— Куда ж от нее денешься? «Мы родимся с добродетелями, и совесть дана им в охранение...» Это еще Лобачевский сказал. Почти сто пятьдесят лет назад. У меня к вам просьба... У вас в ближайшие дни будут операции? Хотел бы поприсутствовать. Посмотреть.

— В больнице операции ежедневно.

— Мне хотелось увидеть именно вас во время операции.

— А здесь?.. Я другой?

— Мне очень важно все о вас узнать.

Окончание следует

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ПОВАРИШ

Василь ЗУЁНОК,
главный редактор журнала
«Маладосць»,
лауреат премии
Ленинского комсомола
Белоруссии

БЕЛОРУСЬ МОЯ СИНЕОКАЯ

Только немногим посчастливилось видеть это. Видеть ее сразу всю — не мысленным взором, а воочию.

Петр Климук и Владимир Коваленок. Сыновья Белоруссии, герои космоса. Оттуда, из глубин вселенной, глядели они на землю, отыскивая знакомые очертания.

Дороги, пущи, города... Но главными ориентирами были реки — эти извилистые, но всегда строго ориентированные голубые магистрали. Днепр, Неман, Западная Двина — здесь, у их изголовья, у их истоков, лежит прекрасная земля — Белоруссия. Три великих реки начинаются из ее родников. В сенях ее дубрав рождаются волны Балтики и Черного моря.

«Я, когда пролетаю над Белоруссией, всегда всматриваюсь в родные места, пытался даже найти речку Нача», — рассказывал в одном из космических репортажей Владимир Коваленок. Оттуда, со звездных высот, хорошо видно, как сходятся на этой земле, как сплетаются голубыми кронами бесчисленных притоков и криниц бассейны двух морей. Какой размах в этих объятиях!

На большом водоразделе, у вершин его, лежит Белоруссия. На больших путях истории. На перекрестьях эпох и сражений. Они многое помнят, белорусские реки — щедрые поители и великие дороги.

Путь с Запада на Восток. И путь с Севера на Юг. Это все здесь.

Это у извилистой речушки Нача на древних волоках пути «из варяг в греки» бегал босиком Володя Коваленок. Это у тихих заводей Муховца, где в 1941-м стояли насмерть герои Бреста, мечтал о дерзких полетах Петр Климук.

Здесь пути из прошлого в будущее. Здесь истоки великих деяний просветителя Симеона Полоцкого и первопечатника Франциска Скорины, революционного трибуна Кастуся Калиновского и народных песняров Янки Купалы и Якуба Коласа.

Здесь пути в историю. И тропинки к дороге Земля — Космос тоже здесь.

Такова она, Белоруссия, это открывается мне, земному, и видится на космическом расстоянии ее звездным сыновьям, от голубой веточки Начи до кряжистого батьки Днепра.

Нача — древнее, уходящее в глубь веков слово. «Нача», говорят лингвисты, означало: «плодородная земля».

Да, эта земля плодородна. Плодородна на хлеб, плодородна на трудолюбивых и мужественных людей.

Вспоминается эпизод, как

входил в наливающуюся рожь председатель прославленного колхоза «Оснежицкий», ныне дважды Герой Социалистического Труда Владимир Антонович Ралько и, нежно трогая колосья, мечтательно говорил: «Сорок центнеров с гектара...» А в глазах светилось: «Больше должно быть, больше». Небывалые, сказочные урожаи!

И вспоминается наш военный, оккупационный хлеб — из желудей, из головок клевера, из семян конского щавеля и, кто знает, из чего еще могла придумать голодная фантазия... Женщины и ребятишки впрягались в плуг, чтобы засеять скудный клочок земли.

Но и с этим хлебом выстоял народ. И сражался. С востока шла армия-освободительница, где рядом с сыновьями народов Советской страны ковали победу воины-белорусы, а здесь, на их родине, гремел лесной фронт. Земля горела под ногами оккупантов. Почти полумиллионная армия белорусских партизан и подпольщиков ежедневно, ежечасно вершила великий приговор истории — за убитых матерей и детей, за сожженные Хатыни.

Горек был хлеб войны, но еще тяжелее горечь утрат. Каждого четвертого недосчиталась Белорусь в победном 1945-м. Каждый четвертый — это и боец-фронтовик, и лесной воин-партизан, и мужественный подпольщик, и мать из Рассонщины, и сестра, замученная в фашистском лагере, и малыш, брошенный в колодец...

Три березки на мемориале сожженных деревень в Хатыни. Три березки — четвертой нет. На ее месте горит Вечный огонь. Это память о каждом погибшем.

И возрожденный из руин и пепла красавец Минск, и отстроенные города и деревни — тоже память наша о каждом четвертом. Память о героическом прошлом и мечта о прекрасном будущем. «Из огня наш хлеб и наши песни, и сами рождены мы из огня», — очень точно сказал молодой белорусский поэт Сергей Законников.

Щедрый, душевный, скромный — народ наш умеет мечтать. И все построенное на земле белорусской: тракторный и автомобильный заводы, радио- и телеаппаратура, корпуса большой химии, самые точные станки, ЭВМ и часы, — все это воплощение смелой мечты, мечты, зажженной в сердце народа великими планами родной Коммунистической партии.

Белорус на земле и белорус в космосе. Поистине гигантский, необозримый путь. Как обретались крылья! Где та точка отсчета, с которой начался взлет! Их немало в истории народа. Но главная — 1917 год. Октябрь. Революция принесла белорусскому краю свободу, дала крылья, открыла широкие просторы.

Когда-то на заре столетия Янка Купала вопрошал: «А кто там идет!» — и отвечал: «Белорусы». Встают, пробуждаются, идут на борьбу, чтоб людьми зваться.

На ста языках звучит сегодня купаловское «А кто там идет!». И весь мир слышит: «Белорусы». Славу нашу несут по многим странам тракторы «Беларусь», наш белорусский зубр, гордо сияя на радиаторах автомобилей, мчится по дорогам Земли, наши сыновья взлетают к звездам.

Идут белорусы. Идет народ. В семье свободных республик-сестер идет Белоруссия — дорогой света и счастья.

А ИНАЧЕ ЗАЧЕМ В ЭТОМ МИРЕ ЖИВУ...

Он награжден Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и ЦК ЛКСМБ, бронзовым значком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». На его вымпеле ударника коммунистического труда приколоты значки «Победитель социалистического соревнования» 1975, 1976, 1977, 1978, 1980 годов. ВДНХ СССР отметила его трудовые достижения бронзовой медалью. Накануне 60-летия ЛКСМБ токарю Минского завода автоматических линий Василию Пекарскому вручили Почетную грамоту Верховного Совета БССР.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ он внимательно слушал выступления представителей станкостроительных заводов страны. На пятый день предстояло выступать самому. В кармане лежал еще в Минске заготовленный, неоднократно правленный, а затем аккуратно, через два интервала отпечатанный на машинке текст выступления. Разбуди Василия среди ночи — отчеканил бы до последней запятой то, что было на той бумажке. Сам он за четыре дня, проведенных в Москве на ВДНХ, услышал много полезных вещей, заполнил блокнот таблицами и схемами. На минуту представил себе, что можно по-

черпнуть из сообщения, которое лежало в кармане, и почувствовал себя неловко. Выходило, что он приехал только брать и ничего не давать взамен.

— Геннадий Васильевич, — обратился молодой рабочий к генеральному директору завода, — я тут вот о чем подумал...

И Василий поделился своими сомнениями.

Геннадий Васильевич Горбунов, прошедший путь от рабочего до руководителя крупного станкостроительного объединения, сам предпочитает говорить с людьми не по-писаному.

— Дай-ка гляну, что у тебя там.

Директор взял текст выступления, прочитал, отложил в сторону.

— Попробуй представить себе, что не тебя пригласили в Москву, а ты сам принимаешь на заводе гостей. Не робей. А бумажку на всякий случай перед собой держи. Если вдруг забудешь о чем...

Василий последовал совету директора, аккуратно разложил перед собой листки, да так ни разу и не заглянул в них во время выступления.

В перерыве подходили к нему рабочие из Москвы, Ленинграда, Свердловска, жали руку, благодарили: «Молодец. Хорошо говорил. Спасибо».

ОТ СТАНЬКОВА до Багрицовщины — рукой подать. Пересек по диагонали когда-то графский, а теперь всецело принадлежащий детдомовским ребятам парк, и вот она — на возвышенности, освещенная лучами заходящего солнца, как на картинке, — Багрицовщина. Теперь Василию все некогда, лишь изредка приезжает он на выходные в деревню, где родились его отец, дед, прадед. И всякий раз, еще издали завидев ее, притихшую, затаившуюся, испытывает какую-то неловкость: кажется, будто батьковщина обижена, что покинул ее, уехал непонятно зачем.

Сколько сказок услышал Василий от своей бабушки Анны Адамовны здесь, в Багрицовщине, — не перечесть. На все вопросы внука был у нее ответ.

— Баб, а баб, а почему Багрицовщина? — спрашивал ее, бывало, Вася. — Даниловичи — понятно, там Данилы жилы, а почему Багрицовщина?

Бабушка гладила внука своей теплой шершавой ладошкой и объясняла:

— А потому, что деревня наша на бугре стоит. Раньше она Бугрицовщиной прозывалась, потом люди ее в Багрицовщину перевели. А в Станькове, слышь, ее уже Борисовщиной нарекли.

— Бабушка, а меня всю жизнь будут Васей звать?

— Всю жизнь, внучек, — заглядывала ему в глаза бабушка. — Всю жизнь. Это только деревни переиначиваются. А люди от роду до самой смерти имя свое носят. Главное — носить, да не износить, детям своим незапятнанным передать.

Не все понимал Вася в бабушкиных рассказах, но слушать ее любил больше всего на свете.

Дед его, Степан Игнатьевич Пекарский, участник финской кампании, освобождавший Западную Белоруссию от белополяков, был призван в один день и час со своим сыном Евгением в дей-

ствующую армию. Тридцать домов Багрицовщины послали на войну с фашистами 18 мужчин. Назад вернулись трое. И среди них Евгений Пекарский. Грудь его была украшена многими солдатскими медалями. На дне вещмешка, завернутые в чистую тряпочку, лежали медали отца. Воевали они в одном отделении, оберегая друг друга от холодного вражеского штыка да горячей пули, прошли не одну сотню километров тяжелыми дорогами войны. На несколько дней остановились у стен старинной польской крепости на берегу реки Нарев. Враг мертвой хваткой уцепился за ее толстые каменные стены и с отчаянием обреченного дрался до последнего. По нескольку раз на день шел полк на штурм. Поднимал свое отделение в атаку и Евгений Пекарский. На исходе пятого дня, когда удалось наконец ворваться в город через брешь, проломленную в стене снарядом, когда завязались уличные бои, которые в сводках назывались кровопролитными, Степан Пекарский пал смертью храбрых...

На высоком берегу Нарева осталась могила отца. Братская могила. А сын, сжав зубы, продолжал нелегкую солдатскую страду. Гнал врага до Берлина.

— ПОНИМАЕШЬ, когда в восьмой класс ходил, стихи прорезались, — сам немало удивляясь этому факту, сообщает мне Василий, сын Евгения Степановича Пекарского. — Сладить с собой не мог. Все в доме спать лягут, а я на кухню. Бывало, до полуночи просидишь — и хоть бы строчка, а другой раз до петухов целую тетрадку испишешь. Никому не показывал. Но девчата-одноклассницы нечаянно мою записную книжку обнаружили и прочитали. «Ты, — говорят, — Василий, поэт. Стихи твои нам очень нравятся. Поезжай в Минск учиться».

— Значит, хотел стать поэтом, а стал токарем?

— Давай скажем по-другому, — останавливает меня Василий. — Не хотел быть плохим поэтом. Так будет правильно.

— А знал ли, что станешь хорошим токарем?

— В том-то и дело, что не знал. Понимаешь, в Минск после школы по инерции двинул. Стихи к тому времени бросил писать, а мысль о Минске осталась. Инерция. Взял и поехал.

— А теперь бы поехал?

— Теперь подумал бы. Что ни говори, а хорошо у нас в Багрицовщине. Один парк чего стоит. А пруд, речка... Красота какая! И до Усы рукой подать. А там рыбалка — линь, окунь, щука...

Василий проводит рукой по лицу.

— Теперь бы я, пожалуй, подумал. Во сне часто деревню вижу. Дерево с перевернутыми корнями.

— С перевернутыми?!

— Старый граф его когда-то по-особому привил, так, что оно корнями вверх растет. О нем журнал «Родная природа» недавно писал. Я, может, потому на токаря выучился, чтобы не быть на него похожим.

— Это как?

— Понимаешь, уехал из дому, а оно мне часто снится. Чудно́ растет. Красота в нем какая-то особая. Говорят, в мире таких де-

ревьев раз, два и обчелся. Будешь в Станькове — листья его потрогай: в одну сторону поведешь — как по рашпилю, в другую — гладкий, нежный лист, хоть к ране прикладывай.

— При чем тут дерево и твоя специальность?

— А при том, что в Минск легко уезжал, а стал в городе жить — домой тянет, сил нет. А приеду на выходной в деревню — чувствую, я там уже не свой. Вот какая штука... Дома, конечно, все по-старому, дома мне рады, дома все родное, близкое... Иду через парк, издали вижу свою Багрицовщину, и она меня замечает, но ясно так чувствую: она-то еще моя, но я уже не ее. Что-то порушилось, оборвалось. Гостем приезжал. Иду от парка, вот он я, весь на виду, а она меня рассматривает как чужого. Чувствовал себя нахлебником.

— А сейчас?

— Пока не стало получаться за станком — все время было такое ощущение, будто перевернут корнями вверх. И даже красоту того дерева постиг уже после, когда научился работать. И все-таки деревня и сегодня приглядывается ко мне, какой я есть... Или это мне только так кажется?

НЕ СРАЗУ стал Василий Пекарский рабочим человеком.

Незаметно пролетел год в училище. По результатам преддипломной производственной практики его отметили как одного из лучших. Вполне мог рассчитывать на присвоение четвертого разряда. Но на экзамене получился конфуз. В экзаменационной комиссии был молодой, только что из института, преподаватель. И надо же было ему спросить у Василия формулу производительности труда. Готовил себя выпускник ко всему, ожидал хитроумных вопросов по технологии металлов, по геометрии резцов, по черчению, наконец, но чтоб спросили о производительности труда — такого он не предполагал. Кто-то из комиссии пытался подсказать. Василий покраснел, махнул рукой и признался, что формулы не помнит. По этой причине вышел из училища не с четвертым, как все круглые отличники, а с третьим разрядом.

В 15-м механическом цехе Минского завода автоматических линий, куда направили Василия Пекарского, требовались токари на участок нормалей. Что такое нормали — скажет любой машиностроитель. Болты, гайки, винты, шпильки и другие на первый взгляд мелочи, без которых, однако, не может обойтись ни один станок, ни один даже простейший агрегат. А надо сказать, участок только на бумаге так называется — участок нормалей. На самом деле попадается тут и работа, требующая от токаря самой высокой квалификации, сметки, умения, мастерства, одним словом. На первых порах именно мастерства-то Василию и не хватало. А поставь любого на место мастера участка, он, ясное дело, доверит сложную деталь человеку с опытом. Такие люди на участке были. Именно им поручалась самая квалифицированная работа. А новичка поставили на болты. Таков удел всех новичков, и ничего тут не поделаешь. Правда, все зависит от тебя самого. Можно, конечно, так всю жизнь и остаться на нормалях. А можно... Хотя что тут гадать: нельзя, можно — живой пример был у Василия перед глазами.

— Дави, Вася, на всю катушку, — подмигивал ему известный всему цеху специалист по нормалям. На участке его называли «асом по болтам». — Мне две красненькие в смену и больше ничего не надо, — говаривал, бывало, этот человек. — Учись, Василий. Хочешь, после смены на «Жигулях» покатаю. Один плюс один будет два. Две красненькие за смену — это, брат, и есть та самая формула производительности, — обнажал он в улыбке крепкие белые зубы.

В такие минуты жалел молодой токарь, что когда-то рассказал «асу по болтам» о случившемся на экзамене проколе.

А надо сказать, что в первые два месяца самостоятельной работы было Василию по-настоящему трудно. Норма, хотя она и занижается для новичков, есть норма. Во сне он не раз убегал от мечущихся в какой-то невообразимой пляске нормалей. Шлепал босыми ногами по подтаявшему снегу, и когда, казалось, вот-вот должна была унести прорвавшаяся через дорогу вода шеренгу подступающих болтов, мутные потоки превращались в сизую стружку, которая охватывала спиралью ноги, не давала сдвинуться с места. Просыпался в холодном поту.

Это был, пожалуй, самый трудный момент в его жизни. Только на третьем месяце впервые выполнил задание.

Однажды к Василию подошел Леонид Мазаник, кадровый рабочий, и предложил походатайствовать перед мастером о том, чтобы тот поручил ему, Василию, работу посложнее. Василий, конечно, обрадовался. Но возникли проблемы с оснасткой, приспособлениями и резцами. У каждого рабочего свой шкафчик для инструмента. Чего там только нет у опытного квалифицированного токаря: и оправки, сделанные не по чертежам конструктора, а по собственному разумению, и сверла, и резцы, заточенные по особому, сугубо индивидуальному рецепту.

— Технология, которую технолог пишет, — это хорошо. Но у каждого уважающего себя токаря технология должна быть в голове, — говорил сосед Василия по станку Виталий Новаковский, известный в цехе мастер своего дела.

Василий эти слова крепко запомнил. Часто случалось: отработает первую смену и остается во вторую: чтобы посмотреть, как колдует у своего станка Николай Симак. Леонида Мазаника, Виталия Новаковского и Николая Симака считает Василий своими наставниками.

Узнал-таки Василий Пекарский секрет формулы производительности. Товарищеская взаимовыручка и высокое профессиональное мастерство — вот ее составляющие.

— А КАК ЖЕ все-таки стихи? — задаю я ему последний вопрос.

— Пишу. До больших поэтов как до неба, но все равно пишу. Для души, для сына своего Сережки пишу. Интересно будет ему узнать, когда подрастет, чем отец в молодости дышал. Как считаешь? — улыбается Василий.

В. АНТОНОВ

Минский тракторный завод... За 35 лет своего существования он выпустил более полутора миллионов тракторов. Свыше семидесяти стран покупают мощные, экономичные и эффективные «Беларуси». Не так давно за успехи в деле международного сотрудничества и развития производства коллектив МТЗ был удостоен международной премии «Золотой Меркурий». В одиннадцатой пятилетке коллектив МТЗ выпустит двухмиллионный трактор!

До Великой Октябрьской социалистической революции из каждых ста белорусов 82 не умели ни читать, ни писать. В Белоруссии не было ни одного высшего учебного заведения.

А сейчас республика перешла ко всеобщему обязательному среднему образованию, более чем в тридцати вузах обучается свыше 170 тысяч студентов, примерно столько же человек учатся в средних специальных учебных заведениях.

ТЕОРЕМЫ КОМРАКОВА

МОЕМУ ГЕРОЮ 32 года. Не только в геометрии решает он оригинальные задачи, но и в жизни старается найти (прежде всего для себя самого) доказательства истин, которые только на первый взгляд кажутся бесспорными. Борис Комраков — лауреат премии Ленинского комсомола Белоруссии, автор нескольких десятков научных работ, профессор кафедры высшей математики Белорусского политехнического института, член Белорусского республиканского совета молодых ученых...

«Монография молодого ученого содержит решение важных классических задач и новые идеи в геометрии, которые, несомненно, будут способствовать расширению спектра математических и физических приложений...»

Лауреат Ленинской премии, член-корреспондент АН СССР Н. В. ЕФИМОВ

Название книги, за которую Борису Комракову присуждена премия Ленинского комсомола Белоруссии, мудреное: «Структуры на многообразиях и однородные пространства». Не всякий специалист, даже знакомый с высшей математикой в пределах институтского курса, разберется, о чем в ней речь. И тем не менее интерес к книге огромный. Она разошлась буквально в две-три недели. Интересуются оригинальной работой, разумеется, в первую очередь коллеги Комракова — математики. Через несколько месяцев после выхода книги — случай редкий — на нее уже ссылалась математическая энциклопедия. Причем имя автора соседствовало в одной из ссылок с именами признанных авторитетов — американских ученых Костанта и Хелгасона, японских Номидзу и Кобаяши, члена французской академии Лихнеровича.

— Работа моя носит характер скорее теоретический. Это исследование на границе алгебры, геометрии и топологии. Но вот в последнюю поездку в Москву узнаю от коллег, что им понадобились мои построения в применении к очень земным вещам.

— Ты и дальше намерен разрабатывать эту тему?

— В ближайшее время, а точнее — после защиты докторской диссертации (наш разговор состоялся еще до защиты. — *В. Я.*) собираюсь в известном смысле начать сначала.

— ?!

— В такой науке, как математика, узкопрактическая польза не является главной целью, а просто есть интерес, есть желание и есть любопытство... Наука — это не спорт, но тем не менее, как и в любой области человеческой деятельности, там есть все, в том числе и спортивные моменты. И всякие другие... И основная

цель — не утратить желания пробовать. «Сумей поставить в яростной надежде на карту все, что накопил с трудом, все потерять и нищим стать, как прежде, и никогда не пожалеть о том...» Хочется свежести восприятия, новой борьбы, новых надежд, побед, поражений...

— И даже поражений?

— Для пользы дела и поражений. Чувства удовольствия, покоя, связанные с победами, никуда нас не зовут, ни на что не подвигают. Трудно себе представить умиротворенного поэта...

— Но у нас разговор о математике.

— Математика — это тоже творчество, это, если хочешь, поэзия, но только она вся в себе.

Представь себе на минуту, что на сцену концертного зала поднимается математик доказывать теорему, которую никто до него не доказывал, представь себе, что осенит его, и прямо на глазах у зрителей найдет он изумительнейшее решение... Но скажи, кто ему будет аплодировать?

— Да, соло на интеграле или ноктюрн на дифференциале в концертном зале не исполнишь.

— Такова специфика нашей работы: результаты ее могут оценить лишь немногие специалисты.

— И все-таки, Борис, что ты имел в виду, когда говорил «начать сначала»?

— Есть такая точка зрения, что дифференциальная геометрия должна сыграть едва ли не решающую роль в некоторых областях физики. Вот я и хотел бы попробовать. Есть единомышленники — мои коллеги, ученики. Есть соображения...

— И есть риск. Где гарантия, что повезет?

— Риск есть. И я отдаю себе в этом отчет. Но есть и выдающийся пример. Известный белорусский математик академик Владимир Петрович Платонов в свое время стал крупнейшим в Союзе специалистом по топологическим группам. Мог и дальше продолжать в том же ключе. Но он решил заняться новыми вещами, которыми у нас тогда практически никто не занимался, — алгебраическими группами. Он был пионером в этой тематике, и, конечно, заранее нельзя было планировать успех. Смена тематики — это всегда риск. Читать новые книги, прорабатывать новые вещи, выйдя из студенческого возраста, — это, знаешь ли, самое утомительное занятие, какое можно только придумать. Сегодня Владимир Петрович крупнейший в мире специалист и по алгебраическим группам. У него это просто замечательно получилось. Тут, кроме таланта, и характер иметь надо.

— И любопытство.

— И любопытство тоже.

«По некоторым оценкам в год публикуется теперь во всем мире четверть миллиона теорем. Даже содержательный остаток этой лавины в большинстве своем малосодержательных публикаций оказывается слишком громоздким, чтобы его могли включить в свой багаж большинство математиков. Поэтому особое значение приобретают общематематические концепции объединяющего характера, позволяющие с единой точки зрения рассматривать разно-

образные, ранее никак не объединенные вопросы... В работе Комракова осуществлена попытка — и удачная! — осознать основные построения дифференциальной геометрии с теоретико-категорных позиций. Автором получены не только конкретные результаты в старых, давно и интенсивно изучавшихся разделах геометрии, но и заложены основы совершенно нового научного направления...»

Лауреат Ленинской премии, профессор МГУ
М. М. ПОСТНИКОВ

В своем классе — а учился Комраков в 50-й минской специализированной математической школе — он не входил по математике (Борис сам так считает) в «призовую тройку». Причиной тому была его впечатлительность: мог единственный из всего класса решить архисложную задачу, а мог замечтаться, вновь и вновь переживая перипетии урока по литературе, и не ответить на простой вопрос учителя. Участвовал в математических олимпиадах, случалось, даже побеждал под настроение. Но до самого последнего момента не представлял себе, чем займется после школы. Сомневался, а его ли это призвание — математика? Ведь и в драмкружке у него получалось, и сочинения писал отменные, да ко всему еще и учитель физики не раз шутя «стращал» Бориса, что перестанет уважать, если тот не поступит в один из самых престижных вузов страны — Московский физтех. Было от чего растеряться. И только буквально накануне приемных экзаменов Комраков решился и подал заявление на мехмат Белорусского университета. Математика победила.

— Где-то на втором курсе начал бороться со своей, как мне тогда казалось, излишней эмоциональностью, наметил для себя планы — что должен успеть в науке, спорте... Если теперь заглянуть в них, то — удивительное дело! — оказывается, большинство пунктов выполнено достаточно четко и даже несколько раньше, чем намечал. Более того: в университете, к примеру, я совершенно не думал, что начну когда-нибудь активно заниматься общественной работой, считал, что это будет мешать моей научной деятельности...

— Что-нибудь изменилось с тех пор?

— По-прежнему считаю, что если ты научный работник, то прежде всего должен выдавать научную продукцию... Но если есть возможность чем-нибудь помочь достойным людям, ты просто обязан это делать, иначе какой же ты ученый...

— Не каждому удается с первой попытки в семнадцать лет стать на путь, который выведет к подлинному профессионализму. Что, если человек в семнадцать лет выберет не ту дорогу?

— Трудно «выписывать рецепт». Семнадцать — возраст парадоксов, прекрасный возраст. Я, например, в семнадцать лет почему-то считал себя созданным для журналистики, по уши был влюблен в физику и где-то в душе недолюбливал математику за некоторую сухость и ограниченность. Чувство противоречия толкнуло на мехмат. Понравилось. Не считаю, что у меня были какие-то серьезные математические способности, но в один прекрасный момент я сказал себе: ты должен стать профессионалом в этой области.

— Легко говорить: «сказал себе». А если собеседник отсутствует? К кому обращаться?

— Собеседника в себе надо воспитывать. Человек лепит себя сам. Кто может заставить вставать в пять утра, делать пробежки даже в плохую погоду, обливаться холодной водой, заниматься по шестнадцать часов в сутки, кроме тебя самого? Надо рассчитывать прежде всего на себя, и спрашивать с себя, и не отчаиваться, потому что плохие моменты бывают у каждого. Если поговорить с людьми, которым удалось что-то сделать в жизни, то окажется, что таких моментов у них было предостаточно, но они смогли преодолеть их. И наоборот — жизнь тех, кто так и не сумел ничего сделать, была большей частью погоней за удовольствиями и праздниками.

— Когда в жизни у человека много праздников — это не так уж плохо.

— А что такое праздник? Мне искренне жаль тех людей, которым в профессии нравятся только праздники — достижения, звания, премии, титулы. Гораздо симпатичнее люди, которые в праздники чувствуют себя неловко, но которым нравится сам процесс работы. Настоящий праздник начинается, когда принимаешься за свое дело. Праздник в душе.

«Книга Комракова произвела большое впечатление на специалистов. Ее результаты внимательно изучались на научных семинарах».

Профессор МГУ Е. Г. СКЛЯРЕНКО

Комраков — математик. И этим интересен. Как интересен бывает человек, сумевший найти и выразить себя в любимом деле.

Находят себя по-разному. Комраков с самого начала старался создать для себя условия исключительные. Посещение лекций для студентов обязательно, а он добился свободного посещения. В виде исключения ректор позволил ему такую «вольность». Нельзя было не позволить: слишком уж очевидной была потребность этого студента постоянно расширять круг своих знаний, к старшим курсам далеко вышедших за пределы университетской программы. В то время как «нормальные» студенты сидели на лекциях, Борис «рыскал» по библиотекам, заказывал по международному абонементу специальные статьи и монографии, заводил знакомства с людьми, читающими по-японски и по-французски (с английского он переводит сам), а еще он воспитывал сына, занимался спортом, читал любимые книги, помогал жене по дому, короче, успевал переделать массу дел.

Что и говорить, любит Комраков создавать для себя условия исключительные. Так случилось и в аспирантуре, в которой его как отличника учебы оставили после университета. Надо было писать диссертацию, сдавать кандидатский минимум, а он, никому ничего не сказав, взял и укатил в Москву со своими соображениями по поводу некоторых математических проблем. В Московском университете Комракову предложили выступить с докладом.

— Поздравляем, молодой человек, все это очень интересно, —

обратился к нему после выступления один из виднейших советских геометров, Петр Константинович Рашевский. — Да вы, собственно, где работаете?

— Учусь в аспирантуре.

— На каком курсе?

— На первом.

— На первом?! Ну-ну... А впрочем, какое это имеет значение, на первом или на третьем. У вас, молодой человек, прекрасная диссертация. Готов дать отзыв или оппонировать, если защита будет в Москве.

Так о Комракове узнали в математических кругах.

Диссертация сама по себе еще ничего не решает. Авторитет ученого среди коллег зависит прежде всего от его вклада в науку.

Комраков участвовал в нескольких представительных семинарах и конференциях, выступал на них, а в 1979 году был среди организаторов Всесоюзной школы — семинара по проблемам дифференциальной геометрии. Недавно Академия наук ГДР пригласила его в числе нескольких математиков на международную конференцию...

Борис помог «остепениться» двум своим ученикам. Один — Игорь Чекалов — преподает в Одессе, другой — Анатолий Власов — работает в БПИ. Дифференциально-геометрические методы, которыми занимается Комраков, начинают играть центральную роль в таких областях теоретической физики, как классическая и квантовая механика, квантовая теория поля. Именно с Анатолием Власовым и хотел бы заняться Комраков так называемыми полями Янга — Милласа, с которыми связывают надежды на решение одной из фундаментальных проблем современной физики — проблемы построения «единой теории поля».

— Борис, у тебя большой опыт самостоятельной работы над книгой. Открой свои секреты. Как научиться, не теряя попусту времени, добывать новые знания?

— Дело в том, что мне сам процесс обучения не приносит никакого удовольствия. Учиться, прорабатывать новые книги — это суровая проза. Не то что задачи решать. А раз так, то сам период обучения надо сокращать до минимума. К чему, скажем, читать о какой-то теории в учебнике, если можно ознакомиться с ней в оригинальной работе или, еще лучше, побеседовав с автором по данной теме. Раз уж хочешь тягаться с профессионалами, то и учись непосредственно у них.

— А какие требования предъявляет математика к человеку, серьезно занимающемуся этой наукой?

— Она сначала заставляет увлечься ею, а потом властно забирает всего тебя... Есть такая шутливая формула: любитель — это тот, кто делает плохо, но с удовольствием, а профессионал — хорошо, но без удовольствия. Так вот, желательно делать хорошо и с удовольствием. «Вычислять волнуясь» — так определил известный советский математик Юрий Иванович Манин тот предел, за которым начинается настоящий диалог с настоящей математикой. Вычислять волнуясь — это, по-моему, прекрасно.

Валерий ЯНОВСКИЙ

ХАТЫНЬ

ХАТЫНЬ — это символ великой трагедии, той, что на века сохраняется в народной памяти и в сердцах каждого нового поколения отдается не меньшей болью, чем в сердцах тех, кто пережил все это, был свидетелем страшных событий. Хатынь так же, как и Брестский мемориал, Курган Славы, Ушачский комплекс и многие другие памятники, является одновременно симво-

лом мужества и героизма народа, его непокорности черным силам фашизма, нашествию захватчиков, памятником всенародной партизанской борьбы.

Звонят колокола Хатыни... Звонят над сожженными хатами, над судьбами людей, что знали свободу и счастье. Звонят над братской могилой односельчан, над могилами детей, мир которых еще ограничивался ближайшим лесом.

Звонят колокола над кладбищем 186 деревень, где не осталось ни одной семьи, где на пепелищах не построено ни одной новой хаты... Названия сожженных деревень остались только в памяти народной да на надгробных плитах Хатыни — на кладбище деревень.

Звонят колокола над мемориальной картой Белоруссии, на которую нанесены сотни других, тоже сожженных, а потом возрожденных деревень.

Звонят колокола над «Стеной памяти», где в проемах — названия лагерей смерти: их в Белоруссии было 260. Звонят над всей Белоруссией, потерявшей 2 миллиона 230 тысяч человек. Каждого четвертого! Как символ живых шумят три березки и горит Вечный огонь над могилой каждого четвертого.

Звонят колокола Хатыни. Звон их сливается с Бухенвальдским набатом, с траурной музыкой над могилами жертв Лидице и Орадура — и звучит он как пламенный призыв: «Люди, будьте бдительны!»

Хатынский мемориал стал местом всенародного поклонения. Каждый день, в будни и праздники, течет сюда людская река. Приходят из окрестных деревень и приезжают из самых дальних уголков нашей Родины представители всех народов, всех наций, люди разных возрастов — седые ветераны и их внуки, которые только из книг да фильмов знают про ужасы войны. Здесь, в Хатыни, они в полной мере осознают весь этот ужас. Здесь каждый человек дает клятву самому себе: жить так, работать так, чтобы сделать все возможное для того, чтоб никогда не повторялась подобная трагедия.

В Хатынь приезжают люди со всех континентов: Европы, Америки, Африки, Азии... Рабочие и президенты, фермеры и бизнесмены. И никто не остается равнодушным. Потому что остаться равнодушным перед этой святыней, перед могилами детей — это значит потерять человеческий облик, как потеряли его те, что творили хатыни на земле Польши, Белоруссии, Украины, России, Франции, — гитлеровцы, обуреваемые маниакальной идеей «исключительности» арийской расы. Теперь мир знает, что представляли собой эти «сверхчеловеки», их философия, их «практика» завоевателей и убийц. К сожалению, беспощадный суд народов над фашизмом, вечное проклятие Гитлеру и всем, кто осуществлял его сумасбродные идеи, не стали наукой для всех и каждого. История забывается. В мире еще остались силы, которые порождают подобные античеловечные «философии» и фашистскую практику завоевания чужих земель, уничтожения целых народов. Это силы империализма, который в результате борьбы народов

утратил свои позиции и готов пойти на любые авантюры, лишь бы удержать власть капитала; это прислужники империализма — сионисты и неофашисты всех мастей и оттенков; это маоисты, которые сегодня сомкнули свои ряды с самыми оголтелыми «ястребами» империализма и с фашистской идеологией о неизбежности войны, уничтожении сотен миллионов людей — во имя великоханьского гегемонизма.

И потому памятники трагедии и славы нашего народа приобретают сейчас особый смысл и становятся символами.

Гости из ближайших и дальних стран, люди разных убеждений, что приезжают в Белоруссию, Минск, посещают не только трагический памятник Хатыни, они знакомятся с Курганом Славы, экспонатами Музея истории Великой Отечественной войны. Там они могут увидеть и убедиться, как советские люди любят свою социалистическую Отчизну, с какой преданностью и мужеством они умеют защищать свою землю, народную власть, все, что дал им Великий Октябрь.

И гости наши не могут не увидеть, чего достиг наш народ за тридцать пять мирных лет. В руинах и пепелищах лежали города и села Белоруссии после фашистского нашествия. Смерть и горе принесли гитлеровцы почти в каждую семью. Но это не надломило силу и волю народа. Людей вдохновляла Великая Победа, вдохновляли идеи Ленина, мудрая политика партии, дружба и братская помощь всех советских народов. С этой помощью белорусы быстро залечили раны, построили города, создали могучую современную индустрию, преобразили села, саму землю, подняв ее плодородие, добились нового расцвета науки, литературы, искусства, культуры. Счастье и благополучие пришли в каждую квартиру, в каждый дом.

Народ, изведавший все ужасы войны и столько построивший в мирное время, очень дорожит миром.

Коммунистическая партия, Советское правительство, выражая волю советского народа, проводят политику разрядки, политику укрепления мира и дружбы со всеми народами и странами. Политика эта дала богатые плоды.

Но пока натовские генералы заполняют свои арсеналы крылатыми ракетами и нейтронными бомбами, пока последователи Мао кланяются империалистам, чтобы купить оружие и размахивать этим оружием, угрожая миру новой войной, Коммунистическая партия, народ укрепляют Советские Вооруженные Силы, овеянные боевой славой. Наша армия, наш флот вместе с армиями стран социалистического содружества надежно стоят на страже мира.

Посещая Хатынь, нельзя не думать обо всем, что происходит в сегодняшнем мире.

Хатынь не только памятник скорби народа и его славы. Хатынь не простой музей, это живая школа патриотического воспитания многих поколений людей, которые учатся понимать, что самое дорогое на земле — мир и труд. Они — как солнце, как воздух. Только в мире и труде может быть жизнь, счастье, прогресс!

И. ШАМЯКИН

СУД ПАМЯТИ

ДЕБЮТИРОВАЛ он прекрасно. Прошло почти десять лет со дня той памятной премьеры, а сквозь дымку нечетких, размытых воспоминаний вдруг с резкой рельефностью выплывет выжженная солнцем пядь земли среди огромной степи, пыльный, удушливо-знойный полдень и на фоне этого аскетичного пейзажа — два юных существа, Маша и Витя, трогательно наивных и заботливо нежных, еще ничего не ведающих о любви, но уже пронизанных предощущением ее высоких и чистых токов.

Сегодня многие сюжетные подробности фильма «Про Машу, про Витю и морскую пехоту» уже изрядно подзабылись, но остался в памяти мальчик Витя — неисправимый правдолюбец и романтик, маленький рыцарь справедливости и добра. И осталась атмосфера фильма, немножко лукавая и печальная, смешная и наивная, располагающая к себе, как улыбка доброго собеседника.

Так вошел в кино тогда еще совсем молодой режиссер Михаил Пташук. За плечами у него было Щукинское училище, стажировка у Юрия Любимова, спектакли на сценах Москвы и Казани. Потом — Высшие режиссерские курсы в мастерской Гии Данелия и первый фильм, снятый на Одесской киностудии, который и вызвал у меня такие слегка сентиментальные чувства. Впрочем, покорил он не только зрителей и критиков, но и членов жюри всесоюзных кинофестивалей, на которых лента собрала богатый урожай наград. Кажется, их было пять или шесть, а потом к ним прибавилась еще одна, полученная на международном смотре в Испании. О молодом режиссере заговорили, ему пророчили интересное будущее...

А потом он поставил картину — в той же манере и тональности, почти на ту же тему, но она вызвала уже другие эмоции. «Лесные качели», созданные режиссером на «Беларусьфильме», немилосердно «скрипели» при каждом сюжетном взлете и грозили вот-вот разлететься. То, что составляло поэтичную дымку в первом фильме, необходимую для понимания характеров юных героев, во втором фильме стало назойливым и демонстративным приемом. Нельзя было не отметить в этой картине свежего киноязыка, напряженной образности, но качели все же «раскачивались» вхолостую.

Куда пойдет режиссер дальше? Что предпримет? Ответы на эти вопросы мог дать только очередной фильм. А тогда одно лишь казалось незыблемым: у режиссера определялся творческий почерк, ему подвластны струны — лирические, краски — акварельные, сюжеты по преимуществу детские.

Вот тогда-то Михаил Пташук и сделал выбор: он решил снимать фильм о войне. Сегодня можно только догадываться, какой смелости и мужества, каких сомнений и трудных раздумий потребовал от него этот шаг. После неудачи на знакомом, привычном материале вдруг «шарахнуться» в другую тему, право на которую еще надо доказать...

А между тем решение снимать фильм «Время выбрало нас» только на первый взгляд могло показаться неожиданным, оно было по-своему выношено и выстрадано, по-своему пережито. Более того, думается, что рано или поздно он должен был снять такой фильм.

Нам представляется естественным, само собой разумеющимся, когда о войне рассказывают люди, прошагавшие ее огненными дорогами, оставившие своих друзей в братских могилах на горьком пути от Бреста до Москвы и от Москвы до Берлина. Но было бы неверным думать, что великая тема народного подвига может тревожить только ее участников и очевидцев. Нет, она властно притягивает и молодых художников.

Михаил Пташук принадлежит к тому поколению, которое война на исходе, на излете, но все же задела своим огненным дыханием, коснулась ощущением всеобщего горя. Он родился в 1944 году, в погребе на окраине деревни, в котором мать пряталась от отступающих гитлеровцев. Тогда они чудом остались в живых, а многим односельчанам выпала иная участь. Конечно, обо всем этом сегодня Пташук знает только по рассказам матери, но отметина в его душе не могла не остаться...

Приступая к постановке фильма «Время выбрало нас», и режиссер, и вся съемочная группа отдавали себе отчет в том, какую ответственную задачу брались они решать. Можно снять плохой фильм о сегодняшнем дне, но плохой фильм о войне — это уже не просто творческая неудача... Это равносильно забвению прошлого. Поэтому с самого начала работы съемочная группа придерживалась одного надежного ориентира: фильм вырастал на документальной основе, в его художественную ткань органично вошли реальные материалы военного времени. Перед началом съемок режиссер подробно изучил множество книг по истории партизанского движения, поднял горы архивных документов, сводок, приказов, шифровок. Пришлось подновить знания немецкого языка, постигать основы военного дела, разбираться в системах вооружения, знаках отличия. Все это потом помогло свободнее ориентироваться на съемочной площадке.

У меня сохранилось интервью с режиссером, взятое на съемках, когда «даль свободная» киноромана еще неясно вырисовывалась и для него самого, и для киностудии. Вот небольшой фрагмент из этого интервью:

— С каждым годом фронтовиков остается все меньше, и каждое новое произведение о войне должно быть не только словом благодарности нашим отцам, но правдивым свидетельством об их подвиге.

Наш фильм — это рассказ о том, как зарождалось партизанское движение. У нас было много картин, в которых показаны боевые действия лесных мстителей, существует даже довольно распространенный тип «партизанского кинобоевика» с лихими погонями, отчаянными атаками, хитроумными налетами. Нас же интересует другое: те реальные противоречия, трудности, исторически и пси-

хологически неизбежные, в преодолении которых рождалось партизанское движение.

Есть в сценарии такой эпизод: один из героев фильма, профессор-историк, должен ответить на вопрос, где же находится в этой войне то поле Куликово, на котором решится исход сражения? Он, конечно, еще не знает, что будут впереди и великое противостояние под Москвой, и Сталинградская битва, и Курская дуга, но главный вывод для себя уже сделал: Куликово поле каждый раз пролегает там, где человек нашел в себе силы повернуться лицом к врагу и принять бой.

Этот небольшой эпизод стал для нас своеобразным ключом к фильму в целом. Всем ходом своей картины мы старались подчеркнуть мысль о том, что наша земля превратилась в огромное Куликово поле, на каждой пяди которого решалась судьба страны.

Перечитывая сегодня, спустя несколько лет после премьеры, эти строки, отчетливо видишь, что́ из задуманного удалось, а что нет, где поиск шел в нужном направлении, а где — в ложном. Конечно же, фильм местами отдает тем самым «боевиком», которого режиссер так опасался. Конечно же, в фильме есть расхожие места, традиционные сюжетные повороты, взятые «напрокат» из других фильмов. Но вместе с тем есть в нем и смелая, во многом удавшаяся попытка эпического кинорассказа о том, как из отдельных, сперва крохотных очажков сопротивления врагу разгоралось пламя всенародной борьбы против фашизма. Начавшись как фильм приключенческий, отдавший щедрую дань всем условностям, присущим этому жанру, он постепенно перерос в фильм-хронику, фильм-свидетельство о народном подвиге.

— Мне кажется, — вспоминает один из драматургов картины, заслуженный деятель искусств БССР Александр Петрашкевич, — что работа над картиной стала для Михаила не только школой профессионального, но и нравственного мужания. Он вырастал от серии к серии и как режиссер, и как человек. Поворотной в этом смысле, думается, стала сцена сожжения деревни из третьей серии, навеянная судьбой Хатыни и сотен деревень, разделивших эту трагическую участь. Помню, внимание режиссера привлекла тогда маленькая чистая старушка, которая, казалось, была одета очень нарядно для такого эпизода. Миша подошел к ней и предложил сменить одежду, на что она ему ответила: «Не надо ничего менять, меня в этом сжигали». Этот факт буквально перевернул режиссера, он сразу посерьезнел, внутренне подобрался, в полной мере ощутил свою ответственность за каждый кадр.

Действительно, последние серии картины глубоко и серьезно волнуют зрителей, они обрели должную высоту, соответствующую теме, фильм в итоге вышел на глубокие мысли и серьезные обобщения. Успех новой ленты был единодушным: о ней сразу же заговорила критика. В 1980 году группе ее создателей была присуждена премия Ленинского комсомола. Но еще раньше оценку фильму дали зрители. Буквально через несколько дней после премьеры ленты по Центральному телевидению на студию хлынул поток писем с откликами, советами и настоятельными предложениями продолжить телесериал.

— Мы, признаться, не ожидали, — говорит Пташук, — что фильм вызовет такую заинтересованную, теплую волну зрительских писем. Больше всего меня поразила в них предельная искренность высказываний, незнакомые люди делились с нами своей

неутихающей болью, своей негаснущей надеждой. Меня буквально потрясло письмо из Мордовии от женщины по фамилии Пташук. В первые дни войны под Брестом она потеряла своего сына и до сих пор не имеет никаких сведений о нем. Материал фильма, в особенности первые серии, был в чем-то сходен с тем, что ей пришлось пережить, и она решила, что я могу быть ее сыном... Нашлись однофамильцы и у героев картины.

Новой работой режиссера стала картина «Возьму твою боль» по одноименному роману народного писателя Белоруссии И. Шамякина. Этот фильм по-своему продолжает, развивает главную тему Пташука. Это вновь размышление об истоках нашей Победы, о нравственном долге живых, наследующих судьбы тех, кто не вернулся с войны. Только на этот раз взята иная — лирическая, исповедальная, а потому и особо пронзительная интонация.

— Я давно мечтал поставить картину о возвращении человека к своим истокам, — рассказывает Пташук. — Порой даже представлялась такая сцена: приходит человек к отчему дому, трогает рукой калитку, а она заросла травой...

У главного героя фильма Ивана Батрака (его роль исполняет В. Гостюхин) нет дома, в котором он родился. Во время войны фашисты сожгли хату, а на пепелище расстреляли мать, сестру, отца. И осталась у чудом уцелевшего Иваньки только затерявшаяся в лесу сторожка, где он прятался от врагов. Прошли годы, и вот Иван Батрак идет по заросшим тропинкам, трогает рукой забытую калитку и вспоминает прошлое...

В фильме благодаря эмоционально-раскованной режиссуре органично сплавлены день нынешний и день минувший. Осень 1942 года увидена в нем глазами Ивана, который с болью воссоздает и заново переживает давнюю трагедию. Но Иван не только по-новому осмысливает прошлое. Свершается как бы суд человеческой памяти: так ли жил все эти годы, как велит совесть, как велит долг перед погибшими? И если заросла калитка сторожки, то память человеческая не может, не должна зарастать травой забвения. Об этом режиссер и снял свой фильм.

Мне довелось видеть премьеру этого фильма в деревне на Брестчине, где родился режиссер и куда он считает своим долгом привезти свою очередную картину. На этот раз зал был переполнен, и не только потому, что привезли картину земляка. Сама идея картины глубокой скорбно-торжественной мелодией отозвалась в душах людей, которые благодаря магической силе экрана вернулись в прошлое, заново пережили его величие и боль. Но, пожалуй, самое трогательное на этой премьере было не напряженное внимание морщинистых старушек, надевших праздничные одежды, и не рассудительное молчание бывших партизан, а живое волнение совсем юных зрителей. Да, им нужны фильмы лирические, приключенческие, условно-комедийные, с которых как раз Пташук и начинал. Но не в меньшей мере им нужны и картины трудные, горькие, вызывающие нравственное потрясение. Им нужны фильмы о нашем военном прошлом, без которого так трудно понять сегодняшний день и оценить величие дня завтрашнего... Кажется, это хорошо понимает молодой режиссер Михаил Пташук, который уже много рассказал и еще, наверное, немало расскажет о силе, которую дает человеку прикосновение к героическому времени.

Л. ВАСИЛЬЕВ

...Тысячи людей беспрерывным потоком шли сюда, на 21-й километр Московского шоссе, они бережно несли землю, политую кровью воинов-освободителей. И вырос величественный Курган Славы — в честь выдающейся победы советских войск, которые при активном участии партизан разгромили крупнейшую группировку гитлеровских войск, развивая наступление на запад, полностью очистили белорусскую землю от фашистской нечисти.

Днем эти парни и девушки стоят за станками, управляют горным комбайном, работают в лабораториях, конструкторских бюро, на фермах, водят тракторы и автомашины. А вечерами меняют профессию и становятся актерами, солистами, танцорами... Белорусы любят искусство. В кружках художественной самодеятельности занимаются сотни тысяч энтузиастов народного творчества. В их распоряжении — клубы, Дома и Дворцы культуры в каждом городе и селе...

СЧАСТЬЕ КРЕСТЬЯНКИ ШАДЮЛЬ

КОГДА Алину Брониславовну Шадюль приглашают выступить перед школьниками, она идет на такие встречи всегда с волнением. Вопросы у ребят бывают разные и самые неожиданные. Одна восьмиклассница настойчиво просила: «Расскажите о самом счастливом дне».

Сразу и не ответишь, таких дней в ее жизни было немало. Никогда не забудет Алина Брониславовна, как ей вручали медаль ВДНХ СССР, как она поехала в Москву на съезд профсоюзов. Или день, когда ее принимали в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Это особенные события. А было много счастливых дней и раньше и позже в самые, что называется, обычные будни. Вот в хозяйстве полностью механизировали ферму и внедрили способ прогрессивного доения... Или иное, бесконечно счастливое — рождение Людочки...

Счастливым был и тот далекий день, когда ей, восьмикласснице, вручали комсомольский билет. Помнится, секретарь райкома спросил тогда, кем она собирается стать, когда закончит школу, и Алина бойко ответила: «Пойду работать на ферму!» Ей тогда почему-то показалось, что никто не воспринял ее слова всерьез, мол, не первая говорит, а стоит получить аттестат зрелости, как след твой простынет в деревне. Секретарь райкома улыбнулся доброжелательно: «Правильно, Алина. Сначала тяжело будет. Но скоро на фермы придет механизация...»

Алина не оставила село. Она пришла работать на ферму. И стала именитым животноводом не только в родном Вороновском районе, но и во всей Гродненской области.

Когда мы с ней встретились, разговор зашел о выборе профессии.

— Я так считаю: счастье — понятие многогранное, — говорила Шадюль. — Приняв твердое решение, кем быть, я

уже тогда, в райкоме, почувствовала, что выбрала себе дело важное и нужное. И вот это чувство живет в моей душе всегда, помогает нередко преодолевать крутые перевалы, решать сложные жизненные проблемы.

Никогда не забудет Алина свою первую наставницу — Розалию Брониславовну Пашкевич. С самого начала, как только девушка пришла на ферму, опытная Пашкевич окружила ее заботой и вниманием, помогала, как родная мать, советовала, делилась своим опытом. Не только Шадюль, но все бывшие школьницы учились мастерству у таких опытных доярок, как Станислава Викентьевна Михно, Леокадия Станиславовна Струковская, Анна Семеновна Кореник.

Хозяйство взяло курс на специализацию, концентрацию и интенсификацию сельскохозяйственного производства. Начали с наиболее выгодных отраслей. Ими стали откорм свиней и молочное животноводство.

Вопрос с организацией производства свинины решился сравнительно легко. С молочным животноводством было куда труднее. Доили коров и одновременно проводили механизацию ферм. И вот на месте былых неприспособленных помещений вырос крупный современный комплекс, рассчитанный на 680 коров.

На комплексе созданы все условия для плодотворного труда. Есть клуб с киноустановкой, библиотекой, телевизором, бытовыми помещениями, профилакторий с медицинской аппаратурой. На работу и с работы людей привозит и отвозит автобус.

Свою работу Алина Брониславовна очень любит... Как-то раз одна девушка сказала: «Не представляю, как можно найти что-то увлекательное в таком труде — каждый день одно и то же. Однообразно, скучно».

Откровенно говоря, Алине Брониславовне стало жаль девушку. Она хорошо понимала: коль душа не лежит к работе, не найдешь романтику и за сотни, тысячи километров от родных мест, куда бы ни поехал, за что бы ни взялся. А человеку увлеченному, напористому скучать некогда. Теперь, после XXVI съезда КПСС, перед животноводами стоит ответственная задача: дать молока не только больше, но и высокого качества. А это не очень простое дело. Борьба за качество требует ответственности на каждой операции, глубоких знаний — зоотехнических и инженерных.

Успешному развитию молочного животноводства в хозяйстве содействует прежде всего то, что трудится здесь дружный коллектив, который отлично знает свое дело. Кроме Алины Шадюль, в бригаде два мастера машинного доения — Анна Кореник и Леокадия Шишко. Они обслуживают 400 коров. Про такое раньше и не думали... Сначала доили тремя аппаратами, затем — четырьмя, пятью. Первыми в республике перешли на доение коров сразу шестью аппаратами. Возросла производительность труда, снизилась себестоимость, высвободились люди...

Да, у Алины Брониславовны было в жизни много счастливых дней. Радовалась она вместе со своими подругами в конце прошлого года: за двенадцать месяцев каждая надоила почти по 3800 килограммов молока. Обязательства, взятые в честь форума

коммунистов страны, они выполнили досрочно.

Алина Брониславовна Шадюль — лауреат Государственной премии СССР.

Она рассказывает:

— До мелочей помнится бесконечно дорогой для меня день. Перед глазами — мои наставники... Обнимаю, делюсь радостью с подругами. Спасибо вам, дорогие мои, высокая награда — это и ваша награда. Меня, простую крестьянку, поздравляли известные люди из Москвы, Минска, прислал телеграмму министр сельского хозяйства БССР, пришло теплое письмо из редакции журнала «Крестьянка»...

Коммунист Алина Брониславовна Шадюль, оператор машинного доения экспериментальной базы «Погородно» Вороновского района, лауреат Государственной премии СССР, постоянно находится в шеренге правофланговых.

...Династия Шадюлей часто собирается вместе за одним столом, приходят в гости соседи, друзья, односельчане. Все они связали свою судьбу с родными уголками, с почетным крестьянским трудом. Муж Алины, Геннадий, — механизатор. Брат Станислав — полевод, начальник производственного участка, его жена Фелиция — животновод, второй брат, Иван, — шофер. Сестра Юзефа и ее муж трудятся на свиноводческой ферме. Двое братьев Геннадия — шоферы. Их жены тоже работают на селе...

У всех растут дети. Они переймут от своих родителей самое лучшее и шагнут дальше, к новым высотам, чтобы в труде познать радость и счастье.

Алесь БЕРЖИНСКИЙ

БАМ — СТРОЙКА ВСЕНАРОДНАЯ

КИЧЕРА

КОГДА-ТО ЗДЕСЬ, в отрогах Байкальского хребта, была глухая бескрайняя тайга, и ходили по ней лишь самые сильные и смелые охотники. Частенько доводилось им встречаться на узеньких тропках и вступать в поединки с хозяевами тайги — медведями, и не случайно одна из протекающих здесь рек была названа местными жителями Кичерой — медвежьим местом.

А место здесь замечательное. Белоснежные пики гор упираются в синее небо, густо растут нарядные березки, стройные сосны, лиственницы, а неподалеку река, прихватывая с собой свисающие ветки пышной сирени, бежит, торопится на свидание к седому Байкалу. И бамовский поселок, названный ее именем, удачно вписался в облик окружающей природы, дополнил ее и обогатил новыми штрихами....

Известно, что сейчас красивым поселком на БАМе уже никого не удивишь. А вот Кичере удивляются, хотя это один из самых молодых поселков, рожденных магистралью века. Начало его биографии было положено в апреле 1978 года, когда сюда прямо из Москвы прибыл на

строительство БАМа Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVIII съезда ВЛКСМ. В составе его были посланцы комсомола Белоруссии, Литвы, Латвии, Ленинграда, Молдавии, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края. Словом, поселок с самого своего рождения стал многонациональным, и это в определенной мере отразилось на его облике. Молдаване, например, построили магазин и оформили его в своем стиле, а белорусские ребята возвели добротное здание столовой и написали над входом: «Прыемнага апетыту!»...

В мае 1979 года газета «Правда» писала о Кичере: «Поселок спрятался в гуще сосняка. Рубленные из бруса дома как бы отгорожены друг от друга стеной чистого леса. Здесь топор проходил аккуратно, по-хозяйски».

Тогда Кичере исполнился всего лишь год. Сейчас поселок вырос, раздвинул свои границы, стал одним из крупнейших на Бурятском участке БАМа. Большинство домов имеет весь комплекс городских удобств. Откровенно говоря, я удивился, когда, навестив земляка, известного здесь бригадира Ивана Дрозда, увидел в его квартире ванную. Все-таки это не совсем обычно — ванная в тайге. Необычно, но здорово. Иван трудится на БАМе давно, был плотником, лесорубом, недавно перешел на один из самых трудных участков — бригадиром в карьер. Его дочь Олеся уже ходит в детский сад, а сыну Илье всего шесть месяцев. «Подрастет, возьму его в свою бригаду», — шутит Иван.

Несколько тысяч человек двадцати национальностей проживают сейчас в Кичере...

XXVI СЪЕЗД КПСС поставил четкую и ответственную задачу: открыть в одиннадцатой пятилетке движение поездов на всем протяжении Байкало-Амурской магистрали. Решение этой задачи зависит в первую очередь от строителей самого сложного и трудного участка дороги — Бурятского. Это хорошо понимают бамовцы Кичеры. Они любят и умеют работать с огоньком, напористо, инициативно.

Нет сейчас такого участка стройки, где бы не трудились посланцы комсомола Белоруссии. Сразу после прибытия в Кичеру вошли в состав бригады Вячеслава Аксенова командир белорусского отряда Николай Шамына и комиссар отряда Геннадий Лучина. До отъезда на БАМ Николай работал наладчиком на Минском тракторном заводе, куда пришел после службы в рядах Советской Армии в 1973 году. В коллективе тракторозаводцев он вырос, приобрел несколько профессий, стал коммунистом. Геннадий прошел школу профессионального мастерства на Минском заводе автоматических линий, работал там мастером, стал кандидатом в члены КПСС. В партию его принимали коммунисты Кичеры, сейчас он член партбюро СМП-608. С полным правом может гордиться своими посланцами — молодыми рабочими Тамарой Мороз, Геннадием Синицыным, Геннадием Политыко — коллектив минского производственного объединения «Горизонт». Прибыв в составе белорусского отряда в Кичеру, они не дрогнули перед трудностями, с честью выдержали экзамен на зрелость и снискали добрую славу.

Нелегко парням в таежных условиях, ну а девушкам и того труднее.

— Сейчас даже не верится, что уже три года позади, — говорит Людмила Пигуль. — Здесь каждый год трудный и памятный, это точно. Разве забудешь, например, день приезда, первое знакомство с поселком, которого, по сути дела, еще не было. Вряд ли нужно говорить о том, что это непросто — встретиться с тайгой лицом к лицу, столкнуться с таежным бытом. А первые дни работы... Поначалу я была в бригаде лесорубов. Ну, деревьев, конечно, не валила, — готовила ребятам обеды. Но это тоже не так просто, как может показаться. Готовить приходилось не на кухне, где и газ и вода под руками. Вместо плиты был костер, а воду получали из растопленного снега. И всегда нужно было успевать вовремя сварить обед «семейке» человек эдак в двадцать... Вроде успевала и была тем счастлива... Однажды в канун выходного дня поехала по делам в Нижнеангарск. К вечеру собралась домой, в Кичеру, а машин не было. Решила идти пешком, надеялась, что ребята еще не уехали с трассы и подберут меня. Иду, кругом глухой лес, становится все темнее. Жутковато стало. Вдруг, слышу, рядом чьи-то шаги... Глянула — и испугаться даже не успела. Метрах в десяти, не дальше, шли три медведя — папаша, мамаша и малыш. Убегать в таких случаях нельзя, медведь может броситься вдогонку, а бег у него быстрый... Я продолжала идти вперед. И «спутники» мои продолжали свой путь, изредка поглядывая в мою сторону. Не знаю, чем бы все это закончилось. Сзади засветились фары машины, шла «вахтовка», а в ней наши ребята...

Людмилу не испугали трудности таежной жизни. Она всегда стремилась на самый ответственный участок стройки. В разгар строительства поселка пошла работать на пилораму, стала победителем соревнования. И по-настоящему счастливым был для нее летний день 1979 года, когда коммунисты Кичеры приняли ее в свои ряды.

СЕГОДНЯ КАЖДОМУ из бойцов отряда есть что вспомнить и о чем рассказать. Разве забудешь, как в лютый мороз, в жару и непогоду выходили в тайгу рубить просеку, прокладывать путь магистрали. Работали нередко по пояс в снегу, вымокшие до последней нитки, но никогда не унывали, упорно пробивались вперед, шутили: «Отоспимся в персональном вагоне скорого поезда Усть-Кут — Комсомольск-на-Амуре». Аксеновцы соревновались с бригадой лесорубов Александра Рябкова, и этот их соперник был не из слабого десятка. Семнадцатилетним пареньком приехал Александр на строительство дороги Тюмень — Сургут, потом строил трассу Сургут — Нижневартовск, и вот вместе со своей бригадой прибыл на строительство БАМа, в числе первых объектов сооружал станцию телевизионной связи «Орбита», общежития в Кичере, был первым на Бурятском участке удостоен премии Ленинского комсомола.

Сейчас в Кичере все учатся — на своих рабочих местах, в школах, техникумах, вузах. В 1979 году школу рабочей молодежи окончили 25 человек, в нынешнем году сдадут экзамены на аттестат зрелости еще 36 строителей.

Кичера живет и трудится...

В. ПАВЛОВИЧ

ШКОЛА УМЕЛЬЦЕВ

Немудрен инструмент инкрустатора: скальпель да обыкновенная соломка. Золотистые стебельки терпеливо укладывает на куске фанеры Людмила Мамчич. И постепенно появляются леса и поля, парящие высоко в небе аисты, ласковое весеннее солнце. Бесхитростна, но трогательна созданная ею композиция «Счастье». В ней чувствуется вкус и умение будущего народного умельца.

Будущего — потому что пока Люда лишь осваивает свою профессию в гомельском ГПТУ № 126 народных художественных промыслов. Здесь готовят инкрустаторов, резчиков по дереву, вязальщиц, вышивальщиц, ткачих. Они призваны продолжать ремесла, дошедшие к нам от дедов и прадедов. Чтобы стать их достойными наследниками, ребята изучают историю своего народа, традиции творчества. И конечно же, много трудятся за пяльцами, кроснами...

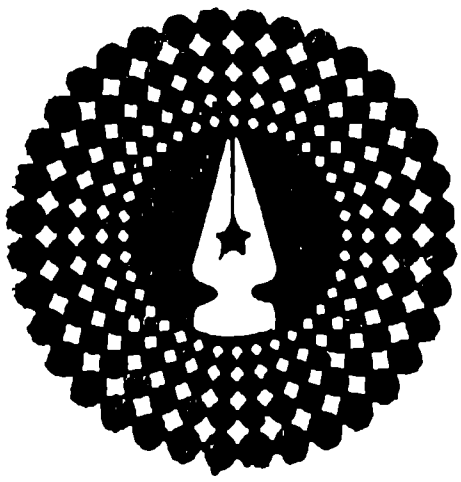
В училище созданы хорошие условия для учебы. Есть здесь прекрасные производственные мастерские, кабинеты, оснащенные разнообразными техническими средствами обучения. Учащиеся часто встречаются со знаменитыми народными умельцами белорусского Полесья, перенимают их опыт.

ГПТУ № 126 открыто сравнительно недавно, но работы его воспитанников уже известны за пределами республики. Изделия ручного и переборного ткачества, резьба по дереву, художественная вышивка и другие изделия экспонировались на международных выставках, представлены они и на ВДНХ в павильоне «Профтехобразование СССР».

За работой — будущий инкрустатор Людмила Мамчич.

«Добро пожаловать!» — так по традиции встречают белорусы гостей, преподнося им хлеб-соль. В этой традиции отражена душа белорусского народа — трудолюбивого, щедрого и искреннего с теми, кто приходит на его землю добрым гостем. По-белорусски гостеприимное приглашение звучит особенно ласково: «Сардэчна запрашаем!»

Номер «Товарища», посвященный Белоруссии, подготовлен редакцией республиканской молодежной газеты «Знамя юности». В номере использованы фотографии фотохроники БелТА.



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

МАСТЕР, ВОСПИТАЙ ЧЕЛОВЕКА!

Иван ЛЕПИН

ТРИНАДЦАТАЯ ГРУППА

Бандерольку ему я отправил на училище, нисколько не сомневаясь, что он попрежнему трудится там же, учит ребят-подростков токарному делу. В бандерольку я вложил свою книжку стихов с автографом: «Филиппу Петровичу Любушкину — с благодарностью за то, что сумел вывести меня и моих товарищей в люди».

Дней через десять я получил письмо, написанное на двойном тетрадном листе в клетку. Знакомый корявенький почерк... Сколько отцовского тепла, доброты было в этих строчках!

Он и впрямь продолжал работать в училище. Только теперь оно называлось уже не ремесленным, а профессионально-техническим.

Меня он помнил («Это вас чуть было не затянуло в станок за опущенную подвязку шапки»). Благодарил за книжку, обещал почитать, в гости приглашал.

Раз прочитал я письмо Филиппа Петро-

вича, другой, третий. И пришла ко мне мысль: а что, если собраться нам, давним ученикам, и вместе нагрянуть к Любушкину?

Не стану описывать, как мы встретились. Известно, что говорят люди друг другу после восемнадцати лет разлуки: как жили, где были, что делали и прочее. Скажу лишь, что я с трудом узнал бывших своих друзей-ремесленников. Кто потучнел, кто полысел, кто подрос, кто, наоборот, коренастым стал. Сашка Макашин, кажется, совсем почти не изменился — как был длинным, худющим, таким и остался. Только в работе своей Александр Кузьмич крепко преуспел. Он кавалер ордена Трудовой Славы III степени, лучший токарь Ново-Горловского машзавода.

Прекрасными мастерами своего дела стали электросварщик Костя Ковалев, бригадир бригады коммунистического труда сантехников из Харькова Николай Медведев, экскаваторщик с Украины Миша Алексеенко, инженер из Харькова Сашка Никитин, токарь Иван Жилин из Алма-Аты, мастер из Белгорода Василь Сахненко.

Обещали быть токарь Саша Кобзев из Омска, слесарь Анатолий Черкашин из Валуйков. Что-то помешало приехать на встречу Феде Кустерскому — нашему старосте, ныне токарю Харьковского тракторного завода, Алексею Ерохину — мастеру ОТК из Златоуста, Мише Бакланову — шоферу из Константиновки.

Собрались и поехали в Шебекино к Любушкину. Дорожным разговорам не было конца.

Ехали, и каждый мысленно возвращался в ту дальнюю пору.

Комендант училища по фамилии Таран тяжелым медным звонком нарушает утреннюю тишину. Он медленно проходит вдоль коридора, останавливается возле двери каждой комнаты и, перестав звенеть, басит:

— Подъем!

И двигается дальше.

Комната наша огромная — двадцать пять коек. Койки стоят парами. В проходах между ними — тумбочки, одна на двоих. Посередине спальни — голый стол с побитой доминошниками фанерой, четыре расшатанных стула.

— Подъем, тринадцатая группа! — будит нас Таран и, постучав громче в дверь, удаляется во второй корпус.

А в коридоре уже шумно хлопают двери, слышатся смех, голоса. Ребята торопятся во двор училища на зарядку, а с зарядки — в умывальник. Беготня поднимается, суматоха. Особенно нужно поспешать тем, кому надо идти на практические занятия — они с восьми начинаются, а до мастерских топать километра полтора.

Половина тринадцатой группы — детдомовцы, половина — домáшняки. Не детдомовцы, но тоже круглые сироты.

Так вот, встретились мы первого сентября пятьдесят второго года. Всех нас наголо постригли, обмундировали, выдав новенькое, большинству не по росту «хэбэ», привели в учебный корпус, посадили в класс и приказали сидеть тихо. Домáшники покорно держали руки на партах, а детдомовцы потихоньку начали пошумливать — они побойчее. Но вот вместе с завучем вошла в класс красивая стройная женщина с пышными каштановыми волосами, и мы притихли, уставившись на нее любопытными глазами. На щеках у нее были ямочки, взгляд светился добротой.

Завуч представил ее:

— Это ваш мастер, Зинаида Егоровна.

Зинаида Егоровна чуть зарделась, и мы, двадцать пять пацанов, все вдруг тайно влюбившиеся в нее, в тот же миг пережили вместе с ней ее волнение.

Завуч удалился, поклонившись на прощание.

А еще через несколько секунд Зинаида Егоровна взяла себя в руки, подошла к столу и сказала:

— Дорогие ребята, я буду учить вас токарному ремеслу. Сегодня мы пойдем в мастерские, вы увидите, что собой представляют токарные станки. Я вам покажу, как работают на них. Надеюсь, что вам понравится профессия токаря...

Она говорила ритмично, будто читала стихи, ямочки на ее щеках то исчезали, то становились глубокими.

В мастерские мы шли строем, мы были горды и счастливы потому, что по городской улице вела нас такая красивая женщина — наш мастер. Наверняка самый лучший мастер на всем белом свете.

У нас было огромное желание учиться. Мы еще толком не знали, что это за профессия — токарь, но уже были убеждены: она нам придется по душе и мы во что бы то ни стало научимся работать на станках. Ради Зинаиды Егоровны хотя бы... Она не могла нарадоваться на нас и при случае гладила то одного, то другого по голове, будто старшая сестра, приговаривая: «Молодцы вы у меня... Золотые...»

Но однажды вместо Зинаиды Егоровны к нам пришел невысокий, плотно сбитый парень лет двадцати и объявил, что он будет вести занятия. Мы разинули рты:

— А Зинаида Егоровна где?

— Она вышла замуж и уехала...

Парень, назвавшийся Александром Афанасьевичем Лукьяновым, был человеком доброй души, но мы долго не хотели его признавать, так как очень болезненно переживали уход Зинаиды Его-

ровны. Нам казалось, что не замужество тут виновато, а директор или кто-нибудь из начальства. Невзлюбили ее, вот она и уехала. Разве можно из-за замужества бросать группу?!

Наивные ребята, как мало мы еще разбирались в жизни!

Потом мы все же притерлись, попривыкли и к Лукьянову, зауважали его. Но вскоре Лукьянов поступил в институт и ушел из училища. Погоревали: кого-то еще пришлют взамен его?!

Раза три нас водил на практику мастер первой группы Авдеенко. Строгий он был, жесткий, а не боялись мы его. Работали кое-как, с практики убегали, курили, играли между станками в догонялки...

Не выдержали нервы у Авдеенко: целый месяц у нас практики не было. Одна теория. А это скучно.

Не могли пока подыскать нам мастера, но воспитателя нашли — Бориса Ивановича Шутеева, год назад демобилизовавшегося из флота. Высокий красивый парень, глаза вечно веселые, мигающие, разговаривает с хохотком. Нам такого и надо! Веселого!

Избрали Бориса Ивановича комсоргом училища, а нашу группу дали ему, должно, в нагрузку.

Борис Иванович называл нас салажатами, но мы на него ни капельки не обижались. Уж больно он свойским был: в домино с нами после занятий резался до отбоя, ходил футбол с нами гонять и почти поголовно всю группу втянул учиться играть на струнных инструментах. Сам на мандолине играл, но мы, кому не досталось мандолин, расхватали балалайки и гитары. Руководитель кружка старик Суханевич только успевал записывать, кто какой инструмент взял. Тринадцатая группа теперь бренчала по всему училищу, потому что многим в клубе было заниматься неинтересно, и мы разбредались по коридорам, в спальне сидели или во дворе.

Борис Иванович торжествовал: группа при деле, на виду, не шляется по городу в поисках приключений.

Так-то оно так было, да если б еще тринадцатая группа занималась как следует. Но учились мы слабовато и вели себя не лучшим образом.

Ближе к зимним каникулам, однако, мастера для тринадцатой группы дирекция подыскала. Он вошел в нашу спальню после завтрака, когда мы мирно покуривали, сидя на только что заправленных койках, — высокий, плечистый, медлительный. Прошел на середину спальни, снял шапку, поздоровался.

— Вы будете тринадцатая группа?

— Мы. А вы кто?

— Я ваш мастер, Николай Иванович Романцов. Давайте знакомиться.

Романцов оказался очень строгим человеком. Видимо, его предупредили, что только строгостью нас можно обуздать. Это была его главная ошибка.

Романцов, обладая твердым характером, стремился, в свою очередь, во что бы то ни стало одержать верх. Он вел борьбу с курильщиками, заставлял нас ходить четким строем из училища в мастерские и обратно, двадцать раз останавливал нас по дороге, равняя этот самый строй. Да все покрикивая, все на высоких тонах. Что нам, естественно, не нравилось.

Контрмеры были довольно простые. Кто не хотел работать, тот всячески увиливал от работы. А что касается строя, так даже смирные ребята теперь разваливали шеренгу, без конца сбивали ногу, куражились и дурачились.

Терпения Романцова хватило месяца на два. Взял расчет и ушел от нас.

И опять наступили для тринадцатой группы трудные времена. Опять не стало практики, и староста Федя Кустерский как-то с огорчением высказался:

— Пацаны, нам ведь всего год учиться остался... Работать же мы как следует не умеем. Зря мы Романцова выжили.

И стало тихо в комнате, только слышно было, как кто-нибудь шмыгал носом или ворочался, скрипя пружинами койки. Задумались ребята над словами Кустерского. И впрямь не везет группе. Романцов был строгим, а кого еще дадут? Может, новый мастер в сто раз будет строже старого.

Да и научит ли за год?..

...И вновь Авдеенко с нами занимался — по совместительству. День свою группу обучал, день — нашу, но до конца учебного года Авдеенко все-так нас довел.

В середине июля мы разъехались на каникулы и в конце августа благополучно слетелись. Отдохнувшие, загоревшие, удивительно подросшие за каких-нибудь полтора месяца.

Вернулись и узнали, что четвертый, последний, год обучения мы начинаем без мастера: желающих учить тринадцатую группу в Шебекине не нашлось.

Училище наше выпускало небольшие сверлильные станки. Все делали сами ребята — будущие кузнецы, формовщики, слесари, токари. Правда, самые сложные детали нам не доверяли. Сложную механическую обработку выполнял токарь Филипп Петрович Любушкин, невзрачный на вид, сутулый, малость кривоног от долгой службы в кавалерии, но веселый человек. У него был станок,

ДИП-200. Ухаживал он за ним как за живым существом. И если заставал кого-либо из нас за своим станком, то мгновенно багровел, налетал словно коршун и отталкивал локтем растерявшегося ремесленника:

— Не сметь!

А вообще он был демократичным с нами. Иногда тайком, чтоб не увидел мастер, давал закурить. Подшучивал и посмеивался, когда у кого-нибудь из нас ломался резец, сгорало сверло или из патрона вылетала на полном ходу болванка.

Последнее он называл артобстрелом и после шутки подходил к незадачливому ученику и объяснял, как нужно правильно крепить деталь, чтобы и станок не изуродовать, и самому не пострадать.

Однажды нас построили в мастерских в две шеренги.

Старший мастер, оглядев нас, сказал:

— Значит, так, тринадцатая группа. Любушкина знаете?

— Знаем, — ответили два-три слабых голоса.

— Сегодня подписан приказ: он у вас мастер. Смотрите, тринадцатая группа, если и с ним не поладите, больше мастера вам не дадим! — сипло выкрикнул старший мастер. — Пеняйте потом на себя! Вопросы есть?

Вопросов не было. Минуты две мы стояли друг перед другом молча — Любушкин и тринадцатая группа.

Затем заговорил он:

— Признаться, ребята, я не хотел к вам идти: и в заработке теряю, и в начальстве сроду не был — образование не то. Но сосватали, партбюро уговорило: надо. Согласился с условием, что всю сложную работу мою, стало быть, никому не отдадут. Ее будете делать вы... Дальше. Весь мой инструмент, все приспособления передаю, ребята, вам. Чур, только не растаскивать... Дальше. На подъем я к вам приходить не буду, я лучше пораньше в мастерские. А вы без меня — в мастерские, без меня — домой. Строем там или как — ваше дело. Ругать за это не буду (э-э, методом Лукьянова действует!). За опоздание же, едри его кочерыжку, три шкуры спущу (такого Лукьянов не позволял). Хотите — обижайтесь, хотите — нет... Еще. Все полученные деньги делим поровну (это вновь!), чтоб не было обид. Чтобы все старались. Кому же это не по нутру, пусть честно скажет — я того отпускаю на все четыре стороны и никому об этом не скажу, даю слово. Все у меня.

Любушкин, сцепив руки за спиной, прошелся туда-сюда вдоль столика. Вверенная ему группа молчала, осмысливая сказанное.

— А как с куревом? — прервал вдруг тишину Костя Ковалев.

— Курить не запрещаю, — улыбнулся Любушкин. — Только не у меня на глазах.

Нам понравилось, что Любушкин не запрещает курить (а сколько мастеров и воспитателей начинали работу с этого запрета!), считает, что строем ходить необязательно, что по утрам не будет торчать под дверью. Вот житуха начнется с таким мастером! И главное — обещает не доносить начальству о прогулах! Полная свобода! Полное доверие...

В день очередной практики комендант Таран особо не задерживался у нашей спальни: позвенел, прокричал дважды: «Подъем!» — и потопал дальше. Что случилось с ним — никому невдомек. Подменили сегодня настырного Тарана! Или он заодно с Любушкиным — тоже хитрит. Похоже, похоже...

Тишина — никто и не подумал вставать. Мало для тринадцатой группы одного Тарана. Мы привыкли, чтобы еще и дежурный по училищу будил нас, а то и мастер. Но дежурного пока нет, а мастер... Если верить Любушкину, он из дому сразу же в мастерские пойдет. А мы без него сами туда должны явиться.

Лежим, один только Федя Кустерский одевался потихоньку.

Но вот скрипнули пружины и под Василем Сахненко, комсоргом нашим. Встал он и на других шикнул:

— А ну, хватит дрыхнуть, подъем!

— А куда спешить? — хмыкнул Ленька Ерохин.

— Сегодня ж практика...

— Во дает! Нас еще дежурный не будил, а он вскочил...

Василь сдернул с Ерохина одеяло.

Ерохин не ожидал такого, выкатил на Сахненко гневные глаза:

— Что, подлизаться к Любушкину хочешь? Ступай, а мы с Карасем останемся...

Карась — это я, это мое прозвище. С Ерохиным я подружился потому, что он пообещал помочь мне в изучении немецкого языка. Но дружба у нас плохо клеилась. Я знал, что Ерохин ненавидит токарное ремесло, а у меня по практике все ладилось и получалось. Дружба с Ерохиным поддерживалась еще и тем, что он ловко умел добывать курево.

Как мне сейчас поступить? На чьей стороне быть?..

Насторожилась вся группа, не спят ребята — не я один делаю выбор: вставать или не вставать?

Ох и задал задачу Любушкин! Нет его, а как будто чувствуешь его присутствие. Будто он сейчас из мастерских видит, что делается в спальне. Видит, но ни слова не говорит. Ждет...

Восемнадцать человек явились на практику. Негусто, надо прямо сказать. Пятеро ушли сразу же после завтрака в лес, двое — Ерохин и Медведев — потерялись по дороге.

Группа не шла, а волочилась. Эдакой полутолпой и ввалились в мастерские. Тут же сразу все и разбрелись по углам: кто станки крутил, кто по стеллажам рыскал (может, вчера из первой группы кто чего забыл, так надо «прибрать»).

Любушкин, в новом комбинезоне, свежий, деловой, улыбающийся, стоял за столиком. Поправив кепочку с поблескивающим от масла козырьком, поманил Кустерского:

— Больше никого не будет?

— Нет.

— И ладно. Станови этих.

Федя Кустерский трижды своим хриплым голосом скомандовал:

— Стройся!

Но группа его приказанию внимала неохотно. Тогда Любушкин прокричал:

— Ребята, ходи ко мне!

Эта необычайная команда понравилась нам, и мы быстро встали полукругом возле столика. Новый наш мастер открыл журнал и, не глядя в него, заговорил:

— Я думаю, все пришли. Кто не пришел, как я и обещал, того отмечать не буду. Передайте, ребята, им. А теперь начнем работать. Значит, задания на сегодня такие. — Любушкин поднес к прищуренным глазам журнал. — Алексеенко — на шестнадцатый станок, будет обдирать шкивы; Бакланов — на мой ДИП, чистовая обработка шкивов...

Мы не верили происходившему. Любушкин доверял свой ДИП-200?! Да еще начал с кого — с Бакланова! Мишка Бакланов был если не худшим, то среди худших. Ему Лукьянов сложнее шайб и болтов работы не давал. А тут сразу — шкивы! По шестому разряду!

Сам Бакланов зарделся: не насмехаются ли над ним?

Жилину дали резать заготовки для леркодержателей, мне — делать их чистовую обработку (пятый разряд!). Раньше изготовление детали доверяли самым лучшим. Причем каждый начинал с нуля. А Любушкин разделил операции. Жилину, значит, черновую работу, мне чистовую. («Так быстрей, — объяснил Филипп Петрович, — да и в один котел мы заработанные деньги будем складывать».)

У меня задрожали руки. В прошлом году на экзаменах я уже точил два леркодержателя. Признаться, если б не помощь мастера, я бы провалился. Он, считай, расточку по калибру сделал, а не я. Увидал, что я заплюхался, одну за другой заготовки в брак загнал, ну и отстранил меня, за считанные минуты подогнал отверстие под калибр.

Теперь, правда, не экзамены, время не будут засекать, но кто знает, как дело пойдет.

Пока я переживал, Любушкин закончил разнарядку. Напоследок, как бы между прочим, сказал:

— Штангеля я вам выписал новые, резцы получил, прокладки в моем шкафу берите. Прошу только беречь инструмент... И последнее: через неделю работами поменяетесь...

Не скажу, что мы сразу переменились. Но если бы зашел в то утро в мастерские старший мастер, он бы не поверил, что перед ним тринадцатая группа.

Все склонились над станками, сопят. У меня, например, от старания аж зубы поскрипывают. Неужели возымели такое действие слова Филиппа Петровича: «Я не думаю, что мы хуже первой группы, мы ей еще нос утрем, вот увидите»? И может, не все слова, а только одно коротенькое слово «мы». Мастер, похоже, всерьез причислял себя к группе, он теперь был причастен ко всем нашим успехам и неполадкам. Да стоило ли подводить такого человека? Нет и нет. Мы хоть и безалаберные, но дружные. Не там, где нужно, правда, чаще всего эта дружность проявлялась. Но не мы виноваты, что наши педагоги не умели использовать нашу сплоченность.

Любушкин ходил от станка к станку. Поправлял, если у кого не ладилось что-то, то одного, то другого водил к точилу, показывал, как нужно правильно затачивать резец, сверла. Делал это без излишней поучительности, с шуткой-прибауткой.

Меня, например, он поучал так:

— Ты на лимб смотри. Ты что, лимбу не доверяешь? Вот так! Да нос выбей, а то сопишь громко...

Мы до того заработались, что не заметили, как подошел обеденный перерыв. Любушкин о нем напомнил. Он встал посреди пролета, вздел вверх руки и прокричал:

— Заканчива-ай!

Несколько станков перестали урчать.

— Заканчива-ай!

Еще стало чуть тише.

— Бакланов, выключай.

Мишка Бакланов приподнял неимоверно испачканное чугунной пылью потное лицо.

— Я не пойду, Филипп Петрович!

— Негоже, Бакланов. Что это за работа — на пустой желудок?

— Филипп Петрович...

— Не дури, Бакланов. Если хочешь, пораньше с обеда приходи. Это разрешаю... Кустерский, выводи свою команду!

Устало проталкиваясь к двери со скрипучей пружиной, мы один за другим вышли на улицу. И тут, щурясь от солнца, затоптались

в смятении: строем или так идти? Вон Жилин с Сахненко первыми встали, за ними робко пристроились Бакланов с Томилкой. Слышу, меня за рукав тянет Сашка Никитин:

— Давай станем...

А Любушкин, не обращая на группу внимания, тем временем выкатил из-под навеса свой ИЖ, одним движением ноги завел его, ловко оседлал и покатил, прокричав нам:

— Не опаздывать, ребята!..

Мы молча построились и потопали в училище на обед. Не глядели друг другу в глаза. Почему? Да мыслимо ли, тринадцатая группа без крикливых команд, без принуждения построилась! Нам казалось, что встречные на нас показывают пальцем: «Смотри, воспитали-таки голубчиков!»

Нам стыдно было оттого, что начинали походить на другие группы. Такими смирными шли, что хоть по головке каждого гладь. И каждому из нас непривычным было наше поведение. Каждый с удовольствием драпанул бы в училище сам по себе... Если б не незримая тень Любушкина, который... не требовал от нас никакого строя.

Любушкин потихоньку да полегоньку подбирал ключики к нашим сердцам. Он наверняка не прочитал ни одной книжки по педагогике, но как-то запросто, непринужденно пробудил в нас страсть к учебе, уважение к существующим порядкам. Причем в отличие от предыдущих наших мастеров не он за нас, а мы за него переживали: как бы случаем ему не попало от старшего мастера или от директора за наши какие-нибудь проделки. Влюблялись мы в Филиппа Петровича день ото дня все больше, и эта, как и всякая влюбленность, творила с людьми невозможное. Не зря ведь вечно ворчащий старший мастер Колобок как-то сказал про нас Любушкину (Костя Ковалев слышал): «Они у тебя, гляжу, скоро группу Авдеенко перегонят». На что Филипп Петрович не без гордости ответил: «Я зря, что ли, их на мотоцикле каждый вечер катаю?»

Может, Любушкин и в шутку упомянул про мотоцикл, а может, всерьез, не знаю. Но точно уверен, что небесследно проходили те предвечерние часы, когда Филипп Петрович раскатывал нас по ровному лугу вдоль речки Нежеголь на своем лихом «ижаке». Нам нравилось, прижавшись к теплой спине мастера, мчаться то по накатанной дороге, то по мягкой, молодо пахнущей отаве. Какой мальчишка (а мы были еще мальчишками) не проникается сыновней любовью и привязанностью к человеку, который доставляет столь неожиданную радость! И у кого хватит нахальства, чтобы потом в чем-то подвести этого человека?!

Любушкин стоял посреди комнаты, держа в руках свернутую в трубочку бумажку, а мы, сидя на койках, смотрели на него.

— Сообщение есть одно, ребята, — с подъемом объявил Филипп Петрович. — Приятное. Я даже на радостях, с вашего разрешения, кружку пивка себе выпить позволил. Так вот, ребята. Я вам зарплату принес. На каждого по девяносто рублей. Как и обещал, я разделил всем поровну...

Что тут началось! Костя Ковалев залез с ногами на койку и стал подпрыгивать чуть ли не до потолка. Мишка Алексеенко заукал, Сашка Никитин присвистнул. Мыслимо ли — по девяносто рублей! Это ведь только положенная третья часть, а всего, выходит, мы по двести семьдесят рублей заработали. Раньше даже самые прилежные ученики до двухсот не дотягивали. Вот это Любушкин, вот это мастер!

Филипп Петрович развернул бумажку, разгладил ее на столе, вытащил из нагрудного кармана пиджака ручку-самописку, присел на скрипучий стул.

— Прошу тишины! По списку будем... Та-ак... — не спеша отыскивал Любушкин в ведомости первого, хотя на память знал, кто у нас первый. — А-лек-сеен-ко...

Медлительный Алексеенко, привставая с койки, зацепился штанами за пружину и под общий смех приблизился к мастеру.

— Вот, — указал Любушкин место в ведомости, где надлежало Алексеенко расписаться за девяносто рублей.

— Ба-кла-нов, — по слогам вызвал Филипп Петрович второго ученика. И вытащил пачку десяток. — Считаем до девяти (в прошлый раз Бакланов получил одиннадцать рублей тридцать пять копеек).

Дошла очередь и до Лешки Ерохина. Ерохин с полмесяца сачковал или только до обеда работал, а потом сбегал. «Ерохин, не дури, — говорил ему Федя Кустерский, — деньги поровну будем делить, мы за тебя не обязаны вкалывать». А он отвечал: «Их воле нихт арбайтен. — И добавлял по-русски: — Плевал я на ваши копейки».

Жилин обещал Ерохину бока намять за то, что Любушкина подводит, а он петушился: «Вспомни, как сам по неделям прогуливал... Тебя никто не мял?» — «Так это когда было?» — «Тебе тогда хотелось, а мне сейчас». — «Не дадим денег, посмотришь».

И вот Любушкин остановил палец под его фамилией.

— Е-ро-хин.

— Их! — выкрикнул Лешка и ощерил мелкозубый рот. Повернул ехидненько голову налево, повернул направо, как бы хвастливо заявляя: «Ну вот и я получаю». Нашел глазами Жилина, подмигнул

ему: — А ты, Жила, грозился: не дадим! Хе-хе! Всем поровну! И мы пахали!

И тут с места сорвался комсорг Василь Сахненко. Он встал между столом и Ерохиным:

— Филипп Петрович, этому не давайте!

Тишина в спальне сделалась неимоверной. Только слышно частое дыхание Сахненко. Ерохин за его спиной стоял опешившим.

Любушкин посмотрел снизу вверх на комсорга, нахмурился, почесал за ухом и сказал:

— Можно, я закурю?

Он долго вытаскивал папироску, долго копался в спичечном коробке, видимо оценивая обстановку, и потом наконец кивнул комсоргу:

— Сядь, Вася. Ты прав, а деньги Ерохин получит. Я обещал поровну...

Но попятился не Сахненко, а Лешка Ерохин.

— Бери, Алексей, — Любушкин протянул авторучку, — расписывайся.

Василь показал кулак Ерохину, отошел от стола и уселся на своей тумбочке.

Ерохин же, крадучись, ни на кого не глядя, взял из рук Филиппа Петровича авторучку, дрожащими пальцами расписался.

Любушкин протянул ему деньги.

Что, интересно, творилось на душе у Лешки в эти минуты? Что ощущал он: стыд, унижение, подавленность, вину за свои прогулы? Все, что угодно, только не радость. Иначе бы не выскочил пулей из спальни.

Ох, не завидовали сейчас Ерохину! Кто хоть сколько-нибудь прогулов имел, попритих. Я тоже один день пропустил — с Фатеевым и Калашниковым ходил в пригородную деревеньку «загонять» рабочие ботинки.

Но я — один день. А каково Фатееву и Калашникову? Они не меньше Ерохина сачковали. Вон как зыркает по сторонам исподлобья вертлявый Калашников! Чует недоброе. Только не знает, не предполагает даже, кто ему путь преградит у стола: Кустерский, Жилин, Миша Алексеенко? Или опять Сахненко?

Фатеев уставил взгляд в пол. Фатеев у нас самый сильный — и высок и в плечах широк. Перед ним, может, никто не встанет. Но кто его знает? Теперь ему трудней чувствовать себя в группе заводилой. Раньше ему никто не посмел бы сдачи дать. А на прошлой неделе, когда его поймали с двумя краденными штангенциркулями, два малоростка, Томилка и Никитин, чуть его не заклевали.

Когда Любушкин увидел драчку (она прямо в цехе была), под-

скочил немедля: «Что случилось?» — «А ничего, — сказал распаленный Томилка, — мы играем». — «Не место тут для игры, кончай», — вроде бы поверил Филипп Петрович.

Вот и призадумался Фатеев. А вдруг ребята сейчас скажут, что и ему не стоит зарплату выдавать? Их могут поддержать... Эх, не та стала группа...

Нет, остальные получали денежки тихо, мирно. Без инцидентов. Но кто ее незаконно получал, отходил от стола с таким чувством, вроде бы ему подачку дали. Добродушный Любушкин повторял время от времени: «Все ребята работали хорошо, все заслужили, мы и в следующем месяце покажем первой группе кузькину мать».

Последним расписался в ведомости Толик Черкашин, после чего Филипп Петрович встал со скрипучего стула и торжественно вывернул карманы брюк:

— Все, ребята, до копейки раздал.

И, не спрашивая разрешения, закурил по новой.

Перед Новым годом, через два с небольшим месяца после прихода к нам Любушкина, о тринадцатой группе заговорили в училище как об одной из лучших. Многие преподаватели, мастера, воспитатели разводили руками: «Гляди-ка! Самые сложные детали для сверлильных станков изготовляет кто? Тринадцатая группа. Где работают без прогулов? В тринадцатой группе. В струнном оркестре откуда больше всего ребят? Из тринадцатой группы. Книги в библиотеке кто больше всех берет? Тринадцатая группа».

Про нас даже в «молниях» стали писать. А то, бывало, одни «колючки» вешали, критиковали нас очень остро.

Мы, ранее чуравшиеся всякой похвалы, воспринимавшие ее как средство взрослых подлизаться к нам, заглянуть в тайну наших душ, чтобы затем обезоружить и полностью подчинить нас себе, вдруг познали вкус славы. Любушкин да и, глядя на него, Борис Иванович, воспитатель наш, незаметно подогревали в нас дух соперничества, состязания с другими группами. На практических занятиях Филипп Петрович при хорошем настроении подзуживал:

— Я пообещал на педсовете, что всех вас выпущу с четвертыми и пятыми разрядами. Авдеенко говорит, что у него двое ребят получат третий разряд. Как, сдержим обещание, утрем нос первой группе?

— Утрем! — воскликнули мы хором.

И старались... Раз верят в нас, поручаются за нас, как тут не стараться! Это когда ругали тринадцатую группу, когда сулили ей незавидное будущее, стращали наказаниями, не было желания ста-

раться. А коль верят — в доску расшибешься, но норму выполнишь. Вон даже хмурый Фатеев со своим «оруженосцем» Калашниковым подтянулись, меньше в жожку играют за углом мастерских, а больше работают.

А в общежитии нас Борис Иванович обхаживал. Придет в комнату и начнет: «Вы знаете, кто такой Макаренко?» — «Нет». — «А вы читали его книгу «Педагогическая поэма»? Ты вот, Карасик, читал?» — указывает на меня пальцем. «Нет». И опять ко всем: «А вы знаете, про что она?» — «Не знаем». — «Про таких, как вы, сирот...»

Не успел договорить Борис Иванович, а Толик Черкашин уже полетел в библиотеку. И тут же очередь: «Я второй читаю». — «Я — третий...»

Пока все не перечтут, книга из группы не уйдет.

А чтоб другим скучно не было, назавтра Борис Иванович начинает по новой: «А вы любите про войну?» — «Любим». — «Про гражданскую?» — «Очень». — «А читали «Сердце Бонивура»?» — «Нет». — «Эх-х! Вот роман! Дмитрий Нагишкин написал».

Еще одна книга пошла по рукам. Читать стали почти все. Читали некоторые запоем, после отбоя; когда свет в спальне комендант выключал, читали где-нибудь на ступеньках лестницы между первым и вторым этажами или в комендантской (если Таран дежурил). Я не помню в своей жизни другой поры, кроме той, ремесленской, когда бы я читал больше.

И струнный кружок мы не бросали. Руководитель кружка Суханевич очень уважал нас. На смотр ли, в колхоз ли с концертом — мы безотказные. Ребята из остальных групп на выходной по домам разъезжались, а мы всегда были на месте. Стоит лишь Суханевичу позвать — мы готовы. Балалайки, мандолины, домры, гитары в руки — и поехали.

Чтение книг, занятия в струнном кружке, футбольные матчи — напрочь приглушили в нас желания для бесцельного времяпрепровождения. Мы стали интересно отдыхать и хорошо работать. Вот и получалось, что тринадцатая группа вышла в передовые.

Как просто все получилось! Как легко повернули нас на сто восемьдесят градусов! Как мало потребовалось от Любушкина! Немножко отеческой теплоты в общении. Немножко доверия. Немножко желания и умения подметить в нас хорошее, а про плохое промолчать. Немножко... Что еще потребовалось от Филиппа Петровича, знает одно его сердце.

Любушкина мы не подвели. Государственная комиссия присвоила восьми членам нашей группы высший разряд, многие получили четвертый.

Отучились и разъехались. Шестеро — в Донбасс, одиннадцать — в Омск, двое — в Саратов, двое — в Темиртау, трое — в Алексеевку, один — в Харьков.

Работали, служили в армии, многие поменяли место жительства, профессию. Кто-то стал руководителем, кто-то по-прежнему делает доброе дело у станка.

И вот через восемнадцать лет мы едем к Любушкину. Филипп Петрович и в настоящее время, как я уже сказал, работает в профессионально-техническом училище.

Мелькают за окном огненно-желтые осины, проплывает отсвечивающее зелеными всходами жнивье. Навстречу идут машины. Все больше грузовые: со свеклой, с капустой. Осень — горячая пора для села.

На душе хорошо и чуть-чуть тревожно. Ах, милый Филипп Петрович, если б вы знали, как готовятся к встрече с вами девять ваших питомцев!

Как жаждут они сказать вам спасибо!..

Белгородская область,
г. Шебекино

Александр МИЩЕНКО

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

На пойму реки тихо падают снежинки. Изюбриха покидает привольные летние пастбища. Мелкие заливы, в которых она лакомилась сочной нежно-зеленой травой, обширные болотистые пространства — мари, сырые луга словно окаменели, и шаг животного отдается порой глухим звоном. Шуршат сухие вейники и осока. Несколько ночей подряд над заледеневшей равниной свистел зимний ветер, и его свист сливался с воем волков. Быки-изюбри потянулись в сопки, где можно было кормиться жесткими, но питательными хвощами.

В дубовых куртинах осталось еще много желудя, и изюбриха не спешила в горы, стараясь как можно больше набраться сил, чтобы выжить в студеную зиму. Это было необходимо и маленькой ее телочке, для которой только начинались жизненные испытания.

Изюбриха заметила в дубняках табунки косуль. Значит, поблизости могут быть и волки. Память изюбрихи хранила предсмертные крики косуль, настигнутых волчьей стаей. Она ускорила шаг: быстрей бы добраться до виднеющихся вдали голубых дымчатых гор, до спасительных скал. Набитая тропка извечного перехода легко вела ее к предгорьям.

Дня через два звери пересекли полотно железной дороги с ее резкими, гнетуще-тяжелыми запахами. Теперь они были у подножия желанных гор. На вырубках останавливались погрызть ветки молодых осинок, тала, лип и кленов, колючего элеутерококка и ершистой аралии. Ярко светило солнце, оттепель дурманила тайгу. Исходили ароматом лианы лимонника. Горьковатые струи воздуха из тальников смешивались с настоем запахов елей и кедра, смолистых пихт. Сладко-терпкий таежный воздух опьянял зверей. Здесь, в зарослях, можно было и зимовать: не догонит в этой чаще их ни волк, ни собака. Но изюбрей пугал непонятный гул, доносившийся со стороны железной дороги. Поэтому на зимовку придется уходить выше в горы.

Пока ничто не предвещало опасности, звери лежали, подставив желтовато-серые бока теплому солнцу. И вдруг поблизости хрустнула ветка. Инстинкт подсказал старому зверю: в чаще стоит человек. Изюбриха рванулась в распадок, закрывшись от врага стеной кустарника. Телочка прыгнула за ней, но любопытство приостановило ее, она выскочила на пригорок, оглянулась.

И в тот же момент у ног ее с треском разлетелся пенек, а в кустарнике ахнул гром. Телочка высоко взлетела в прыжке и легкими махами устремилась в чащу. Мать нагнала ее и пошла вперед.

Свежие следы изюбрей давно уже вели человека в горы. Он с досадой посмотрел на ноги: обувь была обмотана травой, но валежина подвела...

Изюбриха боялась человека больше, чем волка, и торопливо уходила с телочкой в горы. В низине, у светлого ключа, изюбриха учуяла запах рысей. Две молодые рыси прошли здесь след в след, как ходят волки и выводки тигров, — промышляли, возможно, зайцев и не были страшны ее телочке.

Сбивая человека со следа, изюбриха повела телочку по ручью, а потом перемахнула в хорошо натоптанный старый изюбриный след, повторила ее прыжок и телочка.

Поднявшись из распадка на одну из вершин, изюбри услышали далекий вой. Самку он испугал и удивил. Опыт говорил ей: где волки, близко и жилье человека — там серым разбойникам легче поживиться. Неужели человек появился уже и в этом глухом таежном углу? От волка можно спастись и здесь, где стали попадаться острые скалы и обрывы. Вскочив на недоступный с трех сторон выступ, изюбри вне опасности: под беспощадный удар их копыт волки не подойдут. Но от человека трудно спастись. Нужно идти к Горелой сопке, там много скал, а вокруг по гарям полно кустарников и молодых деревьев.

По небу уже разлился свет нового дня, прозелень мрака держалась лишь у горизонта. Изюбри залегли на отдых в густой чаще мшистого ельника. Вверху над ними на трассе время от времени раздавались натужные гулы, режущие слух гудки. Шум этот стал вскоре привычным, и изюбриха забылась в сладкой дреме. Очнулась от хруста ледка, телочка стояла и пристально смотрела в сторону следа. Изюбриха услышала легкий шорох, это был не хищный зверь, а человек: ветки деревьев нет-нет да и шуршали по его одежде. Человек отрезал им выход через перевал, стараясь заставить выскочить на лесовозную трассу.

Устраиваясь на лежку, старая изюбриха допустила ошибку: от прогала, где проходила трасса, она прикрылась густой стеной

леса, в другой же стороне был распадок, просматриваемый с сопки. Человек уже видел след изюбрей, догадывался, где они могли быть, и, сделав крюк, зашел к ним со стороны сопки.

Опасность заставила изюбриху броситься к прогалу. Едва звери выскочили на открытое пространство, вслед им загремели выстрелы. Пули с тягучим визгом пронзили кустарник.

Беда настигла изюбриху посреди прогала. Тупая боль полоснула ее откуда-то сбоку. Зверь кинулся за корень-выворотень. Грохот выстрелов стих. Изюбри пробежали вдоль прогала и остановились в пойме ключа. Старая самка перенесла тяжесть тела на три ноги: заднюю левую саднило от боли.

Медлить нельзя: преследователь не оставит их в покое до глубокой ночи. На гору изюбрихе было трудно взбираться, пришлось пойти краем широкой мари, заросшей мелким кустарником. Вскоре она выдохлась и устроила лежку. Телочка стояла рядом и лишь поглядывала, как мать с жадностью хватает губами снег и прядает ушами, прислушиваясь, нет ли опасности.

Человек опять обманул их, он зашел с противоположной стороны мари из-под ветра, и изюбри не смогли учуять его. Вновь тишину леса взорвали гулкие хлопки выстрелов, и эхо стоном отдалось в горах. Человек теснил изюбрей к дороге. Изюбрям удалось укрыться в густом лесу на одной из небольших сопок. Раненая самка легла и затихла, мятный холодок воздуха говорил ей, что скоро пойдет снег и тогда запорошит, укроет их след. Беспокоила ее только кровоточащая рана. Предстоящая перемена погоды навевала на изюбриху сонливость, и она впадала в забытье. Но, превозмогая боль, изюбриха встала. Она сделала большой круг, затем несколько раз выходила на следы других изюбрей. Пройдя их тропами сотню шагов, прыгала в сторону, пытаясь сбить с толку человека, направить его за здоровым зверем. Однако старую самку выдавали капли крови на снегу. И человек настиг ее. Услышав треск веток, изюбриха затаилась и пыталась определить направление, в котором движется преследователь. Он все время заходил из-под ветра, и изюбриха превратилась, кажется, в слуховой нерв: всем чутким телом слышала она теперь подозрительные шумы и трески. И ей удалось уйти от выстрела.

Поединок закончился в темени. Человек не смог выгнать изюбрей на лесовозную трассу. Он вышел наконец к просеке, осмотрелся, приметил место и прошел по дороге. Знакомый поворот обрадовал: близко зимовье, где его ждут.

...Охотовед, худощавый, с мягкими соломенно-светлыми волосами мужчина, успел уже накочегарить железную печку, так что она стала малиновой и звонко гудела. Обсыхающие стены, сложенные из толстых плах выдержанного кедра, курились парком.

— Ну, что у тебя? — спросил он.

На усталом лице вошедшего разлилась довольная улыбка:

— Шлепнул... Правда, ранил всего лишь, но ранил, думаю, крепко. Место засек, не потеряю.

— Плохо, что ранил, — заметил охотовед. — Надо наверняка.

А когда он узнал, что изюбриха была с телочкой, пожалел, что этого нового егеря взял с собой на отстрел зверя по лицензии.

— Пропасть ведь может без изюбрихи телочка, — сказал он и добавил после молчания: — В нее ты не стрелял?

Егерь почувствовал суровые нотки в голосе охотоведа и проговорил опасливо:

— Было дело. А что?

— Барахло ты, — зло бросил ему охотовед. Он подошел к егерю, положил руку на плечо и крепко сжал его. — Человеком надо быть...

Больше охотовед не проронил ни слова, на душу его навалилась тяжесть. В памяти ожили встречи с другими людьми, подобными этому егерю, которые относились к природе рвачески.

Охотовед знал, что раненый зверь подлежит отстрелу. Утром он молча собрался и коротко позвал:

— Пошли.

Егерь показал ему примеченный поворот на лесовозной трассе, и вскоре они вышли к первой лежке раненой изюбрихи. Охотовед внимательно осмотрел вмятину на снегу. Изюбриха была крупной. Он замерил вмятину и внес данные в записную книжку. Потом двинулись дальше по следу, который о многом говорил наметанному глазу охотоведа.

В полночь, когда над тайгой сгустилась глубокая темень, изюбриха осторожно перешла через прогал и повела телочку к Горелой сопке. Пошел мелкий снежок, но вскоре прекратился и не успел засыпать следы изюбрей. Она долго шла по острым мелким камням и привела телочку к речке, журчавшей у подножия горы Горелой. Изюбриха ступила в воду и долго шла по течению, осторожно передвигая ногами, чтобы не набрызгать на снег. Прыжок в сторону, и звери пошли сквозь кустарник. Когда начало рассветать, сверху опять стал сеяться мелкий колючий снег. Изюбриха сделала большой круг и остановилась в гущине леса недалеко от своего старого следа. Если человек будет идти за ними, он направится дальше на круг за изюбрями, и звери выиграют время, чтобы уйти от преследователя как можно дальше.

Новый день выдался ясным и не по-зимнему теплым. Рябчики словно прилипли на солнечных сторонах белоснежных берез. Кормились в рябиннике у распадка стайки снегирей, оставляя на снегу под кустами красные брызги ягод. Разразилась длинной трелью желна. Изредка перекликались дрозды, рассыпавшиеся по рябинам. Занятые своей утренней жизнью, птицы не обращали внимания на лежащих зверей. Только крохотные синицы радостно нацвиркивали однообразную свою песенку и склевывали капельки мерзлой крови раненой изюбрихи. Их спугнул, высунув хищную мордочку из-за валежины, подбиравшийся к месту пиршества птичек ярко-желтый колонок.

Близился вечер, кровь уже запеклась, но изюбриха еле волочила ноги от усталости и шла напрямик. Путать следы было бесполезно: слышался торопливый хруст снега под ногами настигавших ее людей. Изюбриха судорожными усилиями бросила тело вперед, взобралась на крутосклон. Наконец она достигла вершины горы. Потом повернула к обрыву и остановилась, словно хотела в последний раз окинуть взглядом далекие и близкие горы, по склонам которых она бегала розовой телочкой...

Когда-то здесь уходили в прозрачно-синюю даль волны могучего кедровника. Теперь только отдельные стволы гигантов простирали к небу полусухие вершины. Горы стали грустными и безжизненно-серыми. Унылую картину расцвечивали лишь кущи аралии, выросшие на волоках трелевок.

Она не слышала выстрела...

В небе сгущались фиолетовые сумерки. Охотники подошли к поверженной изюбрихе.

— Дошла, — сказал один.

— Домучил, — мрачно уточнил другой и едко усмехнулся. — Охот-ничек! — Помолчал минуту и добавил: — А надо бы записать в памятке охотникам: «Не умеешь стрелять — не берись». — И тихо, размеренной походкой направился к зимовью.

Этим человеком был известный дальневосточный охотовед Юрий Дунишенко.

Тридцать лет не был я в родном городе и вот с волнением иду от памятника Ерофею Хабарову на привокзальной площади вниз по Амурскому бульвару. Бульвар выводит к реке.

Юрий Дунишенко пришел на площадь минута в минуту, как мы условились по телефону. Я сразу узнал его. И точность эта, и размашистый шаг, и цвета спелой соломы волосы, и не исчезающая даже в улыбке грусть в голубых глазах, и острый нос — все совпадало с портретом, который словесно нарисовал мне в Тюмени однокашник Дунишенко по институту Володя Азаров. Когда я рассказал ему однажды, что собираюсь ехать в Хабаровск, что для воплощения замысла нужен человек арсеньевского духа, Володя тут же предложил:

— Есть такой... Любимец курса был у нас, автор факультетского «Гимна охотоведов». — И рассказал мне о Юрии Дунишенко.

И вот мы идем с Юрием по городу. Высокое солнце залило улицы половодьем света, в воздухе витают запахи распускающихся почек тополей. Юрий увлеченно рассказывает о седом Сихотэ — так он называет Сихотэ-Алинь, о настоящей уссурийской тайге, об опытном участке, где в течение многих лет ведет свои исследования. Это были его «очарованные дали», где хрустальными бусами рассыпается по кедровникам звон таежных ключей, голубые аянские ели стоят, словно дорические колонны, а кораллы ягод лимонника врачуют зверя и человека. Я понял, что такой человек, как Дунишенко, не мог не писать, и спросил:

— Может быть, по тропинкам Арсеньева ходишь, Юра, и мы когда-нибудь прочитаем твою книгу про Сихотэ-Алинь?

— Веду я таежные дневники, — откровенно признался он, — пишу повесть об охотоведах и уссурийской тайге. Но временно пришлось оставить эту работу, надо диссертацию сделать, обобщить все, что открылось за четырнадцать лет в исследовании главного моего зверя — изюбря.

Дома у Дунишенко нас встретила Айка, белая, с желтовато-золотистыми пятнами молодая собака. Она взвизгивала, радостно прыгала, пытаясь лизнуть лицо хозяина. В фиолетовой темени мы повели ее на прогулку. Айка весело носилась по хрустящей корке наста в распадке у большого, сверкающего огнями жилого массива. Снизу, с поймы Амура, сквозил ветерок, нанося запахи талого снега На склонах за распадком чернели деревья.

— Живописнейшее место! — воскликнул Дунишенко. — Это громадный естественный парк, созданный природой, в распадке можно запруду сделать — водоем будет. Здесь и было когда-то озеро, спустили его в Амур, постепенно ломают и вырубают и тополя на склонах, потому что ничейный сейчас массив. Да... —

вздохнул он. — Даже в самом Хабаровске подчас не можем уберечь лес. А что вокруг него происходит? Опустынивание... Звери, птицы исчезают. Выехал я недавно в одно урочище. Солнце яркое светит — и могильная тишина. Немая весна. Возле Хабаровска только Хехцирский заповедник, как остров, остался, но он открыт лишь для ученых. А населению куда податься? Чтобы показать сыну елку, кедр, лес настоящий — я три часа на автобусе еду.

Соскучившись по хозяину, Айка запрыгала вокруг него. Тот ласково остановил ее:

— Не зайчи!

И повернулся ко мне.

— Мой покойный учитель, руководитель по аспирантуре профессор Василий Николаевич Скалон считал, что мы не можем говорить о культуре наших городов и сел, пока не будет в них в изобилии зелени. Очень глубокая мысль!

Собака кувыркнулась перед нами и опять отвлекла Дунишенко. Он с теплотой в голосе проворчал:

— Ты у меня как Лапка и Потапка. — И пояснил: — Двух полумертвых больных сирот-медвежат подобрал я в тайге, выходил самыми современными лекарствами. Выжили они, выросли, смышлеными оказались на редкость. Вот и отдал я их дрессировщику Запашному, может быть, уже заслуженные артисты они сейчас...

Позднее я не раз возвращался к этому вечеру, к раздумьям Юрия Дунишенко о специальных лесных зонах отдыха трудящихся, которые нужно создавать помимо заповедников. Говорил Дунишенко об этой проблеме как о чем-то глубоко личном и сокровенном:

— Такие зоны очень нужны. И сейчас уже налицо проблема свободного времени — где и как отдыхать горожанам после трудовой недели, а лет через двадцать она станет еще острее, если мы не предпримем конкретных мер... В руках человека сегодня сосредоточены гигантские энергии, — тихо и медленно, словно взвешивая каждое слово, размышлял Дунишенко. — И он считает себя властелином природы. Человек теперь все может решить легко и быстро! Возьмем учет зверя. К чему ползать по-дедовски по тайге, когда с вертолета все пересчитать можно? И пошли в ход весенние авиаучеты. Изюбря, например. Висит над испуганным стадом громыхающий вертолет! Матки шарахаются в стороны. Отчаянность и страх делают свое дело: пройдешь на лыжах по такому учетному району, глядишь — выкидыш, выброс теленка. Другая изюбриха ногу сломала и тоже погибла с теленком... А истинные охотоведы, биологи не могут быть такими жестокими к животным.

Авиаучеты не давали покоя Дунишенко. Много сотен таежных километров исходил он по тропам изюбрей и открыл простой способ — определять численность и пол животных зимой по лежкам. По пятнам на снегу легко узнать, самец тут был или самка. По размерам вмятины всегда видно, стельная самка или нет.

...За несколько дней до нашей встречи в Хабаровске Дунишенко завершил объемное исследование. Для этого ему понадобилось вникнуть в данные нескольких лет авиационных учетов по изюбрям, косулям и лосям по всей территории Дальнего Востока. Он изучил структуру популяций, сгруппировал в отдельные колонки

быков, одиночных самок, самок с телочками-сеголетками, семейные группы, а потом определил так называемые коэффициенты стадности. И выяснил угодья-жемчужины, где для жизни лосей, косуль, изюбрей складывались наиболее благоприятные условия, и зоны суровые и тяжелые, определил закономерности в их географии. Тщательный анализ показал, что промысел на Дальнем Востоке вели в самых урожайных на зверей местах, где выбивали телков, самок и резко снижали тем самым воспроизводство того или иного вида.

— Сейчас ко всем районам у нас подходят с одной меркой, — говорил Дунишенко. — А введя экологически обоснованные нормы добычи, которые в разных районах будут иметь свои величины, можно увеличить заготовку мяса диких животных на Дальнем Востоке в полтора-два раза. Сейчас, когда к океану устремилась линия БАМа и растет численность населения, это имеет особенно большое значение.

Следующая встреча с Юрием Дунишенко произошла через несколько дней в розовом двухэтажном домике Дальневосточного филиала ВНИИОЗа — Всесоюзного научно-исследовательского института охоты и звероводства, где он теперь работает.

Юрий медленно, с какой-то осторожностью прохаживался по своему кабинетику. Он был ему непривычен, как непривычен бывает новый костюм. Да и думами своими Дунишенко находился еще в охотоустроительной экспедиции, жил ее заботами и делами.

Я слушал его рассказ об итогах большой работы его «охотоустройки», как он называл свою экспедицию. Под ее контролем находилось 150 миллионов гектаров лесных массивов. Сведены воедино учетные данные по зверю и птице, ресурсам растительности. Теперь массивы паспортизированы, разбиты по типам, составлены карты охотничьих угодий, продуманы мероприятия по сохранению брусничников, медоносов и других бесценных даров тайги. Многочисленные таблицы и цифры стали точней и доступней для производственников и ученых, их можно использовать сейчас для машинной обработки.

Не в один вечер я понял, что даже слабая боль, нанесенная природе, проникает в этого деликатного человека, истинного биолога.

Ну как может не болеть душа охотоведа, если в уникальнейших лесах Дальнего Востока (кедрово-широколиственные массивы его — жемчужина мирового значения), в девственных охотничьих угодьях берут мяса в несколько раз меньше, чем в Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Румынии, Югославии, где более половины территорий — поля и луга? В каждом изюбре и лосе, в каждой косуле охотовед Дунишенко видит бесценное, грациозное создание живой природы. В то же время он понимает и другое: любое копытное — это биологическая фабрика. Уметь извлекать из этой фабрики для себя выгоду, не причиняя ущерба природе, — большой хозяйственный подход по комплексному использованию богатств тайги. К тому же известно, что мясо копытных намного питательнее и полезнее для человека, чем мясо одомашненных: у них богаче и разнообразнее кормовое «меню».

— Продукцию охоты давно называют процентами с капитала, стоящего на корню, — говорил Дунишенко, измеряя кабинетик

крупными шагами. — И вот этот-то капитал у нас как дитя у семи нянек. Сейчас промысел ведут разные ведомства — Главохота, потребкооперация, предприятия рыбной промышленности, колхозы и совхозы, военно-охотничьи спортивные общества, ячейки сельских и городских охотников-любителей. В заготовках мяса диких животных господствует пока «интуитивное планирование», а не трезвый, научный расчет.

Как-то в крайохотуправлении, удостоившем Дунишенко звания почетного члена за развитие любительской охоты и охрану природы, Юрий сказал: «Дальний Восток освоить можно, создав единую производственно-охотничью организацию». На это и нацелены были изыскания охотоустроительной экспедиции.

Работа Юрия Дунишенко поначалу мне представлялась полной идиллией. Величественная тайга, реки, прозрачные озера, ключи, сладкие запахи хвои, трав и цветов, половодье соцветий и лепестков, откровения жизни птиц и зверей! Но чем больше я вникал в подробности деятельности охотоведа, тем ясней становилось, что прежде всего это большой самоотверженный труд: за четырнадцать экспедиционных лет Дунишенко побывал в отпуске только однажды...

Было это в июне. Юрий вместе с такими же отпускниками, как он, отправился на лодке вниз по течению реки Хор. Цель была одна — отдохнуть от повседневных хлопот охотоведа. Полюбоваться природой как бы со стороны — не торопясь и с наслаждением.

Торжественная ночная тишина охватывала, подчиняла себе воздух, галечниковые отмели, тонкоствольные тальники, глубокое небо и даже влажный блеск звезд. Тишина соединяла их в единое целое. И Дунишенко вдруг почувствовал, что все это — часть его самого. Он остро осознал, что работа охотоведа — это борьба за истинную гармонию человека с природой. Глубокая радость наполнила Юрия Дунишенко, и он подумал: «Счастливый я человек — живу любимой работой». И память увела его в юность, в небольшой поселок на Чукотке, где при свете керосиновой лампы долгой полярной ночью постигал он школьные науки. В те годы он даже и не знал, что существует такая профессия — охотовед.

Охотовед... Это слово вернуло Юрия к самому наболевшему, к его родной дальневосточной тайге. Скудеет она, и остановить этот процесс может только человеческая культура. Нужно нести ее в охотничьи угодья. Дунишенко виделись в мыслях массивы-жемчужины, где складываются самые благоприятные и естественные условия для жизни лосей, косуль и изюбрей. А если облагородить еще эти зоны, организовать солонцы, создать подкормочные соевые поля! На отдельных сосновых участках можно вносить азотистые удобрения, тогда ветки деревьев станут привлекательным зимним кормом копытным, и они будут группироваться на «охотничьих пастбищах» Эти меры непременно скажутся на увеличении численности животных, и они станут расселяться на смежные территории, появятся там, где сейчас их почти не встретишь...

Дунишенко по этому поводу вспомнились мнения двух ученых, которые стояли на полярно противоположных позициях, — видного советского натуралиста, главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Олега Кирилловича Гусева и ныне покойного ученого-охотоведа Василия Николаевича Скалона. Дуни-

шенко был его последним аспирантом. Василий Николаевич передал ему глубокую, умную любовь к природе. Его страсть и одержимость остались во многих выпускниках Иркутского сельскохозяйственного института, где Василий Николаевич руководил кафедрой на факультете охотоведения. Это был беспокойный человек с окладистой большой бородой и жгуче-острым взглядом, в котором, казалось, и концентрировалась вся его энергия и воля. Где появлялся Скалон, там возникали дискуссии и споры.

В Иркутске встречал Дунишенко и Олега Кирилловича Гусева. Он не был знаком с ним лично, но ему довелось однажды услышать выступление ученого. Тот день, когда за кафедрой стоял прямой и высокий человек с буйно-черными густыми бровями и с жаром выкладывал свои мысли по разрабатываемым им планам обогащения природы, стал переломным для Дунишенко. Мысли Гусева совпали с его собственными стихийными размышлениями и обрели теперь строгую научную форму и логическую завершенность.

Так получилось, что против стратегии обогащения, разрабатываемой Гусевым, стал выступать Василий Николаевич Скалон. Он идеализировал дикую природу, считал, что незачем лезть в тайгу с хозяйственным устройством, со всякими переделками и перестройками. Скалон утверждал: всякими обогащениями мы нарушаем равновесие в природе. Это была ошибка сибирского ученого, но он был не одинок. Некоторые экологи даже полагали, что мироздание представляет собой своеобразный «перпетуум мобиле». Полностью доверившись «вечному двигателю природы», общество забывало до самого последнего времени об эксплуатационных расходах этой «машины вселенной». Только сравнительно недавно человек спохватился... Как говорят официальные данные, каждый седьмой рубль в СССР уходит на процесс воспроизводства природных ресурсов, а в некоторых других странах экономические вложения в сферу природопользования выше этого.

Размышляя о жизни Василия Николаевича, Дунишенко вспоминал яростные споры с ним. Скалон был активным противником их «охотоустройки». Но Юрий понимал, почему ошибался ученый: охотничье хозяйство знало и знает, к сожалению, примеры прожектерства, преувеличений, отрицательных последствий в акклиматизации новых видов животных. На миллионы гектаров раскинулись охотничьи угодья на востоке страны, а тут на крошечных «европейских» наделах внедряли подкармливание птиц рябиной, веники косулям заготавливали и... в местах подкормок их поджидали волки. Много сил и средств отвлекалось на создание порхалищ для глухарей, и в выигрыше здесь оказывались также хищники. Неразумно планировали рытье колодцев в тайге для водопоя белок, выкармливание куропаток муравьиными яйцами. Такая необдуманная биотехния и давала «козыри» в руки Василию Николаевичу Скалону и его последователям в этом вопросе.

Через три месяца я приехал в Хабаровск на Тихоокеанский научный конгресс. С Юрием Дунишенко мы встретились как давние знакомые. Он рассказал о первых самостоятельных шагах в охотоустроительной партии.

Юрий руководил в ту пору группой таких же юных, как он сам, специалистов-охотоведов, выпускников Иркутского сельхоз-

института. Начальником партии был резкий и грубоватый человек. Он редко ходил по уремам и медвежьим распадкам. Может, медведей и тигров боялся: ружья с плеча не снимал даже в окрестностях лагеря. А материалы исследовательские ему нужны были по косуле, изюбрю, другим копытным. И он прибирал к рукам изыскания работавших под его началом ребят. Дунишенко и его товарищи поначалу не роптали, хотя его поведение их смущало. Использовав материалы своих подчиненных, написал этот «энергичный» человек диссертацию. Но с данными по изюбрю у него вышла промашка. По его личным расчетам, их в обследованном районе было три тысячи голов. А по наблюдениям ребят, которые всю территорию прочесали чуть ли не по-пластунски, — пять тысяч. Большое несоответствие! Вызвал однажды начальник партии Юрия Дунишенко, сказал:

— В научный отчет руководимого тобой отряда надо вписать не пять, а три тысячи, как указано у меня.

Дунишенко растерялся от неожиданности.

— Подделать, выходит, нужно наши полевые журналы? — проговорил он.

Начальник партии замялся и ответил уклончиво:

— Сделать — это не значит подделать.

Долго он уговаривал, настаивал, намекал, что такая неуступчивость для Юрия добром не кончится — отразится на служебных делах и в научной работе.

«Стоит только раз поступиться, душой покривить, и начнешь деградировать», — вспомнились Дунишенко чьи-то слова. Он забыл, кто ему их сказал, но знал, что не допустит подтасовки фактов.

Надолго нажил молодой охотовед откровенного недруга. Сколько же творческой энергии приходится тратить на тех, для кого наука лишь средство для достижения корыстных целей! Надо давать им должный отпор. Они мешают жить, работать и тормозят развитие науки.

Я проводил Юрия далеко за город. Видел, как он медвежьим распадком поднялся на пурпурную от вечернего солнца вершину, с которой открывались чистые, прозрачные дали таежной страны Арсеньева. Юрий набрал в грудь воздуха и затрубил в берестяной рог. В ответ запереклика́лись серебряными трубными голосами в тайге быки-изюбри...

И Дунишенко пошел навстречу этим голосам, туда, на Сихотэ-Алинь.

Л. АЛЕКСАНДРОВ

СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ЗАЙЦЕ,

ИЛИ КАК НА ЗАПАДЕ ПЫТАЮТСЯ ГАЛЬВАНИЗИРОВАТЬ ОДИН СТАРЫЙ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ МИФ

I

Жил в Манчестере, на улице Серых Монахов, школьный сторож. Был он человек простой, даже грамоты не знал и не умел расписаться. Однако дело свое делал усердно. И не только охранял здание, но и подметал полы, вытирал доски, топил печи и все это за скромное вознаграждение: пять фунтов в неделю. В школе его любили за безотказность и веселый нрав.

Все шло хорошо, пока старый директор — мистер Браун — не ушел на пенсию. Новая метла метет по-новому — мистер Джонсон решил все перестроить в школе. Он хотел, чтобы учащиеся проходили вдвое больше учебного материала, тратя на это вдвое меньше времени, чтобы школа во всем была образцовой, чтобы даже школьные командиры по футболу и крикету были непременно первыми в соревнованиях. Девизом директора были слова: организованность и эффективность.

Поначалу перемены не коснулись сторожа. Он все так же старательно протирал пыль в классах, следил, чтобы они были хорошо натоплены.

Но вот мистер Джонсон придумал еще одну новацию. Он ввел в школе табель для служащих. Каждый должен был расписываться, отмечая время прихода и ухода. В пятницу директор велел принести ему книгу, чтобы лично просмотреть ее.

И тут он обнаружил, что один из служащих — а именно сторож — не расписывался в книге. Это было возмутительным нарушением установления. Послали за сторожем. Тот долго мялся и наконец признался: он не умеет писать.

Это был настоящий шок для директора. Разумеется, сторож был немедленно уволен (с недельным пособием). Неграмотным не место в штате школы, какую бы должность они ни занимали.

Расстроенный и печальный, шел бедняга домой. Горе его могла облегчить только порция сосисок, которые он очень любил. Он заглянул в один магазинчик, другой. Странно: сосисок там не было. Он стал специально искать их, обходя улицу за улицей. Во всем южном Манчестере не было ни одного магазина, где продавались бы сосиски.

И тут уволенного сторожа осенила идея, от которой он разом забыл все свои беды. За несколько дней до этого умерла некая миссис Уиггс, державшая небольшой магазинчик, а у него были кое-какие сбережения (с его пятифунтового жалованья). Почему бы ему не снять у владельца этот магазинчик и не завести свое собственное дело?

Через неделю все формальности были улажены, и он вовсю торговал сосисками. А потом ему пришла в голову новая идея. Почему бы не продавать сосиски в горячем виде, чтобы их тут же можно было съесть?

И вот к пяти часам вечера холодного, туманного ноябрьского дня, когда люди возвращались с работы, он нажарил в противне с маслом сосисок и широко открыл дверь своего заведения, чтобы запах привлекал прохожих. От желающих, понятно, не было отбоя, бывший сторож только успевал поворачиваться.

Скоро он придумал насаживать сосиски на палочку, как мороженое, и дело пошло еще лучше. Выручка росла. Он уже смог нанять себе в помощь двух работников.

Потом — новая идея: развозить горячие сосиски по улицам. Для этого понадобилось нанять мальчика и взять напрокат велосипед А так как торговля пошла бойко, были наняты еще два мальчика и еще два работника, чтобы готовить сосиски.

Так бывший школьный сторож приобщился к «большому бизнесу». Скоро уже десять тысяч человек варили его сосиски по всей стране. Только на рекламу он расходовал больше пятидесяти тысяч фунтов в год.

Первые пять лет он не заводил даже счета в банке, а хранил деньги по старинке — у себя дома. Наконец друзья убедили его в том, что это неразумно, и он отправился в банк. Клерк заполнил бумаги и попросил его подписать их. И тут выяснилось, что он не умеет ни писать, ни читать. Клерк был человек бывалый, но даже и он не смог сдержать удивления, однако решил, что должен сказать что-то приятное клиенту, который принес в банк такие огромные деньги.

— Это поразительно, сэр — сказал он, — что вы добились такого успеха в жизни, не имея образования. Могу себе представить, кем бы вы были, если бы научились хотя бы читать и писать.

— Школьным сторожем на улице Серых Монахов, — засмеялся он в ответ. — И получал бы пять фунтов в неделю.

II

Эта дешевенькая рождественская история взята нами из популярного английского учебника для иностранных студентов. Вот уже более двадцати лет этот учебник издается и переиздается, распространяется во многих странах. Но истории, подобные приведенной нами, известны, конечно, не только по учебникам. Газеты, радио, телевидение, кино, книги на Западе делают все, чтобы юный гражданин с молоком матери впитал нехитрую идею: в обществе равных возможностей твое счастье, то есть твое богатство, целиком и полностью зависит от тебя, от твоей предприимчивости, изобретательности, хватки, энергии. Будь понастойчивее, думай, ищи хорошую идею — и ты обязательно схватишь синюю птицу за хвост, выбьешься в люди, станешь миллионером.

Казалось бы, в век невиданной концентрации капитала, в век гигантских монополий, которые полностью контролируют экономическую жизнь в капиталистических странах, кто может рассчитывать на то, что люди поверят в эту чушь с сосисками? Но нет, апологеты капиталистической системы, не жалея сил и средств, вновь и вновь в бесчисленных вариантах рассказывают подобные истории, приводят «документальные» факты, убеждают, что все это возможно. В последнее время такие байки публикуются особенно охотно, а имена удачливых предпринимателей то и дело появляются на страницах газет и журналов.

Вот пожалуйста: Уолли Эймос, простой американский труженик, к тому же негр. Он придумал добавлять в обычные чипсы шоколад и орехи, сделав их любимым лакомством по всей Америке. За неделю он выпекает и продает по шесть тонн таких чипсов. В первый же год существования его фирма продала продукции на миллион долларов.

Другой умелец, Алан Силверстоун, догадался добавлять в жевательную резинку вещества, имитирующие вкус мороженого, да не одного, а 28 сортов. Результат: полтора миллиарда проданных жвачек на сумму шесть миллионов долларов.

Вот как все просто. Хорошая, свежая идея, выдвинутая вовремя, — главное для успеха. Конечно, хорошие идеи на дороге не валяются. Их надо искать, а найдя, иметь смелость рискнуть поставить на них.

Робин Кук пытался добиться успеха в археологии, но нераскопанных городов уже почти не осталось, служил на подводной лодке, но там деньги «капали» не так быстро, как ему хотелось. Он решил попытать счастья как автор книг. Но подошел к делу строго научно. Кук отобрал 100 бестселлеров и полгода изучал их, пытаясь понять, что же нужно для успеха у современного массового американского читателя. И пришел к выводу, что нужен леденящий душу роман на медицинские темы с элементами мистики. Такой роман под названием «Коматозное состояние» он и написал. Расчет был точным: книга три недели удерживалась в списке бестселлеров, то есть лучше всего продаваемых изданий, выходила и в твердой, и в бумажной обложке, по ней поставлен

фильм. Автор, естественно, озолотился, купил дом, «мерседес», новый «фольксваген», мечтает приобрести ресторан и... стать послом во Франции.

Эти люди, «придумавшие» что-то хорошо продаваемое — книгу, машину, котлету, телевизионную приставку, — разжигают своими самодовольными улыбками страсти и надежды обывателя, являют собой как бы воплощенный идеал быстрого и легкого обогащения.

Но, рассказывая эти байки для простачков, буржуазные газеты и журналы всегда при этом кое-что не договаривают, а кое о чем просто умалчивают.

III

Они умалчивают, во-первых, о том, что все эти новоиспеченные богатеи на самом деле лишь мелкая рыбешка в водоеме, полном крупных хищников.

Перераспределение богатства в капиталистическом обществе идет в одном направлении: богатые становятся богаче, бедные живут еще хуже. В США, например, один процент населения — самые состоятельные американцы — владеет более чем половиной всего частного акционерного капитала, почти шестой частью всех наличных денег в стране, почти четвертью капитала, находящегося в собственности граждан США. Один процент владеет четвертью богатств страны!

Если же немного расширить этот «верхний слой», то окажется, что пять процентов населения владеют почти четвертью всей американской земли, почти двумя третями акционерного капитала, четырьмя пятыми облигаций государственных и коммунальных займов, почти всеми векселями и другими ценными бумагами. Все это оценивается суммой в триллион с лишним долларов, достаточной, чтобы купить весь общественный продукт США, а заодно и нескольких небольших европейских государств, вместе взятых.

Почти вся остальная Америка работает на эти пять процентов, создавая их богатство. Незримую грань, которая отделяет тех, кто работает, от тех, на кого работают, перейти трудно. На пытающихся это сделать с бесстрастностью механического чудовища взирают гигантские корпорации, вооруженные батареями электронно-вычислительных машин, искушенными экспертами, располагающие огромными экономическими, политическими и юридическими возможностями, чтобы подавить любую попытку мелких предпринимателей прорваться в их круг и ухватить кусок пирога.

Рекламируя новых миллионеров, средства массовой информации, как правило, сильно преувеличивают их достижения. Сообщают, например, о сумме продажи какого-нибудь изделия: она достигла миллиона. Но эта цифра еще не прибыль. Прибыль даже самого процветающего предприятия составит лишь 10—15 процентов этой суммы, а после уплаты налогов еще меньше. Таким образом, этому новоиспеченному миллионеру понадобится не менее 10 лет, чтобы, ведя самый скромный образ жизни, накопить вожделенный миллион.

Но кто ему даст эти десять лет? Механическое чудище не дремлет. Оно неотвратимо втягивает в свои жернова все, что попадается ему по пути. Статистика свидетельствует: каждый год толь-

ко в Соединенных Штатах терпят банкротство 10—15 тысяч фирм — намного больше, чем возникает новых. На каждого счастливца, пробившегося наверх, говорит американский исследователь Ф. Ландберг, «приходится около 10 тысяч человек, которые выбились из сил и харкали кровью на скамье подсудимых».

Каждый год в Америке разоряется, например, несколько тысяч мелких ферм. Не выдержав конкуренции, фермеры бросают прогоревшее «дело», снимаются с места, отправляются куда глаза глядят, чтобы начать все сначала. Зададимся вопросом: а куда деваются собственно фермы — земля, постройки, скот, машины?

Перекупленные у обанкротившихся крестьян, они вновь сдаются в аренду другим желающим попытать счастья. Так же бывает с оборудованием мелких предприятий, магазинов, мастерских, парикмахерских и т. п. Одни и те же производственные фонды много раз продаются и перепродаются длинному ряду неудачников. Эта дьявольская механика приносит громадные прибыли крупным корпорациям, которые обогащаются и жиреют на крови и костях одураченных людей.

И те, кого волна удачи все же выносит на поверхность, оказываются лишь калифами на час. Ф. Ландберг прослеживает судьбу многих «новых миллионеров» недавнего прошлого. Отшумели газетные сенсации, и наступил «момент истины»: их состояния лопнули, как мыльные пузыри, сами они бесследно исчезли в водовороте бизнеса, многие умерли в долгах и нищете.

А на стезю предпринимательства выходят новые простаки, неся с собой скопленные ценой долгих лишений несколько тысяч и веру в то, что их можно быстро превратить в миллион.

IV

Небольшая по объему детская книжка, вышедшая недавно в Англии, была немедленно издана в Америке и разошлась гигантскими тиражами в этих и других странах. Это сказка, придуманная и иллюстрированная Китом Уильямсом, бывшим служащим английского военно-морского флота. Называется она «Маскарад». Сюжет книги незамысловат. Лунная девушка полюбила неуловимое Солнце. Чтобы привлечь к себе внимание, она посылает к нему гонца — Зайца, который должен передать Солнцу подарок — инкрустированный драгоценными камнями золотой кулон. Но, прибыв к месту назначения, герой обнаруживает, что подарок Лунной девушки он потерял.

На этом книга и кончается, и непонятным кажется, что заставляет сотни тысяч людей — и прежде всего взрослых — покупать ее за немалые, кстати, деньги: 10 долларов за 32 странички текста и картинок. А заставляет вот что. Хитрый морячок — автор книги — еще до ее издания изготовил из семи унций золота, камней рубина и бирюзы амулет в виде зайца. Он поместил его в керамический сосуд и закопал лунной летней ночью в присутствии единственного свидетеля — «где-то на Британских островах». Потом Уильямс объявил, что указание, как найти Золотого Зайца, содержится в книжке и что расшифровать его легко может даже десятилетний ребенок. Кто его найдет, тот и возьмет. Если разгадать загадку удастся человеку, который живет за пределами Англии, он, Уильямс, готов даже оплатить дорогу.

И началось. Тысячи людей — их стали называть «маскарадника-

ми» — бросились на приманку. Вдоль и поперек читают и перечитывают они страницы книжки, рассматривают картинки, ищут разгадку. Один студент оставил учебу, его товарищ — работу, чтобы стать профессиональными «маскарадниками» и посвятить все свое время таинственному Золотому Зайцу. Лондонский торговец предметами старины обратил внимание на то, что в книге часто встречается цифра семь. Он решил, что Заяц закопан где-то в районе реки Северн. Посадив жену в машину, он проехал сотни миль в течение нескольких недель. Однажды, когда они копались в укромном местечке поздно ночью, кто-то спустил на них с цепи огромную собаку. Кладоискатели изрядно перепугались. Через несколько минут на место прибыли полдюжины полицейских, и яркий свет прожекторов залил всю округу. Вся эта охрана была приставлена, однако, не к Зайцу, а к какому-то ядерному объекту.

Этот конфуз не остановил, однако, тысячи других зайцеискателей. Вновь и вновь они с азартом и возбуждением бросаются в поиски, вновь и вновь терпят неудачи. Никому пока не удалось озолотиться в один миг. Но кое-кому «волшебный» заяц приносит неплохой навар: издателям книги, торговцам...

Так работает система. Только для того, чтобы она функционировала безотказно и дальше, придумываются сказки о золотых зайцах. Только для этого разжигают у обывателей алчность и слепую веру в возможность «пробиться наверх».

Историями о продавцах сосисок буржуазная пропаганда внушает, будто и сегодня любой нищий может стать миллионером, поддерживает наивно-ностальгические иллюзии о «честной и свободной конкуренции», которая, как неопровержимо доказал В. И. Ленин, «невозможна, после того как она родила монополии».

●

Геннадий ГУСЕВ

ПУТЬ ПРОБУЖДЕНИЯ, ИЛИ СТРАНСТВИЯ ВЕЛИКОЙ МЕЧТЫ

ПРЕДТЕЧИ

ЕРЕТИКИ

Теперь нам предстоит окунуться в огненную купель бунтов, жестоких классовых битв, пройти дорогой позднего средневековья, по обе стороны которой — частокол виселиц и эшафотов, поля, усеянные костями еретиков, имевших мужество поднять руку на святая святых несправедливого мира — частную собственность. Небо над этой дорогой багровеет заревами крестьянского «красного петуха», предвестника грозного возмездия эксплуататорам и душителям свободы.

Уот Тайлер в Англии, Жакерия во Франции, Великая крестьянская война в Германии, вольница Степана Разина в России... Скрежет разрываемых цепей — и новые цепи... Одна мечта, одна горестная судьба... И так — нескончаемо, упрямо, от поражения к поражению. Но страшные жертвы были не напрасны! От их костров зажигались новые светильники разума. На пепелищах несбывшихся надежд рождались новые идеи, новые страстные проповеди народных заступников. «Локомотив истории» двигался все быстрее.

Итак, наш путь — в долины скорби и гнева. Слово еретикам и бунтарям, носителям Мечты яростной, обжигающей, исступленной. Слово — о них.

Что могло стать идейным знаменем суеверного, темного, задавленного нуждой, одурманенного религией трудового люда? Для этой роли не подходили пышные и светлые одежды античности, в которые драпировалось Возрождение. Разумеется, дерзновенные антицерковные выпады гуманистов, их огромная работа по расчистке авгиевых конюшен средневековья, ориентация на героический энтузиазм личности — все это разжигало огонь народного гнева. Более того, лучшие из лучших, честнейшие из честных шли вместе с народом в бой за национальную независимость или воссоединение своих стран.

И тем не менее массовые революционно-антифеодальные движения, в том числе и первые победоносные буржуазные революции в Нидерландах и Англии, осуществлялись под религиозным флагом. Ведь на протяжении долгих столетий «чувства масс были вскормлены исключительно религиозной пищей; поэтому, чтобы вызвать бурное движение, необходимо было собственные интересы этих масс представлять им в религиозной одежде».

Да и сами гуманисты в подавляющем большинстве своем не годились на роли вождей революционных масс. Одни предпочитали оставаться над схваткой, разить врагов не мечом, а пером, размышлять о будущем, уповая на прогресс разума и нравов. Другие «лезли в драку», становясь, скажем, на сторону протестантов — буржуа, но при этом неизбежно теряли из виду общую перспективу происходящего.

Нельзя обойти молчанием позиции и взгляды гуманистов времен германской Реформации — этого первого акта европейской буржуазной революции.

Крупнейшая фигура среди них — Эразм Роттердамский, со-

Продолжение. Начало в № 9.

временник и друг великого утописта Томаса Мора, создатель бессмертной сатиры «Похвала глупости». Находясь в центре «кипящего котла», каким была Германия первой четверти XVI века, он немало сделал — оружием критики, с помощью сатиры — для подготовки массового восстания против духовной диктатуры Рима. Но, когда дело дошло до «критики оружием», Эразм уклонился от бурь, ушел в холодные сферы иронии и созерцания.

«Он был Вольтером того времени, великим революционером в области мысли, который своим скептицизмом, своим тонко выраженным сомнением, за которым на самом деле стояло неверие в старые истины, чрезвычайно сильно потрясал основы Средневековья» (А. В. Луначарский).

Эразм интересен для нас и как автор вдохновляющей, целостной утопии «вечного мира». Мечта о мире неотделима от мечты о лучшем будущем. Мира жаждал рыцарь Дон-Кихот, к миру взывали и Петрарка и Шекспир; но Эразм был первым автором стройной концепции миролюбия и содружества разных народов и рас. Ему за это — сердечная благодарность и похвала потомков!

Как актуально, как остро и точно звучат сегодня, через пятьсот лет, слова великого борца против мракобесия: «Большая часть народа ненавидит войну и молит о мире. Лишь немногие, чье подлое благополучие зависит от народного горя, желают войны».

...«Немецким Данте», рыцарем пера и меча был **Ульрих фон Гуттен**. Все его творчество носило воинствующе-публицистический характер; все силы свои отдал он делу борьбы с папством и феодально-княжеской раздробленностью Германии. Вот уж кто не боялся «обжечь себе пальцы»! Но, храбрый воин, он был столь же далек от народа и его чаяний, как и «олимпиец» Эразм. Его утопия «дворянской демократии» базировалась на истинно дон-кихотской мечте о восстановлении благородного, безупречного рыцарства. Это была красивая, но насквозь реакционная утопия, хотя и воевал Ульрих отнюдь не с ветряными мельницами, а с хозяевами этих мельниц.

Фон Гуттен, однако, одним из первых услышал грозный гул надвигающейся народной революции, страшился ее, но считал неизбежной: «Немецкий народ, замученный, угнетенный, задавленный поборами, не станет больше терпеть!»

Огромную роль в пробуждении революционного сознания народных масс Германии сыграл **Мартин Лютер** — отец Реформации, лидер бюргерско-умеренной оппозиции папству и феодальным князьям. Он был велик, когда открыто выступил с «Тезисами» против торговли индульгенциями, когда сжег публично папскую буллу, пробуждая в людях жажду свободы и духовного раскрепощения. Однако в конце концов, насмерть запуганный пожаром гражданской войны, профессор Лютер открыто предал свою паству, призывая душить восставших крестьян «как бешеных собак».

Революционно-плебейская оппозиция феодализму, проходящая огненной нитью сквозь все средневековье, выступала в ином, более радикальном виде. Народная ересь шла гораздо дальше бюргерских мечтаний о «дешевой церкви». Взоры угнетенных и их идеологов обращались в далекое прошлое, к «коммунизму»

первохристиан. Бесправная масса хотела выйти даже за пределы едва нарождавшегося буржуазного общества. Ничего не имея, она, эта масса, трудом своим создавала все богатства общества — и потому сознавала свое неотъемлемое право возродить правду, справедливость и равенство — в рамках веры, во имя веры. Средневековые ереси — не в лютеранском, а в революционно-демократическом своем варианте — стали переходной стадией от «коммунизма потребления» первых христианских сект к утопическому социализму XVI—XVII веков.

«ПРЕДЧУВСТВИЕ КОММУНИЗМА»

Наивысшей точки смутные устремления плебейских масс достигают в революционной проповеди действием великого еретика, революционера и мыслителя Томаса Мюнцера. Трудно найти в предшествующей истории человека, который сумел бы, как он, вобрать в свое пылкое сердце всю вековую боль обездоленных, переплавить ее в яростные лозунги борьбы и повести за собою массу неимущих на штурм бастионов феодализма. Единство слова и дела, мысли и поступка, пламенная цельность натуры — все это делает Мюнцера прямым предшественником пролетарских революционеров.

Он был первым, кто осознал необходимость внесения революционного сознания в забитую, инертную трудящуюся массу, без подъема которой на решительную борьбу теряла смысл вера в осуществление даже самых разумных и красивых социальных проектов.

Жизнь, учение, борьба и смерть славного «Томаса Мюнцера с молотом» (как он иногда называл себя сам) поистине героична. Его мужество, безоглядная храбрость, несокрушимая крепость духа — все эти доблести были вскормлены огромной любовью и сочувствием к угнетенным. За свободу и счастье обездоленных отдал он все силы своего могучего ума, всю короткую, ослепительно яркую жизнь.

Жизненный путь талантливого юноши был поначалу как будто гладок: благодаря блистательным способностям он становится доктором богословия. Перед ним открывались соблазны «пути наверх». Но что карьера и слава, когда вокруг стонет народ? И совсем еще молодой капеллан уже в 1512 году создает в Галле «тайный союз против архиепископа Магдебургского и римской церкви воообще» (Ф. Энгельс). Позднее, накануне Крестьянской войны, он создаст «Союз избранных», нацеленный на ниспровержение существующего строя.

Его сердце все больше наполняется, говоря изумительными по точности словами Энгельса, «предчувствием коммунизма».

Мировоззренческая эволюция Мюнцера привела его к убеждению, что рай, царство божие надлежит установить на земле. Ведь не на небесах, а на земле человек «посредством пробудившегося разума уподобляется божеству и достигает блаженства». Нетрудно заметить, что выводы великого еретика впрямую перекликаются с абстрактными постулатами идеологов Возрождения. Но у Мюнцера они наполняются энергией революционного действия, а не высказываются впрок, для туманного будущего неведомых потомков.

Такие взгляды, однако, не могли быть впрямую восприняты крестьянством, напичканным наивными иллюзиями о «справедливых» господах, о мирном труде на своем клочке земли. Когда отчаянию крестьян не было предела, они брались за вилы, за топоры; но по классовой природе своей они были склонны к компромиссам, доверчиво шли на лживые дворянские посулы... Скорбные дороги Великой крестьянской войны 1524—1525 годов усеяны трупами простаков, полагавшихся на «честное слово» вероломных господ...

Да, крестьянство должно было составить основу, массу вооруженного «христова воинства». Но во главе этого воинства, по мысли Мюнцера, могли стать только городские плебеи. Они равно чужды как феодализму, так и бюргерству. Им воистину нечего было терять, кроме своих цепей.

Свободные и отчаявшиеся, они в фантазии своей предвосхищали будущее без частной собственности. В памфлетах и воззваниях Мюнцера они видели проблески надежды на новую жизнь. Об утопически-коммунистическом «приоритете» Мюнцера Энгельс сказал так: «У него впервые они (проблески коммунизма. — *Ред.)* формулируются с известной определенностью, и, начиная с него, мы встречаем их снова в каждом великом народном потрясении, пока они постепенно не сливаются с современным пролетарским движением».

Каковы же вкратце основные черты политической программы Мюнцера и его партии?

Ликвидация частной собственности, классовых различий, обобществление промыслов и имущества, установление «народоправной» республики. Утопист-практик, Мюнцер не детализирует свой проект будущего социального устройства: для него важнее сперва разрушить, а строить потом. Но не медлить с разрушением! Да здравствует справедливое революционное насилие! «Железо горячо, куйте его!»

Из наиболее надежной части тогдашних революционных элементов он создал штат агитаторов — неутомимых, фанатичных и бесстрашных. Этим-то «рычагом» и была поднята на высший свой гребень вся Крестьянская война в Германии.

Таким высшим гребнем стала «коммуна» города Мюльхаузена. На короткое время Мюнцер и его соратники пришли к власти и получили возможность на практике приступить к реализации своих планов. Увы, очень скоро выяснилось, что ни движение, ни массы, а главное — сама эпоха не созрели для проведения в жизнь предчувствий и «проблесков» неистового Мюнцера. Да, в Мюльхаузене были провозглашены: «общность всех имуществ, одинаковая для всех обязанность трудиться и упразднение всех существующих властей». Однако на практике все ограничилось лишь всеобщими выборами городского сената и наспех организованным обеспечением бедных. И дело не только в краткости мига власти.

Трагедия опередивших время...

ПЕРВЫЙ ЧЕРТЕЖ

В феврале 1978 года человечество отметило 500-летие со дня рождения удивительного человека, одного из «опередивших время». Его имя Томас Мор.

Он первым ступил на стезю утопического социализма. Начать с того, что именно он употребил греческое словосочетание «утопия» — место, которого нет. Этим словом была поименована родившаяся в фантазии мыслителя чудесная страна всенародного счастья и благоденствия.

«Осколки» утопических воззрений, догадок, прозрений, литературных реминисценций по поводу идеального прошлого или будущего были собраны вместе, осмыслены и переплавлены им в единую систему, а главное — четко ориентированы в грядущее. Система эта прописана в деталях, тщательно обоснована и политически, и социально, и нравственно. На «карте истории» появился еще один, но самый продуманный чертеж принципиально нового общественного устройства!

Он прожил свою жизнь совсем иначе, чем его тезка, великий немецкий бунтовщик, а закончил тоже под топором палача. Все в них, казалось бы, противоположно: происхождение, образование, даже характеры — лед и пламень, исступленная ярость одного и невозмутимость другого... А между тем с разных полюсов социальной лестницы — немецкий еретик и благочестивый английский лорд-канцлер — они шли в одном направлении, к одной цели.

Знакомство с биографией и главной книгой Мора убеждает: сочувствие угнетенным было главным и неисчерпаемым аккумулятором его фантазии. К числу лучших страниц «Утопии» относятся гневная, обжигающая критика Мором политики «огораживания», изгнания крестьян с земли, с которой начиналась история первоначального капиталистического накопления.

Но не только сочувствие, сострадание, боль. Будучи человеком огромной эрудиции, Томас Мор скрупулезно изучал догадку об ином, более справедливом устройстве человеческой жизни. У него выработался идеал свободной личности в свободном обществе, то есть гуманистический идеал. Его внимание не могла не привлечь по-своему целостная, стройная государственная (не общинная) утопия Платона. Однако при этом не было никакого эпигонства, никакой «солидарности аристократов»! Гуманист всецело побеждает лорда. Идеальное государство Платона утопист предназначает не для философов, а для трудящегося народа.

При всем при том «красный» лорд-канцлер был решительным противником народных восстаний и всяческого «смутьянства». Из тех же побуждений он выступил против реформации английской церкви (и за это поплатился головой). Не за «Утопию» его казнили: она казалась тогда всего лишь забавной сказкой...

Упаси, боже, от бунтов! Но как быть, если имущие сами толкают массу трудящихся на отчаянные акты безумства? Может быть, спасение в «идеальном», высоконравственном правителе, который разгонит дармоедов и облагодетельствует нацию? Многие гуманисты начиная с Данте уповали на просвещенную монархию. Но Мор идет дальше. Выход найден! Корень зла — в частной собственности, и потому ее надо уничтожить полностью!

Мысль сама по себе, как мы теперь знаем, не новая. Новизна, и принципиальная, заключается в совершенно необычной организации общества, всех его институтов, быта, а главное — производства. До Мора можно говорить об элементах, оттенках и проблесках коммунистического идеала в произведениях тех или

иных мыслителей или художников. После «Утопии» мы говорим о системе социально-утопических взглядов.

Мору глубоко чужды эгоизм и анархизм; ему никак не подходит девиз телемитов: «Делай что хочешь». Утопическое общество организовано рационально, с учетом требований разума, природы человека, с ясным пониманием необходимости упорядочения общественной жизни, производства, распределения и потребления в государственном масштабе.

Мало заявить: долой частную собственность! Куда важнее показать, что без нее можно наилучшим, достойнейшим образом устроить жизнь человека. Для этого нужны, в свою очередь, определенные условия. Главные из них: всеобщий труд, планомерное ведение хозяйства, равенство меры труда и меры потребления, равенство политическое. Так чисто логическое развитие гуманистических принципов человека как самоцели, равенства людей неизбежно приводят Мора к коммунизму.

Но будут ли, захотят ли трудиться люди, если все станет общим, если исчезнет могучий стимул погони за личной выгодой? Томас Мор впервые бестрепетно поставил этот ключевой вопрос. О, сколько спекуляций, пошлостей, сомнений высказано было потом по сему поводу буржуа и их теоретиками! Мор дал принципиально верный ответ: будут трудиться, захотят трудиться, научатся трудиться на общую пользу, поскольку это самым непосредственным образом идет и на личное благо.

Более того, труд из подневольного ярма станет радостью, привычкой здорового организма; он сумеет высветлить, выявить в человеке все самое лучшее: творческие способности, инициативу, радость поиска, высокое чувство бескорыстного удовлетворения сделанным.

Сегодня, через много веков после выхода «Утопии», с вершины завоеваний реального социализма, нетрудно заметить в ней массу неясностей, несообразностей. Однако гораздо более продуктивное занятие — поиск первоначал, истоков как будущих истин, так и будущих заблуждений (без которых, конечно же, не могло обойтись продвижение по неизведанному пути).

Несколько слов о заблуждениях Мора, их природе и уроках. Как-то не вяжется, скажем прямо, с образом светлого царства свободной Утопии институт рабства. Мор, конечно, чувствует неудобство и противоречивость такого сочетания. Но, скажите на милость, кто же из утопийцев будет добровольно, радостно делать неприятную, тяжкую, грязную работу? Ну, хотя бы чистить отхожие места! Добровольцев нет? А заставлять, принуждать — означало бы попирать свободу, нарушать незыблемые принципы гуманизма. Отсюда проистекает не экономическая даже, а моральная неизбежность превращения в рабов части — совсем небольшой! — жителей Утопии, ставших на путь преступлений, а также военнопленных. Рабство как гражданское состояние не передается по наследству: сын раба отнюдь не обязательно раб. И все же...

Но тем не менее сила воздействия «Утопии» на все последующее развитие общественной мысли и искусства просто уникальная: все социальные и нравственно-эстетические «коммунистические» утопии XVI—XIX веков — от Кампанеллы до Кабе, от Рабле до У. Морриса — восходят, как к своему идейному

первоисточнику, к удивительной книге Т. Мора. В «самоочевидности» доводов разума, в гуманизме черпал Мор уверенность в обязательном приходе коммунизма. Однако понадобились века, а главное — понадобилось рождение и возмужание пролетариата, чтобы в полном объеме была осознана истинная цена этой «самоочевидности», иные, революционные пути ее утверждения на земле...

ГОРОД СОЛНЦА

Третьим предтечей коммунизма по праву можно назвать последователя Мора и Мюнцера, «третьего Томаса» — **Томмазо Кампанеллу.**

В науке почти аксиомой стало утверждение о некой теоретической «вторичности» идей Томмазо. Так что «коммунисту-доминиканцу» как бы заведомо отводится роль популяризатора чужих концепций. Многие исследователи полагают, что влияние книги Мора на Кампанеллу было поверхностным, малозначительным, а собственные умозаключения итальянца представляют шаг назад по сравнению с «Утопией». Получается, будто лишь необычная биография автора сделала «Город Солнца» предметом восхищения и благодарности потомков. Так ли это? Попытаемся разобраться.

Сын сапожника, Кампанелла случайно, у доброго человека научился читать и писать. Его неудержимо влекло к знанию — и потому он оказался в монастыре, который в те времена был единственной дорогой к учености. Кампанелла превозмог все, постиг вершины богословия и тогдашней науки. «Не надо жалеть ни трудов, ни свечей!» — таким был его лозунг в ученье.

А далее — самая гуща политической борьбы за свободу Южной Италии (Калабрии) от испанского владычества. Молодой Томмазо проходит еще один «университет» — подготовку восстания против чужестранного владычества. И при этом все чаще, все мучительнее задумывается: а кто же придет вместо испанцев? Кто станет править народом по справедливости? Да и что это за справедливость, когда все блага и радости жизни узурпированы кучкой богачей?

Так от борьбы, от непосредственных нужд и целей народного восстания шел Кампанелла к своему «Городу Солнца», к своей прекрасной мечте об обществе без частной собственности, без поругания и порабощения человеческой личности.

Восстание в Калабрии сорвалось. Его вождей-заговорщиков (в том числе Кампанеллу) посадили в тюрьму. От немедленной смерти на испанском эшафоте его спасло... вмешательство папской курии. Рим объявил Томмазо опасным еретиком; им на протяжении двадцати семи (!) лет занималась инквизиция. Двадцать семь лет карцеров, нестерпимых пыток... Откуда же брались силы, чтобы выжить, выйти на волю — и победить, не сломившись, не предав мечту?

Постоянные занятия наукой, высокая цель, жесточайшая самодисциплина, жажда знания, которое надлежит обратить на благо человечества, — в этих высоких помыслах источник поразительной жизнестойкости утописта. Не случайно многие революционеры будущего, узники инквизиций и государей, учи-

лись у Томмазо «науке выживать» — выживать не ценой пресмыкательства и покаяния, но ценою мужества и находчивости.

Кампанелла — первый великий мастер революционной конспирации, подпольной пропаганды. На протяжении многих лет он притворяется сумасшедшим, чтобы не дать инквизиции убить себя, чтобы продолжать служить делу свободы и человеческого братства. Какую выдержку и смекалку, какую волю надо было иметь, чтобы гениально имитировать безумие даже под самыми изощренными пытками!

Кампанелла — по-итальянски значит «колокол». На его долю выпали не только безмерные страдания, но и высокая честь быть набатным колоколом, зовущим к борьбе, возвещающим начало новых судеб человечества.

Трудно удержаться, чтобы хоть вкратце не рассказать о героической жизни Кампанеллы. Однако пора войти в Город Солнца, познакомиться с его законами и обитателями. При этом, наверное, будет правильно не останавливаться на уже известных перекрестках (напоминающих по своей сути «Утопию» Мора).

То, что отличает утопию Кампанеллы, — не всегда в ее пользу. Многим объясняется это: и долгим монашеством автора (не случайно его Город напоминает структуру монашеского ордена); и его увлечением астрологией и Платоном (книга местами читается трудно из-за всякого рода мистических рассуждений), и его долгим заточением. Наверное, во многом отсюда проистекают суровый аскетизм, почти казарменное однообразие быта соляриев.

Все так! Но по ряду пунктов Томмазо опережает блистательного Мора. Прежде всего в «Городе Солнца» сокрыт куда бо́льший революционный заряд. Кампанелла не верит в неопровержимость доводов разума самих по себе. Убеждать и воспитывать нужно, однако, если понадобится — нужно и принуждать, и применять силу. Солярии способны взять оружие не только для защиты от внешнего врага, но и для изгнания тиранов. Да и сам Город, по недвусмысленным намекам автора, возник в результате победоносного восстания народа («Сначала ведь все исторгается и искореняется, а потом уже созидается, насаждается»).

Гениальны догадки Кампанеллы и в области наглядного образования. Это итог напряженных поисков утопистом наилучших путей и средств раскрытия и развития творческих способностей личности. Многое (в том числе астрологию с ее «знамениями») примешивает он сюда; но, помимо гороскопов, Кампанелла говорит о постоянном и разнообразном обучении соляриев, о смене ими видов труда, о развитии науки и т. д.

Без малого через триста лет после выхода в свет «Города Солнца» В. И. Ленин, оценивая утопию Кампанеллы, в частности идею наглядного, «уличного» образования, агитации и воспитания соляриев, скажет: «Это далеко не наивно и с известным изменением могло бы быть нами усвоено и осуществлено теперь же». И широчайший по размаху и смелости ленинский план монументальной пропаганды ярко продемонстрировал то, что ни одна полезная догадка, идея в огромном духовном хозяйстве человечества не исчезает, она идет на благо

людям, если судьбы истории в руках подлинных хозяев жизни, в руках трудящихся масс.

«ЗАКОН СВОБОДЫ» ИЛИ ДИКТАТУРА НАУКИ?

Минуло столетие с того момента, когда скатилась на плаху голова упрямого Мора. Туманный Альбион, набирая скорость, все стремительнее приближался к буржуазной революции на «локомотиве» бурного промышленного развития. В XVII веке, как грибы после дождя, растут акционерные и торговые компании; «пламенеющим языком огня и меча» (К. Маркс) пишется одна из классических (в своей бесчеловечности и в своем соответствии природе буржуа) глав истории — английская глава становления и утверждения капитализма.

Что же стало с мечтой о счастье после ее прямого столкновения с новой жестокой формой эксплуатации трудящихся? В какие пределы, в какие небеса взвивалась она, словно мечущаяся в страхе птица?

Буржуазная революция в Англии вызвала на какое-то время оживление гуманистической мечты о «царстве Разума», волну иллюзий очищения человечества от скверны феодальных, а заодно и буржуазных порядков, иллюзий некоего возвращения человека к самому себе как «сыну божьему». Известно, что вся английская революция, сверху донизу, была плотно укутана в библейские одежды. Она воспользовалась, говоря словами К. Маркса, языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета.

Поэтическим пророком этой революции, ее «трубным гласом» стал **Джон Мильтон** — яркий представитель гуманизма на излете Возрождения, на переломе к Новому времени.

Великие идеи, словно свет погасшей звезды, продолжают подчас долго жить в иных исторических условиях — до той поры, пока общество не выработает принципиально новых, соответствующих происшедшему социально-экономическому перевороту идей. Так было и с гуманизмом Возрождения, ориентированным на духовную свободу и достоинство личности. «Люди от природы рождаются свободными, неся в себе образ и подобие самого бога» — эти слова Мильтона почти текстуально совпадают с заявлениями Мирандоллы или Дж. Бруно.

В условиях подъема буржуазной революции генеральная идея гуманизма работает прежде всего в пользу концепции народовластия и политического равенства, становится идеей тираноборческой. Власть принадлежит народу: покушение на его свободу есть тягчайшее преступление, караемое изгнанием и даже казнью узурпаторов. Так «свет умерших звезд» поджигал королевские троны!

В годы революции муза Мильтона молчала; зато гневно рокотал набат его свободолюбивой публицистики. Но вот в 1660 году вернулись к власти Стюарты, постаравшиеся втоптать в грязь последние ростки народных надежд. Над Мильтоном, глашатаем свободы, сгустились тучи. Чудом спасенный от гибели, гонимый, неотвратимо слепнущий, он находит в себе силы совершить беспримерный подвиг — создать три огромные эпические поэмы, в которых под религиозно-аллегорической оболочкой библейских

мифов воплощен философский взгляд поэта на предназначение Человека, содержится целостная этическая утопия о путях к общечеловеческому счастью.

Громадная, величавая поэтическая трилогия Мильтона масштабом, звонкозвучьем, монументальностью своей напоминает Дантову «Божественную комедию». Поэмы эти требуют работы ума и сердца, труда чтения. Но зато какая необъятность откроется тому, кто дерзнет последовать за «горнею» музой поэта!

«Потерянный рай» — подробное повествование о райской жизни Адама и Евы, об их грехопадении, о свете надежды на грядущее очищение и благодать. Рай изображается Мильтоном вполне в духе легенды о «золотом веке». С одной только, но зато важнейшей, поправкой: Адам и Ева не просто «срывают цветы удовольствия», но радостно трудятся, «предаваясь обязанности милой: холить сад, оберегать растенья и цветы».

Всем строем своих поэм Мильтон убеждает: трудясь и постигая неизведанное, преодолевая «бесовские наваждения» гордыни, корыстолюбия, эгоизма, человечество, пусть медленно, будет двигаться к новым берегам, к новым, добродетельным и справедливым формам жизни. Наступит земной рай! Мильтон верит:

Наступят бесконечные века,
На правосудье, истине, любви
Основанные прочно; их плоды:
Отрада и блаженство без предела.

По-своему берегли и воскрешали Мечту народные проповедники равенства по труду. Они были такими же истово верующими, как и анабаптисты времен Мюнцера. Но вместе с тем они не предали забвению и жаркую мечту Томаса Мора. Левеллеры пытаются снизу соединить, синтезировать революционно-демократическую и гуманистическую программы пересоздания общества на началах утопического «коммунизма». Высшая отметка такого рода попыток в Англии — «Закон свободы» Джерарда Уинстэнли.

Взгляды Уинстэнли — это смесь еретических, революционно-демократических упований и христианского гуманизма. До конца дней он надеялся на поддержку «просвещенных», услышавших голос Разума, властителей. Эта иллюзия перейдет потом к его единомышленникам — утопистам XIX века — как признак социальной незрелости неимущих, робости, неверия их заступников в очищающую силу народного возмездия.

Однако не забудем: Уинстэнли и его «диггеры» (копатели) еще на гребне революции. Еще не рассеялся дым сражений, и потому они не только просят, убеждают вождей буржуазии (в частности, Кромвеля), но и требуют немедленного осуществления своего проекта «общественного спасения». А суть его ни много ни мало — в немедленном уничтожении частной собственности на землю. Причем не в сказочной «Утопии», не в отдаленном будущем, а здесь, в Англии.

В этом пункте обнаруживается принципиальное отличие утопии Уинстэнли от всех его предшественников. Правда, Мюнцер тоже провозглашал свое «царство божие» именно на немецкой земле как зреющий плод победоносной плебейско-крестьянской революции. Но мы знаем, насколько неясной, расплывчатой в

своей позитивной части была его программа. Уинстэнли предлагает (подобно Мору) тщательно проработанную во всех деталях схему — и даже конституцию — желанного для бедняков республиканского, социалистического по сути своей жизнеустройства.

Влияние сектантской традиции на эту схему несомненно. И вместе с тем Уинстэнли более практичен, терпим и дальновиден, нежели аскеты-уравнители. Он полагает возможным, например, сохранить моногамную семью как ячейку общества. Он отнюдь не настаивает на коллективных трапезах. Главное для него — организация производства (по семейному принципу) и распределения (только из общественных складов в соответствии с разумными потребностями).

Самое страшное и для Уинстэнли — это бацилла стяжания; и потому купля-продажа чего-либо влечет за собой по «Закону свободы» тягчайшие кары. Государство Уинстэнли лишено каких-либо признаков анархии. Все трудятся, в том числе и лентяи — по принуждению, но подавляющее большинство — по внутренней потребности, по привычке, по природе здорового организма. Дабы труд был радостью, в государстве Уинстэнли предусмотрены показательные общественные мастерские, в которых детей обучают мастерству с учетом их интересов и склонностей. Наконец, все без исключения свято соблюдают законы. Небольшой, но эффективный выборный государственный штат чиновников строго следит за выполнением каждым гражданином своих общественных обязанностей.

Короче — никаких чудес! Все рационально, все доступно пониманию, все может осуществиться тотчас же. Нужны только добрая воля, желание образованного и многоопытного в государственных делах меньшинства принять добровольно участие в утверждении «Закона свободы». Как говорится, «дело за малым», поскольку в желании (и готовности к переменам) эксплуатируемого большинства Уинстэнли не сомневается ни на секунду.

...Нельзя умолчать и еще об одном, чрезвычайно своеобразном, противоречивом, интересном по содержанию и историческим судьбам своим «зигзаге» мечты о гармонии Человека и бытия. Речь пойдет об утопии великого буржуазного философа и мыслителя, родоначальника опытного знания **Фрэнсиса Бэкона.**

Бэкон, образно говоря, последний мыслитель Возрождения и первый философ Нового времени. Он мечтает о магическом жезле, которым обладал волшебник Просперо из шекспировской «Бури» и которому повиновались бы силы природы. Жезлом таким оказывается наука. Бэкон полон юношеской, безоглядной и наивной веры в науку, полон предчувствия грядущей технической мощи человечества.

Устами и трудами Бэкона говорила восходящая буржуазия. Тогда ей все казалось по силам. Человек сумеет распознать тайны природы и покорить ее! Таков пафос Бэкона, и в этом непреходящее его значение в истории человеческой мысли.

Но Бэкон идет дальше. Ну, покорит человек природу, а сам-то как будет жить? Раздумья приводят философа к созданию оригинальной литературной утопии. Она называется «Новая Атлантида». Немалый намек в этом названии: утопия Платона

называлась «Атлантида», а именно Платона высоко чтил Бэкон (и не один он, как мы знаем). Чтил и как философа, и как социального мыслителя.

Следуя в своей утопии «линии Платона», Бэкон создает свой вариант общества социальной стабильности и достатка.

Ему, как и многим, не давал покоя призрак революции и бунтов. Как же обеспечить решение извечной проблемы, чтобы «волки были сыты и овцы целы»? Ведь «овцы» создают материальные блага; держать их в страхе и покорности — дело возможное, но ненадежное; неминуемы взрывы возмущения, грозящие порядку, законности, прогрессу.

И вот панацея найдена! Она, торжественно объявляет философ, в бесконечном развитии науки. Оплодотворяемое научными идеями производство обеспечит в конце концов желанное изобилие материальных благ — будут сыты и волки и овцы! Счастья хватит на всех. Кому же бунтовать, если первоисточники бунтов и недовольства — голод, нищета, отчаяние будут ликвидированы навсегда!

Мы наследуем бэконовскую идею всесильного знания, ибо понимаем, что автору «Новой Атлантиды» удалось впервые отыскать ключ к изобилию. Ключ этот не в консервации первобытности или общиннoремесленного натурального производства, но в безграничном развитии творческой деятельности человека. Эти «зародыши всестороннего развития», сокрытые под «теологическими непоследовательностями», под аристократизмом, высоко ценил в Бэконе Карл Маркс.

ЗАВЕЩАЮ ВАМ БУДУЩЕЕ

Мятежный XVIII век, сровнявший с землей королевскую Бастилию, возведший, можно сказать, уже на мировой трон капитал, именуется веком Просвещения. Именно оно подспудно готовило революцию; утверждая всесилие человеческого разума, просветители сеяли сомнения во всемогуществе бога, в разумности очевидно неразумных и несправедливых социальных установлений. Посевы эти помимо воли «сеятелей» дали обильную жатву в 1789—1793 годах.

У самых истоков Просвещения мы обнаруживаем замечательного человека, который не только оказал огромное воздействие на свой век и его титанов, но и стал самым первым в истории автором революционно-утопической концепции коммунизма, созданной и обоснованной вопреки религии.

Имя его Жан Мелье, католический кюре из деревушки Этрепеньи во французской провинции Шампань...

Удивительная, а внешне ничем не примечательная жизнь; удивительная, а внешне благопристойно-смиренная смерть. Многое поражает в этом человеке и его судьбе. Он тоже «гражданин будущего», но только не раздавленный сомнениями, как Микеланджело на склоне лет; но тогда никогда не терявший веры в людей. К Мелье неприложим тезис о трагедии опередивших время. Он сознательно построил свою жизнь так, чтобы максимально послужить добром и своим современникам и отдаленным потомкам. Он не мог иначе. И он обрел счастье и бессмертие.

Эпоха Мелье — это эпоха «короля солнца» Людовика XIV, эпоха нескончаемых голодных народных бунтов, которые неумолимо расшатывали абсолютизм, власть церкви, дворянскую земельную собственность. Именно Мелье удалось уловить в грохоте социальных потрясений эпохи великую идею, с помощью которой, словно мечом, можно разрубить гордиев узел неразрешимых противоречий. Это была идея народной революции, сокрушающей троны, дворянство и церковь, созидающей на руинах самовластья и произвола справедливое сообщество тружеников.

За всю свою жизнь Мелье только однажды побывал в Париже, да совсем еще юношей — в Реймсе, где готовился стать священником. Затворник, домосед, молчун — как же, где же нашел он, когда успел взлелеять, обосновать и, наконец, столь подробно — в трех томах «Завещания»! — изложить великую свою Идею?

Задумаемся: всю жизнь человек живет, в сущности, на одном кусочке земли, среди своих прихожан... Кому — однообразие, скука, болото; а для пытливого Мелье — неисчерпаемый источник постижения жизни простого народа, его характера, морали, чаяний. Всю жизнь — глаза в глаза, рука об руку с крестьянами Этрепеньи; и в горе, и в немудрящих редких радостях, и в тягостных раздумьях о сущем... Деревня, общинный «мир» — его академия и лаборатория. Не отсюда ли абсолютный слух, невероятная чуткость к ударам народного сердца? Отсюда же глубочайшее понимание души народа, вера в его силу, моральную несломленность и убеждение, что народ всегда прав.

«Читая Мелье, я дрожал от ужаса», — признавался Вольтер. Угадав, почуяв революционную силу «Завещания», Вольтер поступил весьма своеобразно. Он постарался «разминировать» Мелье, изъять из его книги главный запал — идею народной революции. Вольтер сократил, «отредактировал» трехтомник Мелье, существенно обеднив содержание книги неистового кюре. И сделал это, признаться, так ловко, что вплоть до 1864 года (чуть не 150 лет), пока в Амстердаме не вышел подлинник «Завещания», почти никто и не догадывался о Мелье подлинном — страстном революционере.

А ненависть властителей в коронах и сутанах к Мелье — она может быть сопоставлена разве только с его собственной всесокрушающей ненавистью к любой тирании, к любой религии.

Сам Мелье категорически отрицал, что им совершены какие-либо открытия в социальной или научной области. Скромность? Не только. Хотя она и была органическим свойством его натуры. По глубокому убеждению Мелье, крамольные истины о неистинности бога, бесчеловечности власти богатства в принципе ведомы всякому образованному и честному (подчеркнем это!) человеку.

Всяк знает, да никто не скажет, ибо любого, кто осмелится отверзнуть уста, немедленно и безжалостно раздавит проклятая «троица»: трон, церковь, собственность. Потому и сам Мелье лишь в посмертном завещании видел единственный способ передать народу, людям свою великую идею.

Вслед за Уинстэнли Мелье выдвинул идею обобществления собственности в крестьянской общине. Он уловил в окружающем его мире нарастающее сомнение народа в богоизбранности монархии и дворянства, в «божественном промысле» церкви. Он угадал в толще темного, задавленного гнетом и нуждой крестьянства неистребимость мечты о достойной и справедливой жизни, неискоренимости народной трудовой морали, могущей стать исходным материалом для создания качественно нового социального строя.

Первое, что надо сделать, — это ударить молотом разума и гнева по частной собственности! Не только «тлеющей лавы» бунта боялись в книге Мелье интеллектуалы-просветители. Ужасало покушение на основу основ «культурного» бытия, благодаря которой одни пашут, сеют и страдают, а другие, избранные, мыслят, наслаждаются и творят.

Миром дело не обойдется, предупреждает Мелье. Надо отнять землю у сеньоров — лишь тогда иссохнет вековое дерево эксплуатации и неравенства. Знаменательно: нигде у Мелье нет ни слова о «переделе» или об «общем котле» богатства. Он глубоко постиг коварство собственничества: если сохранить — при любом уравнивании доходов! — частное владение землей, мастерскими и т. д., на место одних грабителей рано или поздно придут другие. Обобществление земли, средств производства — вот радикальное средство пресечь в корне любые попытки присвоения результатов чужого труда.

Всю свою жизнь Мелье был связан с церковью и религиозной догматикой. Он знал все тайны ее стратегии и тактики. И потому, как никто другой, сумел наносить ей сильнейшие удары. Он — атеист, и притом воинствующий. Атеизм для него не самоцель, не игра острого ума во имя утверждения примата человеческого Разума, но прежде всего средство достижения справедливости и блага для трудящихся.

В ниспровержении религии Мелье видел главное звено, разбив которое можно рассыпать и отшвырнуть прочь всю тяжкую, запутанную цепь рабства. Вышибить религию, словно табуретку, из-под ног королевской власти и дворянской собственности — и тогда на горле тирании надежно захлестнется петля народной ненависти.

Собственно, все «Завещание» есть обширный антирелигиозный трактат.

Мелье удалось ощутить, осознать возрастание сопротивления народа воздействию религии. Да так уж веками ведется, что религия цепко держит человека в своих когтях от рождения до смерти. Она присвоила и подчинила себе искусство; она заполнила неразвитое сознание простолюдина призраками и страхами. Однако не все подвластно ей. «Те среди народа, в ком есть хоть малость ума и здравого смысла, при всей своей невежественности, все-таки, так или иначе, прозревают и чувствуют пустоту и ложность того, чему их заставляют верить». Народ стихийно противится религии, а потому, по мнению Мелье, надлежит опереться на это стихийное сопротивление, обострить и укрепить его проповедью материализма.

Мелье не придумывал, не сочинял грядущее царство справедливости. Он сумел по-своему прочесть всю предшествующую историю утопий, повернув решительно и определенно от идил-

лических умственных конструкций к своему народу, к своей земле, к своему времени.

Мелье, повторяем, не строил воздушных замков. Он целиком и безоговорочно полагался на мощь разума, на добросовестность и дальновидность грядущих поколений, которые наверняка сумеют установить хорошие законы и выбрать умных правителей.

Дух свободы, безоглядной дерзости в атаке на «божественные» установления от Мелье унаследовал Дидро — самая выдающаяся фигура Просвещения, любимец Маркса. Не будет натяжкой сказать: дух Мелье, мятежный и гуманный, вспыхнул с новой, уже бессмертной силой в революционной теории научного коммунизма Маркса, Энгельса, Ленина.

ГОЛОС ЗЕМЛИ

А теперь, от ближних подступов к Бастилии, от берегов «доброй старой Англии», уже утвердившей в XVII веке диктатуру денежного мешка, двинемся на восток — в бескрайние российские просторы, в необъятную толщу народную, в стан русских мыслителей и борцов.

По камушку, по черепку, по бересточке, по строчке восстанавливают главную, становую жилу родной истории неутомимые советские исследователи. Благодаря их упорству и умению в последние годы удалось вырвать из забвения многие, казалось бы, навсегда утраченные дорогие имена, события, теории, учения эпохи раннего и позднего средневековья.

«Правда останется!» В это верили наши пращуры — верили неистово, самозабвенно, не щадя живота своего. В противовес идеологии господ они светлыми умами лучших своих заступников создавали свою идеологию, лелеяли свою неизбывную мечту.

Интенсивность и широта социальной мысли русского народа, дерзость прогнозов на будущее, его решимость в борьбе ничуть не уступали мысли, дерзости и решимости западноевропейцев.

Издревле на Руси были два широких «крыла» средневековой демократии. Одно, по Северу, — новгородское, вечевое, торговое; другое, по бескрайнему Югу, — казацкое, вольное, непокорное, от степей Украины до Яика, а потом дальше, в Сибирь-матушку, так и не познавшую крепостного ярма.

Великий Маркс, внимательно присматривавшийся к России и гениально предугадавший ее революционную миссию в XX веке, придавал огромное значение традиции казацкой вольницы. В его конспекте книги Костомарова «Бунт Стеньки Разина» читаем: «На берегах Волги существовало тогда казачество как отдельное общество». Маркс отмечал далее, что в середине XVII века казачество охватывало более половины территории Руси. Это была поистине «великая держава», бросившая вызов крепнувшему самодержавию.

В то же время было бы неверно предаваться идеализации вольницы. Ни на секунду нельзя упускать из виду главные тенденции исторического развития. И в этом свете казачество «было не новым жизненным каналом, а чем-то отсталым, устаревшим. Оно не могло произвести ничего, кроме мимолетной, как метеор,

эпохи Стеньки Разина, не могло проложить нового пути для русского народа» (К. Маркс).

Да, само по себе казачество не было созидательной восходящей силой. Но в качестве противовеса всевластию феодалов оно сыграло свою достойную роль, не говоря уже о сохранении в глубинах народной памяти идеала воли, правды, справедливости, отстаиваемых с оружием в руках. Более того: беднейшее казачество, голота, голытьба (то есть беглые крепостные) выступали за полное равенство, а также за общность имуществ.

Примерно с середины XVI века настроения крестьянских масс, их мечты и чаяния пробиваются в письменную литературу и публицистику. Голос народа, голос земли, сдавленный феодальной удавкой, начинает звучать то стоном гнева, то жалобным шепотом надежды в сочинениях самых первых русских народных заступников.

Одним из ранних выразителей народной, крестьянской социальной утопии был русский публицист **Ермолай-Еразм** (середина XVI в.), обосновавший учение о «едином обществе».

В основу этой утопии положено то самое «божественное», неделимое понятие правды, которое уходит в патриархально-общинные глубины. С позиций бескомпромиссной правды утверждается Ермолаем-Еразмом неотъемлемое право труженика на продукты своего труда на своей земле. Неработающие, то есть феодалы, чиновники и купцы, — это по сути своей тунеядцы, присваивающие обманом или силой чужое. Бедные и богатые созданы по образу и подобию божьему, а потому и равны перед богом. Установление этого равенства на деле и будет означать торжество Правды и всеобщей Любви. (Главный трактат Ермолая-Еразма так и называется «Слово о любви и правде».)

Каким путем — установление? Прежде всего путем воцарения «благохотящего» правителя, своего рода полпреда божьей Правды. Князь — представитель бога на земле, и смерды должны ему покорствовать (конечно, при условии идеального князя; на то она и утопия!).

Основа общества, его краеугольный камень — крестьянский труд. Еразм мыслит крестьянство основным сословием. Паразитирующее дворянство превращается в служилых людей (как в утопии Платона воины), защищающих родную землю от чужеземных ворогов. На их содержание предполагалось отчуждение $^1/_5$ доли крестьянского продукта. Аналогичным образом должны были обеспечиваться князь с челядью и управителями.

Предметом беспокойства для Ермолая-Еразма были деньги — «бесовское наваждение»; он сохраняет их только в городах для высших слоев своего «единого общества».

Утопии, подобные Еразмовой, оказались чрезвычайно долговечными. И не случайно: они базируются на патриархально-натуральном крестьянском хозяйстве, органично включают в себя идею равенства мелких собственников-производителей, их свободу (в пределах «божественной» законности князей). Они также не обижают, но вводят в строгие рамки и сословия вельмож, воинов, купцов. Вот почему эти утопии доживают в своей принципиальной первозданности не только до протопопа Аввакума, не только до Емельяна Пугачева, но и до Льва Толстого.

Рассмотрим вкратце еще одну, более радикальную, народную утопию. В основе ее лежит «Правда общности имуществ», сфор-

мулированная в духе передовых идей века. Автором и проповедником ее выступил (тоже в XVI веке) **Феодосий Косой**. Его учение, выражавшее настроения плебейско-городских слоев и беглых крестьян, представляет собой пик еретической мысли русского средневековья, сопоставимый по глубине и смелости мысли с ересью Томаса Мюнцера.

После побега из России (ему грозила смерть от Ивана Грозного за богохульство) Феодосий развернул проповедническую деятельность в Белоруссии и Литве. Здесь, вблизи европейских перекрестков, он активно впитывает все идеологические новинки Запада, бурлящего в котле Реформации, развивающего культуру под знаменем ренессансного гуманизма.

Феодосий стал как бы мостом, связующим передовые искания русской социальной мысли и общеевропейские идейные движения. Но при этом он оставался вполне оригинальным, более того — выдающимся мыслителем, выдвинувшим целостную концепцию «божественного» (что на тогдашнем языке означало — справедливого) общественного устройства во всемирном, всечеловеческом масштабе.

Небезынтересно, что, акцентируя внимание на общности имуществ, Феодосий никоим образом не уклонялся от вопроса об их источнике. Он, этот источник, один: труд земледельца.

Братство, созданное Феодосием, должно было послужить моделью «царства божия на земле». Увы, судьба его коммуны нам неизвестна... Но уже то, что мы знаем, полнит душу гордостью и удивлением: в такие-то давние времена мыслить о счастье не для себя лично и не для «ближних» (единоверцев) только, но — для «всея людие», для всей земли! Только с могучей, вечной жизненной силой травы, тонкими иглами своими пронзающей камни, асфальт, бетон, сопоставимы сила и бесстрашие Мечты народной.

...На Россию надвинулся век лихолетья и смут великих — XVII век. Воцарилась на целых триста лет династия Романовых. Крестьянин-вольнолюбец, доведенный до отчаяния, до полного предела терпения, брался за топор, уходил в казаки-разбойники, в степи бескрайние, в глухие леса.

Наряду с большими и малыми восстаниями против феодалов постепенно вызревает инакомыслие трудового крестьянства, которое потом, словно ударом молнии, раскалывает духовный ствол общества, оплот господства и угнетения — православную церковь. Оно приобретает огромные масштабы, соответствующую окраску и форму в старообрядчестве.

Староверы... Встает в памяти боярыня Морозова на картине гениального Сурикова: фанатичные, исступленные глаза, непокорно подъятое к небу двуперстие... Ненависть к новизне, ненависть к просвещению, тупое упрямство, слепое безумство неистовой веры; полыхающие живыми факелами таежные скиты...

Зачем делаем мы здесь остановку, какое отношение — даже косвенное — может иметь это явно консервативное идейное течение к движению за Правду народную?

Наука, историческая мысль, становящиеся все более зрелыми, избавляющиеся от прямолинейной вульгарности, возвращают

нам «реакционный раскол» в ином, более сложном виде, соотнесенном с психологией народа и духом эпохи.

В фундаменте староверчества лежит идеал старины, идеал свободной патриархальной общины, идеал социальной неподвижности. Он притягивал древние боярские слои, как огня боявшиеся нововведений, ибо с последними уходила земля из-под ног родовитых, вынуждая их уступать место под солнцем (вблизи царского трона) инициативному, алчущему власти и богатства дворянству.

Но масса трудящихся, составлявшая основные слои приверженцев староверия, видела в нем прежде всего выражение своего протеста против неправедности сущего. Для нее староверие было лишь одной из религиозных оболочек противостояния мира труда — и мира тунеядства, мира бедных — и мира богатых. Оно было своеобразной, противоречивой версией христианства как царства справедливости.

Здесь-то и сокрыт несомненный интерес; здесь видится нам исключительно важный «зигзаг» народной мечты в сторону от ненавистного смирения. В сторону, не принесшую людям счастья и благодати, — законы истории не дано перехитрить; но вместе с тем и в сторону борьбы, несогласия с угнетением, в сторону накопления взрывчатой энергии сопротивления социальному злу. В сторону, открытую для дальнейших поисков позитивного общественного идеала.

Раскол был шагом к соединению старой (из глубин истории идущей) идеи справедливого «мужицкого царя» с идеей «мужицкой церкви», не запятнанной связью с угнетателями. Неприятие зла в староверчестве приобретало не столько формы прямой войны с ним (такими были крестьянские войны и восстания), сколько формы пассивного побега из «мира скверны» — будь то побег в леса, в потайные скиты, или «побег» на небеса — в пламени самосожжения. Однако заметим и другое: старообрядчество, его огненные краски своеобразно вплетались и в крестьянские бунты, включая великие войны Разина и Пугачева.

Одной из самых ярких вспышек творческой энергии староверчества, таившей в себе неугасимую жажду свободы и достоинства человеческого, является пронизывающее душу «Житие» протопопа Аввакума. Человек, «в уши которого шумит разбой», бесстрашно восстал против одетой в камень, золото и парчовые ризы власти, провозгласил и доказал — не силлогизмами, а жизнью своею, — что нет на свете силы, могущей сломить силу человеческого духа.

Совсем недавно найдены новые документы, подтверждающие, что знаменитый протопоп из «земляной тюрьмы» своей подвигал соратников не только на пассивную, но и на прямую борьбу против царя и архиереев. Он был главой религиозного движения, его вождем — вплоть до своей гибели. Может быть, нелишним будет еще раз напомнить, что в ту эпоху борьба классов «шла в форме борьбы одной религиозной идеи против другой» (В. И. Ленин).

Не верность «святому двуперстию», а великая бойцовская стойкость, несгибаемость в борьбе за идею изумляют в Аввакуме, который предпочел смерть в «пещи огненной» царским тяжелым ласкам, принял муки неслыханные, но не изменил себе.

Аввакум не только борец и мыслитель, но и крупнейший писатель, из тех, кого по справедливости зовут основоположниками. Он положил основу великой литературной традиции российской: не потешать, не развлекать читателя «чюдами чюдными», но вовлекать его в соразмышление над величайшими вопросами бытия человеческого, над проблемами совести, достоинства, смысла жизни.

Абстрактна, пропитана мистически-религиозным туманом мечта Аввакума, но не настолько, чтобы не увидал он зоркими глазами своими несметные богатства родной земли. «А все-то у Христа-тово-света наделано для человеков». Для человеков — а не для гнусных обманщиков и притеснителей, не для тех, кто «раздувается, яко пузырь; гневается, яко рысь; съесть хощет, яко змия; ...лукавует, яко бес...»

Свет Аввакума ярче, сильнее тьмы его.

...Вскоре после лютой казни Аввакума на русский престол взошел малолетний сын «тишайшего» Алексея Романова. Начинался новый, динамичный, с распахнутыми окнами в Европу и великими переменами век — век Петра I, век Пугачева.

Новыми проницательными умами, новыми горячими сердцами, кипящими любовью к «Отечеству драгому», прирастали богатство и слава российские. Новые насильники и лицемеры, доморощенные и чужеземные, нависали над огромной страной. Постепенно набирая обороты, раскручивалось колесо ее истории — в сторону декабристов и Герцена, Некрасова и Чернышевского. В сторону Ленина.

А за крестьянской сохой по супесям и суглинкам, за первопроходцами Сибири и Дальнего Востока — под стон заунывный, под песню тягучую, под звон кандальный — тянулась неумирающая народная мечта о лучшей доле.

Хлеба вдосталь, беспечального, веселого и дружного житья, мира и спокойствия, красоты и благодати — вот чего извечно молил у судьбы и у бога человек-труженик. Оттого и живуч был в его идеале Правды «мужицкий царь» (таким по необходимости, по глубокой, безошибочной интуиции своей представлял себя восставшему народу Емельян Пугачев). Оттого столь важное место в символах этого идеала отведено равенству по богатству, а не по бедности.

Прелюбопытнейший в этой связи литературный документ начала XVIII века — «Сказание о роскошном житии и веселии», короткая поэма в прозе о дивной стране изобилия, где всего и для всех вдоволь, где, «кроме там радостей и веселья, песен, танцеванья и всяких игр, плясанья, никакия печали не бывает». По русским и украинским городам и весям, через Польшу, Лифляндию, Стокгольм — «Стеколню», пролегает извилистая дорога в страну роскошного жития. Попробуй найди, попробуй дойди...

По-разному можно трактовать эту сказку-притчу, по-разному и толкуют ее специалисты. Одно несомненно звучит в ней — и под конец все явственнее — горечь, рожденная чувством несбыточности мечты. За проезд в ту благословенную страну берут «з дуги по лошади, с шапки по человеку и со всево обозу по людям». Страшная, неимоверно высокая цена!

Но все же цена; значит, может быть плачена! И платится на-

родом всем — «со всево обозу по людям»; быть может, когда-то и откроются заветные врата?

«Сказание о роскошном житии и веселии» — лишь одна песчинка в океане народных мечтаний о вольных, счастливых землях. И не только мечтаний, но и реальных поисков этих земель. Наличие огромных резервных пространств в раннефеодальной России сделало массовый «исход» в другие края за лучшей долей специфической особенностью русской истории. «За тридевять земель, в тридесятое царство» шли упрямо, истово толпы жаждущих «роскошного жития и веселия».

Беглецы и переселенцы (и это очень важно!) не просто сломя голову рвались в неизвестность; их манили красочные миражи, захватывающие мечты об иной жизни. И вспыхивали негасимыми факелами легенды: «Открыван-городок»; Беловодье — благодатный край без царя и помещиков, без налогов и податей; невидимый град Китеж... В них с новой силой возродились стародавние утопии «рахманских островов».

Какая упрямая, не прерывающаяся ни в одном поколении нить мечты и надежды! Какое бесконечное множество вариаций, поэтических картин — от чисто сказочных до мнимореальных! И в каждой — жажда добра, воли, спокойствия и тишины.

А не повернуть ли ход рассуждений иначе? Верно ли видеть в мечте народа одну лишь ретроспекцию первобытнообщинного коммунизма, патриархальности? Спору нет, и это нужно видеть. Но у фантазии и жизни человеческой есть одно странное свойство: страстно желаемое рано или поздно претворяется в действительное — при условии, что желаемое опирается на реальные элементы настоящего и прошлого.

ПРИЗРАК СВОБОДЫ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАЗУМ

...XVIII век, век Просвещения, завершил идейный и — разрушением Бастилии — предопределил окончательный разгром социально-экономической системы феодализма в Европе. Из искры проклятья Мелье, вспыхнувшей в ночи Франции, из робких «огоньков свободы», зажженных в Англии Т. Мором и Д. Уинстэнли, разгорелось всесокрушающее пламя великой битвы за идею «нового мирового порядка» (К. Маркс).

Теперь она, эта мысль, рожденная в лабораториях одиночек, все больше захватывала массы и оттого становилась грозной революционной силой. Словно канат в популярной народной игре, ее пытались перетянуть на свою сторону различные социальные движущие силы буржуазной революции.

Одни — сторонники компромисса, «бескровного» переворота, апологеты частной собственности — превозносили свободу разума в пику «безумию» толпы, доводили свою мечту лишь до порога просвещенной монархии. То была умеренно-буржуазная оппозиция феодализму.

Другие — гуманисты, «друзья народа», чутко слушавшие гулы революции, — восставали не только против мракобесия церк-

ви, но и тирании абсолютизма и богатства. Пик этой мелкобуржуазной демократической оппозиции — идея эгалитаризма, то есть имущественного и гражданского равенства

Третьи — истинные революционеры, выразители интересов и настроений самой обездоленной, плебейско-пролетарской массы — шли дальше эгалитаристов и призывали к уничтожению частной собственности вообще. На волне французской революции они вызвали к жизни последнюю вспышку «мюнцеровского», плебейского коммунизма, но теперь уже одетого не в религиозные, а в земные одежды.

Новые, извилистые и трудные дороги странствий великой Мечты... По какой же отправится она в будущее? Какая из трех дорог окажется короче и надежнее? Так и хочется сравнить эту ситуацию со знаменитым напутствием: «налево пойдешь — коня потеряешь...» Мечта в отличие от сказочного богатыря прошла по всем трем дорогам и вышла из испытаний более мудрой, более стойкой, более жизнеспособной.

Лидеры и духовные отцы Просвещения объективно были, по словам В. И. Ленина, вожаками буржуазии. Но, как и гуманистам XV—XVI веков, им менее всего присуща буржуазная ограниченность. Просветители предрекали и славили всеобщее благоденствие, которое должно прийти на смену обветшалым и косным феодальным институтам. Они завершили начатую Возрождением работу по расчистке человеческого разума, засоренного предрассудками. Они освободили его от многовековой накипи религиозной мистики и тем предуготовили громадный взлет научно-творческого и технического гения человечества в XIX веке. Другой вопрос — кто и как воспользовался обильными плодами этого взлета...

Просветители отнюдь не однородная масса единомышленников. Каждый оригинален, неповторим; каждый по-своему мыслит о будущем. Они ссорятся и расходятся друг с другом, но их роднит главное — необъятная вера в прогресс, в творческие возможности разума, в осуществимость идеала счастья для всех.

Философский материализм Гольбаха, Гельвеция, Дидро с его оптимизмом, глубоким доверием к человеку, с его тезисом о познаваемости мира, о всемогуществе разума и воспитания сослужил добрую службу в процессе выработки коммунистического идеала. К. Маркс и Ф. Энгельс подчеркивали: «Развитый коммунизм ведет свое происхождение непосредственно от французского материализма».

Минуя философские залы Просвещения, попытаемся хотя бы бегло обозреть, что́ просветители оставили (в качестве прогнозов, гипотез, надежд) у порога будущего. Здесь мы находим не столько философские трактаты, сколько публицистические, философские романы, морально-политические драмы, сатирические памфлеты. Литература приходила на помощь философии; система образов восполняла нехватку добытых истин и понятий. «Эмоцио» помогало глубже, объемнее, нежели только «рацио», представить мир человека и человека в мире. Так что нет ничего несправедливее, чем представление о просветителях как о сухих логистах, вооруженных холодным скальпелем рассудка.

Кроме того, они французы; отсюда — «остроумие, плоть, кровь и красноречие... темперамент и грация» (К. Маркс, Ф. Энгельс).

Олицетворенное воплощение всех этих великолепных «французских» качеств, помноженных на огромную силу ума, представляет собой творчество Вольтера. Скептик — и мечтатель; враг мракобесия — и автор афоризма: «Если бы бога не было, его следовало бы выдумать». Ненависть к тирании — и горячее поклонение «просвещенной монархии»; сострадание бедным — и апология частной собственности... Таков Вольтер, вобравший в себя все реальные противоречия своей эпохи.

Особый интерес для нас представляет одна из вершин литературно-философской прозы Вольтера — его и поныне знаменитая, широко читаемая повесть «Кандид, или Оптимизм». Два полярных взгляда на жизнь сталкиваются в ней: наивно-оптимистический («все к лучшему в этом лучшем из миров!») и мрачно-безысходный (мир — «нечто очень глупое и скверное»). По какую же сторону автор и его герой? В конечном счете отвергаются и религиозный оптимизм, и обессиливающий пессимизм. «Оба хуже!» Будущее — за иными, разумными началами жизнеустройства. Каковы же эти начала?

...В некой стране, именуемой Эльдорадо, люди свободны и живут в изобилии. В ней стоят красивые города, застроенные величественными зданиями. И самое прекрасное из них — Дворец наук (вариант бэконовского «Дома Соломона»!). Увы, путь в Эльдорадо труден, почти непроходим...

Что же делать честному, познавшему зло и горе, но не сломившемуся человеку? Коль нет дороги в райские сады Эльдорадо — нужно трудиться здесь, сейчас, немедленно, помогая прогрессу, содействуя приближению мечты. «Будем возделывать свой сад!» — восклицает Кандид, находя наконец истинный смысл жизни в свободном труде.

«Немного», — заявит, пожалуй, скептический читатель, уже ознакомившийся с разнообразными вариантами и «чертежами» будущего. Однако мудрость состоит не в том, чтобы отринуть итоговый вывод Вольтера как неоригинальный. Куда сложнее (и важнее!) постичь логику, блестящую аргументацию писателя, обосновывающую именно такой итог. Воспевая союз свободного разума и свободного труда, Вольтер опередил этим и время, и самого себя, протянул руку на дружбу потомкам, возделывающим «свой сад» в борьбе с новыми мракобесами, в схватке с записными «оптимистами» отмирающего буржуазного строя.

Вольтер — признанный вождь Просвещения — казалось, заслонил собою весь век; никому не уступал он ни в поэзии, ни в сатире, ни в драматургии.

Никому, кроме Дени Дидро. История — жрица справедливости — поставила именно его рядом с Вольтером во главе духовного движения эпохи. Мысль, поиск, предвидение, мечта Дидро оказались более глубокими, напряженными, более близкими к идеалу гармонии, чем у кого бы то ни было из просветителей. Он сделал решающий шаг к критическому реализму в художественном творчестве. Он ближе всех подошел к «тлеющей лаве» народной мечты.

В творчестве Дидро причудливо переплелись, перетекая друг в друга, философия, естественные науки, эстетическое освоение

и выражение жизни. Дидро — один из самых больших любимцев Маркса (рядом с Эсхилом и Шекспиром!), его постоянный спутник в поисках путей к подлинному человеческому счастью. Энгельс, разделяя симпатии Маркса, писал: «Если кто-нибудь посвятил всю свою жизнь «служению истине и праву...» — то таким человеком был, например, Дидро».

«Дидерот» — так звали его в далекой России, с которой многое связывало мыслителя. «То чтитель промысла, то скептик, то безбожник», — скажет о нем позднее А. С. Пушкин. Сторонник буржуазной идеи сильной государственной власти, «чтитель промысла», Дидро, как и Вольтер, какое-то время восхищался заигрывавшей с просветителями Екатериной II. Он буквально «пытает» императрицу вопросами о возможности политических реформ в России. Впоследствии Дидро напрочь порывает со своими царистскими иллюзиями, но продолжает изучать русский язык, дабы читать в подлиннике Михаила Ломоносова.

Социально-утопические взгляды Дидро во всей полноте обнажают трагические «качели» его мировоззрения — между Мелье и Вольтером. Как мыслитель, он конструирует схему счастливого общества собственников под сенью «просвещенной монархии». Как художник, горячо сочувствует страданиям народным и точно определяет (прямо по Мелье) их причину: угнетение человечества «кучкой мошенников». Он боится отрицать собственность, но сомневается и в «извечности» отношений господства и подчинения. С большой симпатией пишет он в «Энциклопедии» (статья «Собственность») об общинно-коммунистическом быте в Перу, когда каждый «трудился для всех граждан, сносил плоды своего труда в государственные амбары и в награду получал плоды трудов других граждан».

Мятущийся Дидро не социалист. Но он ближе к социализму (и не только философски), чем фанатики-уравнители. Там — серая, однообразная череда дней, квадратура казарм, частокол запретов и ограничений. У Дидро — буйство жизненных сил, энтузиазм личности, прославление науки, духа общности. Что долговечнее? Что притягательнее?

Великий эрудит Дидро близко подходит в своих духовных поисках к идее слияния интеллигенции с народной массой. Демократ по убеждению, он резко порицает аристократический снобизм. Однако его ничуть не меньше ужасает стихия «необразованной черни». Соединить бы «лед и пламень»! Примирить бы стихию и разум! Увы, полагает Дидро, мечта неосуществима...

Народность Дидро особенно ярко проявилась в его эстетике и прозе. Он соединяет прочной нитью Красоту, Истину и Добро. «Клеймить всеми почитаемый порок и устрашать тиранов» — такова по Дидро одна из главных задач искусства.

Надо сделать обстоятельства человечными — таков, в сущности, вывод Дидро-художника, напрямую ведущий (пусть и помимо сознания автора) к идее социального действия против бесчеловечных обстоятельств.

Влияние, в том числе прямое, учения и воззрений французских просветителей на рвущуюся к свету науки и прогресса Россию хорошо известно и неоспоримо. Заглянем же на минуту

в русское «литературное зеркало»: что появилось нового в мыслях и мечтах образованных слоев общества времен Просвещения?

Явление «солнца» русской поэзии, русской мысли — А. С. Пушкина — было еще впереди. Но уже вышли на просторы духа «собственные Платоны и быстрые разумом Невтоны». Величайший из них — **Михаил Васильевич Ломоносов**, истинный энциклопедист, равный по мощи таланта и разума величайшим гениям мира.

Он целиком, без остатка отдал себя стихии науки и поэзии. Все хотел он превозмочь, все постичь. И многое преуспел! Преуспел, движимый неиссякаемой любовью к Отечеству. Но слава и счастье Отечества — суть слава и счастье народа! Думы Ломоносова прежде всего о народной судьбе; на вере в науку основаны его мечты о будущем. Вспомним хотя бы: «Прирастать богатство российское будет Сибирью»; ныне это сбывшееся пророчество.

Ломоносов положил начало идеализации личности и деяний Петра I. Неужто великий ученый не знал, не ведал о варварских методах, какими Петр вытаскивал Россию из варварства? Знал и спорил на эту тему с Монтескье и другими просветителями. Спорил потому, что твердо был убежден в исторической правоте Петра, в благодетельности прогресса, сколько бы страшную цену ни платило за него каждое данное поколение.

Помор Михайло Ломоносов и казак Емельян Пугачев — два титана, выдвинутые на арену истории русской народной стихией. Два полюса роста национального самосознания: свет познания и «динамит» социальной ненависти. Свет до поры освещал дорогу лишь немногим, и в этом была его немощь; «динамит» крушил все окрест в слепой ярости. Долго еще было до их созидательной встречи! Однако начало, обещающее добрые плоды, уже положено.

Одна из самых первых завязей будущей встречи разума и народа — это замечательный просветитель, «первый подвизатель» (по словам Екатерины II) идей французской революции на русской социальной ниве **Александр Николаевич Радищев**. Он создал книгу, ставшую вершиной своего века и началом нового этапа русского общественного движения. Первым из интеллигентов России он бестрепетно признал право трудящихся на восстание против тирании самодержавия и крепостничества. Он провел первую глубокую борозду на еще не паханном поле битвы русской литературы против угнетения.

«Путешествие из Петербурга в Москву» стало лично для него дорогой в Сибирь, а для словесности нашей — дорогой к народу, к его бедам, его душе, его мечте. Лишь через сто с лишним лет удалось целиком переиздать эту книгу, содержавшую явный прогноз революции. Переиздать — в год подъема первой, им завещанной, подлинно народной русской революции.

«Бунтовщик хуже Пугачева» — так оценила автора «взрывоопасной» книги Екатерина II. Да, в остроте классового чутья ей не откажешь! Дальше мы знаем: сначала — смертный приговор, потом — кандалы, Сибирь. А книгу архиеретическую — сжечь!

А. Н. Радищев — мыслитель, которому в высшей степени свойственна историческая трезвость. Он не доверяет политиче-

ским утопиям и тем более прекраснодушным упованиям на смягчение нравов. Вместе с тем он творец одной из интересных прогрессивных социально-литературных утопий.

Концепция будущего, к которой Радищев относится с искренним сочувствием, хотя и не разделяет полностью, изложена в «Путешествии...», в главе «Хотилов». Сюжетный ход автора таков: на ямском подворье случайно находит он сверток, в котором оказались бумаги неизвестного человека, начертавшего подробный «проект в будущем». По социальной сути своей он — проект эгалитаристский, но только «с русскою душой».

Этот проект представляет собой просветительскую хвалу Разуму и общественному устройству, соответствующему «природе человека». В будущем обществе «неизвестны нам вражды, столь часто людей разделявшие... Родившись среди свободы сей, мы истинно братьями друг другу почитаем... Равновесие во властях, равенство в имуществах отъемлют корень даже гражданских несогласий».

Знакомый мотив: свобода, равенство, братство. Но от декларации разумности через неприятие неразумности крепостничества Радищев, уже за пределами утопического проекта, приходит к выводу о необходимости и неизбежности революционного насилия.

А утопист, «забывший» бумаги в Хотилове, отдергивал руку от пламени, оставляя «верхним» возможность опомниться, ужаснуться неправыми деяниями своими: «Разрушьте оковы братии вашей, отверзните темницу неволи и дайте подобным вам вкусити сладости общежития...» Ведь «все равны от чрева матери в природной свободе, равны должны быть и в ограничении оной».

Радищев советует родовитым не обольщаться кажущимся покорством рабов: оно «опасно в неспокойствии своем». Весьма убедительны не только нравственные, но и экономические аргументы в пользу свободы и равенства: все, что делается по принуждению, из-под палки, делается «оплошно, лениво, косо и криво». Дайте крестьянину землю, дайте поработать на себя — и расцветет держава ко всеобщему благу.

Трезвость революционера в конечном счете одерживала верх над просветительским прекраснодушием. Не отдадут — отнять надо. «Блюдитеся», — предупреждает Радищев крепостников. Грядет мятеж — всесокрушительный и правый.

Нарастая, словно лавина в горах, развивается в книге Радищева тема возмездия, и вот уже звенят торжествующей медью строфы «Вольности», и грезится Идеал, к которому устремлена мечта свободолюбца: «Но человечество возревет в оковах и, направляемое надеждою свободы и неистребимым правом, двинется... И власть приведена будет в трепет. Тогда всех сил сложение, тогда тяжелая власть.

Развеется в одно мгновенье.
О, день, избраннейший всех дней!»

«Я зрю через целое столетие», — заявлял Радищев. Воистину так! «День, избраннейший всех дней», день Революции, пришел на русскую землю через 127 лет. День, когда рабочие и крестьяне, осуществляя пророчество великого сына России,

личного врага Романовых, навсегда повергли проклятое «чудище».

«Свободы сеятель пустынный», он был невыносимо одинок. Подобно Мелье, он оставил завещание людям будущего. Подобно Мелье, перед трагической гибелью своей он заявил убежденно: «Потомство за меня отомстит». И это предсказание сбылось!

...Он всегда с нами, автор первого русского учебника классовой борьбы и ненависти, автор «сатирического воззвания к возмущению» (А. С. Пушкин). С детских лет входят в наше сердце — и на всю жизнь! — кровью написанные, скорбные слова: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человеческими уязвлена стала». Окрест его по всему пути были горе-горькое, беда неизбывная, мучительство изощренное, ненависть справедливая, надежда тайная и прекрасная, вера святая и крепкая — в свой народ, в его будущее... В народ, который «многое может решить доселе гадательное в истории российской» (А. Н. Радищев).

АПОСТОЛЫ РАВЕНСТВА

Ранее мы попытались определить плодоносность, животворящую силу для будущего гуманистических идей Просвещения, представленного громадными философскими и писательскими именами. Мощь просветителей — в гениальной способности образно провидеть дали человечества, в сокрушающей беспощадности ко всему неразумному, отжившему, несправедливому. Слабость их — в непоследовательности, противоречивости, подчас робости выводов, в уповании на всемогущество просвещения при незыблемости основ существующего строя. Отсюда монархические или патриархальные иллюзии; отсюда разрыв между широтой принципов и узостью выводов, впрямую смыкающихся с буржуазностью.

Но, несмотря на робость и непоследовательность, взгляды просветителей, подпитываемые «еретически-коммунистической» традицией европейской культуры, могли привести (и приводили!) к более широким социальным обобщениям: к идеалу равенства и далее — к утопическому социализму и коммунизму. «Современный социализм, — писал Ф. Энгельс, — по своей теоретической форме... выступает сначала как более последовательное, дальнейшее развитие принципов, выдвинутых великими французскими просветителями XVIII века, — ведь впервые представители этого социализма, Морелли и Мабли, также принадлежали к числу просветителей».

Морелли, автор «Кодекса природы» (1755 г.), приходит к идеям уравнительного коммунизма чисто логически, бесстрастно выводя их из тех самых «естественных законов», горячими приверженцами которых были и Вольтер, и Монтескье, и Дидро. Любопытная деталь: вплоть до конца XVIII века, до Бабёфа, считалось, что Морелли всего лишь псевдоним Дидро. Отнюдь не лишенное внутреннего смысла, хотя и неверное предположение.

Все беды человечества, полагает Морелли, от невежества и заблуждений, главное из которых — частная собственность. Суровый логист предписывает человечеству возврат в прошлое,

когда все было общим (закон № 1), когда каждый имел право на труд и блага из общественных фондов (закон № 2) и был обязан трудиться (закон № 3). Ни науки, ни искусство, ни мораль его не интересуют. В системе Морелли все работают, все сыты, все послушны «трем священным законам». Но скажем честно — здесь из коммунизма «выпарена» живая революционная страсть.

Новое, интересное у Морелли (тут «ниточка» к Фурье и Сен-Симону) — отказ от семейного (общинного) принципа организации общественного производства, подступ к идее крупных общественных мастерских и профессиональных объединений работников. То был своего рода отклик на появление мануфактур и фабрик.

Аббат **Габриэль де Мабли** куда менее последователен в суждениях, нежели Морелли. Он не идет дальше Дидро в признании социальной и нравственной привлекательности первобытного коммунизма; ему не хватает смелости «повернуть колесо». Однако зерно учения Мабли — его мелкобуржуазный эгалитаризм — дало куда более буйные всходы в реальной практике революционной Франции, чем сухие формулы Морелли или моральные парадоксы Дидро. «Зерно» упало на благоприятную почву. Почвой была взрывчатая мелкобуржуазная и крестьянская масса — поборники равенства и справедливости, движущая сила назревающего взрыва. «Идея равенства мелких производителей реакционна, как попытка искать позади, а не впереди, решения задач социалистической революции. Но та же идея равенства есть самое полное, последовательное и решительное выражение буржуазно-демократических задач...» (В. И. Ленин).

И все-таки не Мабли и его осторожным силлогизмам суждено было стать «самым полным, последовательным и решительным выражением буржуазно-демократических задач» Великой французской революции. Для этого ему недоставало сердечного жара, высокого полета мысли, могучей «тяги» художественного таланта. Кумиром по праву стал мятущийся, самозабвенный поборник равенства, выдающийся просветитель **Жан-Жак Руссо.**

Жизнь и творчество его полны мучений, ошибок, напряженного поиска социальной истины — при неколебимости нравственной установки на интересы простого человека, угнетаемого имущими, церковью и государством.

Он страстно обрушил удары молота разума не только на дворянство, но и на жадную, бессердечную буржуазию. Беспощадное перо Руссо клеймило тех, кому предстояло победить руками народа в битве с феодализмом. Это не была уже только художественная критика «порочной силы злата». Это была фронтальная критика классовых отношений господства и подчинения во имя утверждения суверенного права самостоятельного собственника-производителя.

В жертву имущественному, социальному и политическому равенству Руссо готов принести всю современную ему цивилизацию. «Первый, кто, огородив клочок земли, осмелился сказать: «Эта земля принадлежит мне!» и нашел людей, которые были настолько простодушны, чтобы поверить этому, был истинным основателем гражданского общества. Сколько преступлений, сколько войн, сколько бедствий и ужасов отвратил бы от человеческого рода тот, кто, вырвав столбы и засыпав рвы, служив-

шие границами, воскликнул бы, обращаясь к людям: «Берегитесь слушать этого обманщика! Вы погибли, если забудете, что плод принадлежит всем, а земля никому!»

В этом жарком монологе суть руссоизма. Мыслитель в пику Вольтеру убежденно заявляет: «Первый источник зла — неравенство; из неравенства возникли богатства, они породили роскошь и праздность... Люди были добры и не имели пороков до тех пор, пока не были изобретены эти страшные слова — твое и мое».

Сколько ядовитых обвинений обрушилось за это на голову Руссо! Но в моральных обличениях его таилась высокая истина диалектики. «Руссо видит в возникновении неравенства прогресс. Но этот прогресс был антагонистичен, он в то же время был и регрессом» (Ф. Энгельс). Диалектическая мысль вела Руссо от выявления противоречия к поиску выхода — в снятии, в разрешении этого противоречия. От равенства — к неравенству — затем к равенству на новой основе, с «удержанием богатства достигнутого развития». В данном случае не столь важно, что у Руссо, поскольку в его эпоху богатство создавалось в основном крестьянской массой, равенство уже достигнуто было равенством мелких, раздробленных крестьянских хозяйств. Более важен сам подход к пониманию процесса социального развития. Мы видим у Руссо и в подробностях, говорил Ф. Энгельс, целый ряд тех же диалектических оборотов, которыми пользуется Маркс.

Высшего революционного накала учение Руссо достигает в требовании абсолютного гражданского, политического равенства. Как для Мелье религия, так для него деспотия, политический гнет является главным корнем зла, который надлежит безжалостно вырвать, дабы решить проблему в целом. Государство, созданное вначале по «общественному договору», злой логикой неравенства превращается в тиранию. Народ закован в цепи; и тогда единственным выходом становится восстание, «угнетение угнетателей». Восстание против тирана, провозглашает Руссо, «акт столь же закономерный, как и те акты, посредством которых он только что распоряжался жизнью и имуществом своих подданных. Одной только силой он держался, одна только сила его и низвергает».

Какие вещие слова!

«Защитник вольности и прав» — таково непререкаемое мнение о Руссо А. С. Пушкина. Можно ли не согласиться с великим поэтом, тем более что именно в России учение Руссо нашло особенно сердечный отклик, — очень уж было оно созвучно мучительным вопросам российской действительности. Боевой антифеодальный демократизм Руссо восприняли А. Н. Радищев, радикальные декабристы-республиканцы, А. И. Герцен.

...Через 11 лет после смерти Руссо рухнула Бастилия. Над Францией, над Европой взметнулось трехцветное знамя «Марсельезы».

«Гора», «Жиронда», якобинцы, «бешеные»... Скатывались с эшафотов головы королей, герцогов, банкиров, да и вчерашних кумиров. Наконец наступил термидор, и волна стремительно покатилась назад, от революционно-демократического своего

«пика» к реставрации монархии. Но теперь уже монархии буржуазной. Кровью народа, ценой неслыханных страданий и бедствий на европейский престол взгромождался капитал — «его препохабие».

Но что интересно? При всем антагонизме классов, при всей несовместимости идей и лозунгов различных социальных групп на разных этапах революции было нечто общее для всех и вся, что придает французской революции целостный характер, единую форму. Речь идет о повальном увлечении терминологией, лексикой, лозунгами, моралью и государственными формами Древнего Рима.

Людям, особенно на крутых виражах истории, свойственно искать в прошлом аналоги современных событий. В качестве аналога для французов XVIII века наиболее подходящей оказалась древнеримская республика. Ведь речь, помимо прочего, шла о создании буржуазного национального государства, об утверждении Закона и Порядка, «гражданского общества». Доблести древнеримских трибунов — сперва республиканцев, потом сторонников «сильной личности» — казались архинеобходимыми в условиях крушения трона и церкви.

Глубоко научное объяснение тайны «наваждения» дал великий К. Маркс в книге «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». «Камилль Демулен, Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст, Наполеон, как герои, так и партии и народные массы старой французской революции осуществляли в римском костюме и с римскими фразами на устах задачу своего времени — освобождение от оков и установление современного буржуазного общества... В классически строгих традициях Римской республики гладиаторы буржуазного общества нашли идеалы и художественные формы, иллюзии, необходимые для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии».

«Скрыть от самих себя» — вот что пряталось за пышными античными декорациями. Раздвинем же их и поглядим, как в кровавой сече революции шли к той самой «идее нового мирового порядка» вековая народная Мечта о счастье для всех.

На восходящей волне революции высоко поднял знамя Свободы, Равенства, Братства пламенный публицист **Жан Поль Марат.** Подобно Мильтону, только в своей сфере, он без колебаний оставляет научные занятия и с головой погружается в революционную стихию.

«Чему обязаны мы своей свободой, как не народным мятежам?» — восклицает Марат. Восторженный поклонник Руссо, он перевел теоретические постулаты учителя о революционном оздоровлении общества в плоскость практических задач. «Тот не может быть апостолом истины, кто не имеет смелости быть ее мучеником». Ему хватило смелости. Имя его и поныне является синонимом преданности свободе и революции.

Уже после убийства Марата плебейские низы выдвинули из своей среды новых теоретиков и заступников, которые пошли дальше руссоистов — героев 1793 года, — высшего пика революции. «Священное право частной собственности» трещало под ударами государственных конфискаций, перераспределения изъятого у богатеев неимущими. Революционная практика ставила под вопрос сам институт собственности, подготовляла умы для

выработки восприятия нового, социалистического идеала общественного устройства. Один корреспондент писал М. Робеспьеру в феврале 1794 года: «Мы умираем с голоду посреди изобилия... Я полагаю, что следует уничтожить торговую аристократию так же, как уничтожили аристократию попов и дворян».

Идеи не только политического, но и социального равенства витали в грозовом воздухе Франции. Уже на закате революции настроениям и чаяниям масс придал определенную форму Гракх Бабёф, сын бедняка и апостол бедняков.

Ядро учения Бабёфа — мысль о неизбежности и необходимости беспощадной революционной борьбы за новый социальный строй. Главной движущей силой этой борьбы провозглашались все трудящиеся, в том числе и рабочий люд.

Проповеди Мелье и Марата о революции были развиты Бабёфом до логического конца, применительно ко всей массе трудящихся, а не только к крестьянству. Идеал свободы есть не что иное, как инообозначение мечты об общности имуществ и социальном равенстве тружеников. Путь к этой свободе лежит через вооруженное восстание трудящихся.

И все-таки не учение Бабёфа стало непосредственным источником марксизма. Почему? Потому что примитивный, уравнительный коммунизм вообще, по гениальному замечанию К. Маркса, гневно ниспровергая частную собственность, остается ее пленником. «Этот коммунизм, отрицающий повсюду личность человека, есть лишь последовательное выражение частной собственности, являющейся этим отрицанием» (К. Маркс, Ф. Энгельс). Он исходит не из идеала гармонической, всесторонне развитой личности, но из бедности массы, подавленной господством частной собственности.

В идеальной «республике равных» строжайше запрещено все, что не может быть предоставлено каждому. Равенство для уравнительных коммунистов исключало не только личную собственность, но и неодинаковость, своеобразие, неповторимость личности. Ведь человек движим и необычными потребностями, интересами; поэтому он представляет потенциальную опасность возрождения гонки за «недозволенным». У «равных» при коммунизме все ходят в одинаковых костюмах и живут в одинаково меблированных квартирах... Даже науки и искусства ставятся под сомнение: ведь они генерируют неравенство! Искусство выявляет нестандартную личность? Долой искусство!

Сама нивелировка людей грубым коммунизмом отражает, говорил Маркс, частнособственническую психологию зависти, стремление к раз и навсегда ограниченной мере труда и потребления. Проповедью всеобщего аскетизма он увековечивает примат существования над сущностью человека. И в этом реакционность, враждебность уравнительного коммунизма коммунизму подлинному.

...Однако не о том мечтали отчаянные заговорщики! Они честно служили своей идее и революции; не вина их, а беда, что уравнительские представления о будущем выражали неразвитость общественных отношений, неразвитость класса, ради которого они шли на плаху. И это тоже вариант трагедии «опередивших время»... Бабёфу было 37 лет, когда его казнили. Кто знает, как пошло бы дальше его идейное развитие? Но в любом случае он честно боролся и умер героем во имя великой цели.

ХРУСТАЛЬНЫЕ СФЕРЫ

Из грозовой Франции электрические заряды Просвещения все активнее проникали в Германию, раздробленную на множество мелких феодальных княжеств. Проникали и воспламеняли сердца, побуждали к раздумью, поиску, протесту. Разумеется, было бы ненаучно (да и несправедливо) объяснять взлет немецкого духа — в философии, эстетике, литературе — одним лишь «экспортом» французских идей. Но недооценивать влияние — значило бы, в свою очередь, не понять единства в различии и различия — в единстве.

Идеи генерируются социальной средой. Это аксиома. Немецкая среда XVIII столетия выдвинула (в отличие от французов) в качестве главного лозунга, сокровенной мечты идею национального воссоединения. В творениях соседей немецкие просветители обнаруживали желанную опору для своей мечты — силу Разума, проповедь человеческой свободы и достоинства, тираноборческий пафос. И, опираясь, шли дальше и выше, но — лишь в мысли...

Яркие искры французского Просвещения чадили и гасли в затхлой атмосфере глухой европейской провинции, какой была Германия. «Все было скверно, — писали о ней К. Маркс и Ф. Энгельс. — Не было образования, средств воздействия на умы масс, свободы печати, общественного мнения, не было сколько-нибудь значительной торговли с другими странами; везде только мерзость и эгоизм — весь народ был проникнут низким, раболепным, гнусным торгашеским духом».

Немецким просветителям приходилось начинать с «нуля»: двести лет спячки после короткого рассвета Ренессанса и кровавых зорь Крестьянской войны...

И все-таки живая мысль пробивалась к свету! Назрело великое пробуждение умов. В двери духа стучалась Свобода. Самые чуткие, самые великие услышали ее властный зов. Увы, тогда «в народе не было такой силы, которая могла бы смести разлагающиеся трупы отживших учреждений» (Ф. Энгельс). Поэтому не случайно тирада о свободе, равенстве и братстве в немецком варианте неизбежно сводилась к «свободе в области мечты», к бегству из действительности в «идеальные сферы».

Господствующим мировоззрением немецкого Просвещения стал философский идеализм. Однако битва за человека, пусть и бесплотная, сугубо идеальная, если она ведется самоотверженно и талантливо, не пропадает даром. У потомков достанет ума и уважения поставить ее «с головы на ноги» и обратить против реального врага, на благо реального человека.

Именно такая, высокая и светлая судьба выпала на долю титанов классического немецкого идеализма XVIII — XIX веков — Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля. Хрустальные сферы духа озарены в их творениях молниями мятущейся мысли, а главное — верой в высшее — над богами и миром! — предназначение Человека творящего.

Это был умнейший идеализм! Пусть в искаженном, перевернутом виде (поскольку причиной всего происходящего он считал идею, дух, а не реальные процессы реального мира) этот идеализм поставил перед человечеством великие вопросы, он

таил в себе, как плод в завязи, разгадки великих тайн природы, общества и мышления.

«Немецкая теория французской революции» (К. Маркс), классическая немецкая философия не только подготавливала буржуазно-демократический революционный переворот в Германии. Она подготавливала духовную почву для философии и искусства поднимающегося пролетариата. Она несла в себе плодоносящие зерна революционной диалектики, творческой активности личности. И в этом ее непреходящее историко-культурное значение.

Немецкие писатели эпохи Просвещения не только испытывали на себе влияние философской мысли, они сами были великими мыслителями и философами, умножавшими мощь разума на глубину эмоций, на силу образного прозрения. Мы обратим свой взор лишь к двум из них — самым величественным.

Молчавший со времен Мюнцера общегерманский колокол Свободы с новой силой загудел в творчестве светлого мечтателя, романтика и поэта **Фридриха Шиллера**. Шиллер переплавил добрые, мудрые, прогрессивные порывы в раскаленную идею борьбы за освобождение человека. Борьбы не на жизнь, а на смерть с тиранами и угнетателями.

Шиллер вошел в литературу и общественную жизнь на волне поэтического движения «Буря и натиск». Штюрмеры (так называли приверженцев этого движения) возвысили голос против социальной несправедливости, в защиту подавленного деспотизмом простого человека. Но великие пошли дальше. Они облекли благородные идеи в совершенную художественную форму, создали героическую народную драму и лирику, до предела насыщенную жаждой политического раскрепощения личности и общества.

Совсем юный (двадцати двух лет!) Фридрих Шиллер потряс Европу и Россию своей драмой «Разбойники». Его Карл Моор не просто бунтарь; это политический мятежник, объявивший «открытую войну всему обществу» (Ф. Энгельс). Трагедия Моора — трагедия благородного одиночки, восставшего против «божественного» порядка. Уставший, сломленный, изверившийся, он добровольно сдается властям...

Однако не крах и раскаяние Моора, а его ненависть к деспотизму и несправедливости — вот что оставалось в сердце и разуме читателя и зрителя от «Разбойников».

Сердце Шиллера было переполнено «самою живою, пламенною и благородною кровию любви к человеку и человечеству, ненависти к фанатизму религиозному и национальному, к предрассудкам, кострам и бичам». Однако Шиллер верил в возможность победы свободолюбивых идеалов лишь в туманном, отдаленном будущем, да и то путем постепенного «преобразования» не мира, но человека в существо разумное, доброе, гармоничное. «Красота спасет мир» — задолго до Ф. М. Достоевского формула эта была символом веры вдохновенного Шиллера.

Мечта поэта воспарила в бесплотные выси так называемого «эстетического государства», закон которого «свободою давать свободу». Но Шиллер как творец остался верен духу свободолюбия. В конце жизни он, певец «свободы в области мечты», создает самое светлое, мужественное и благородное свое произведение — драму «Вильгельм Телль».

Светлая ода Шиллера «К радости» вдохновила гений Бетхо-

вена на величайший взлет — торжествующую, славящую всесилие Человека музыку финала Девятой симфонии.

Иоганн Вольфганг Гёте до чрезвычайности сродни по духу и мощи титанам Возрождения. Он был человек размаха Микеланджело, Леонардо и Рабле...

Гёте близок гуманизму Ренессанса своим обширным универсализмом; весом его вклад в геологию и оптику, зоологию и ботанику, минералогию и анатомию. Все постиг и превзошел он в поэзии, драматургии и прозе. Его философия — жизнерадостный гуманистический пантеизм, слияние бога, природы и человека. Его обуревала прометеева жажда деяния; масштабы его художественных свершений поистине необозримы и неоценимы. Долгожитель немецкого Просвещения, Гёте в своем творчестве пошел дальше, поднялся выше всех своих соратников по борьбе за Человека.

Изучая и оценивая Гёте, его место в мировой культуре, непременно обращаешься к глубоко научному анализу его жизни и творчества в статье Ф. Энгельса «Немецкий социализм в стихах и прозе». Перед нами предстает поистине трагическая картина раздвоения великой личности, фатального разлада между высокими духовными устремлениями гиганта и приземленной житейской практикой сына своего класса... «И Гёте, — замечает Энгельс, — был не в силах победить немецкое убожество» — убожество мелочной, мещанской, дремотной действительности раздробленной Германии. Гулливеру мысли было тесно в лилипутских пределах «игрушечного» Веймара. И вместе с тем он был надежно опутан паутиной филистерских страхов перед народным бунтом. Дерзание, порыв, бесстрашие — в мысли; осмотрительность — в реальности...

Значит, не только не сумел, но, возможно, и не пытался «победить убожество»? К счастью, не совсем так, а в масштабе истории совсем не так! «Гёте был слишком разносторонен, он был слишком активной натурой, слишком соткан из плоти и крови, чтобы искать спасения от убожества в шиллеровском бегстве к кантовскому идеалу» (Ф. Энгельс). Молодой Гёте открыто примкнул к штюрмерам, возглашая бунт против «неправой власти», восхваляя революционные традиции XVI века (в драме «Гец фон Берлихинген», посвященной жизни и борьбе одного из сподвижников Ульриха фон Гуттена).

Мысль Гёте металась между молотом народного гнева («стихия», «анархия», «крах культуры»!) и наковальней гнусной застойной действительности. Не он первый попытался вырваться из этого заколдованного круга. Ринулся в эстетику, в шиллеровское призрачное «эстетическое государство»: холодно, скучно, безжизненно... Попытался — как Платон в Сиракузах — подвигнуть веймарского князя на создание «идеального», «просвещенного» острова гуманизма в море мещанства. Не вышло! Князь струсил, а Гёте скрепя сердце влачит ношу «малых дел» — ношу советника по делам просвещения.

Нет, при всей очевидности «примирения» с действительностью непростым было это примирение — горестным, тяжким. Но «малые дела» по службе компенсировались огромной, нацеленной в будущее, неустанной работой мысли и воображения. «Лаборатория духа» Гёте вырабатывала идеал гармонической личности, идеал свободной, достойной Человека социальной жизни.

Еще в родительском доме попала в руки маленького Иоганна дешевая лубочная книжка о знаменитом народном герое Фаусте, перехитрившем самого черта. С той поры Фауст не покидал его на протяжении шестидесяти лет — поистине «книга жизни»! Бесстрашный искатель истины, он как нельзя более подходил Гёте для воплощения в нем самых сокровенных дум о человеке и человечестве. Кроме того, Фауст был немцем; это облегчало задачу создания не абстрактно-символической (как «Прометей»), а национальной драмы. Национальной и в то же время (как потом рассудит история) всемирной.

«Фауст» изначально народен, начиная с сюжета об одиссее ученого-чернокнижника, неутомимого искателя истины. Гёте заглянул в бездонный колодец народной мечты о человеке, сумевшем разгадать тайны природы и жизни. Заглянул — и, не убоявшись, прошел все круги заблуждений, соблазнов, трагических ошибок, духовных обретений легендарного доктора. Гений Гёте сотворил чудо; он дал мечте жизнь и бессмертие.

В онтогенезе Фауста мы читаем духовный филогенез человечества, историю его длительных поисков, открытий, веры и безверия, сомнений и надежд. Сверхзадача Гёте, по логике его драмы, такова: не просто вообразить, каким может быть будущее, но при каких условиях оно будет достойным человеческой мечты и борьбы. И еще: подвиг Гёте заключается, помимо прочего, в художественном исследовании бессмысленных либо ограниченных (и потому лишенных истинного будущего) вариантов счастья. Заслуга Гёте — в возрождении греческой мечты о гармонии, придании ей нового, современного качества.

«Фауст» — это гимн разуму. Однако в отличие от большинства просветителей, зачарованных мощью разума, Гёте понял, что знание само по себе не обеспечивает счастья. Его, как ток в электросеть, надо включить в сложную систему духовных и нравственных ценностей, «оживить» идеей действия, идеей цели.

После множества испытаний ослепший Фауст прозрел истину будущего, определил свою цель. Она — в высшем синтезе умственных, телесных, эстетических и творчески-производительных сил человека, опирающихся на мощь знания и промышленности; синтезе, нацеленном на бесконечное развертывание человеческих способностей и потребностей в условиях всеобщей свободы, справедливости, добра и красоты. Обретенный Фаустом путь — это единение народа в свободном, творческом коллективном труде!

То, что не под силу индивиду, вполне под силу человечеству. «Лишь все человечество вместе является истинным человеком». Гёте прорывает заколдованный круг ограниченных потребностей и инстинктов, выдвигая в качестве цели безграничное развитие духовных и нравственных потенций Человека. Он угадал Образ Будущего!

ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ БУДУЩЕГО

Вместе с древнеримскими политическими декорациями — сначала свободной Французской республики, потом наполеоновской империи — в пламени войн и восстаний дотла, казалось, сгорели солнечные идеалы Просвещения...

Тяжелым, мрачным было похмелье после расцвета всемогущего Разума! Где великая, желанная, в крови омытая Свобода? Где сердечное, возвышающее душу Братство? И наконец, вместо Равенства — голод, нищета, бесправие, болезни...

На социологию, историю, литературу наползали свинцовые тучи пессимизма. Те, кто еще вчера восторженно прославлял бесконечный и «гармоничный» прогресс, в страхе затыкали уши. Воздух Европы и Америки наполнился лязгом машин, чахоточным запахом мазута; солнце затуманилось копотью и гарью заводских труб. Нет, не о том мечталось, иное грезилось «адвокатам человечества»!

Так, может быть, дело в неверно истолкованных просветителями естественных законах взаимодействия человека и природы? К услугам победившей буржуазии, ради обоснования «естественности», то есть извечной неизбежности богатства и нищеты, возникают политэкономические теории Бентама, Мальтуса и Рикардо. Их смысл прост: ни о каком «земном рае» для всех речи быть не может. Матушке-природе это не по плечу...

В новых, капиталистических условиях «регрессивную метаморфозу» (К. Маркс) претерпевают и эгалитаристские утопии. За убыстряющееся колесо Истории хватаются слабыми пальцами новые, реакционные руссоисты. Они возносят анафему прогрессу. А что же взамен? Цеховая организация промышленности и патриархальное сельское хозяйство — таково последнее слово мелкобуржуазного социализма.

Сочувствие угнетенным по-прежнему было движущей пружиной прогрессивной социальной мысли. Но к чему звать? Какие выдвигать идейные и нравственные ориентиры?

Снова, как во времена Руссо, только куда острее, встал вопрос об отношении будущего и цивилизации. Были варианты негативных ответов: «стоп-программы» реакционных романтиков, акты отчаяния луддитов-машиноненавистников. Но это были «дороги в никуда», в социальные тупики.

Были и светлые люди, барабанщики мечты, вдохновлявшие людей могучими по своей эмоциональной силе лозунгами свободы и революции.

Эпоха требовала ответа. Ведь если во времена Мора тысячи гордых йоменов были пожраны кроткими овцами, то теперь, когда окреп буржуазный Молох, уже сотни тысяч неумолимо перемалываются стальными безжалостными челюстями фабрик...

И вот на историческом перепутье, в межвременье, когда новые социальные противоречия и язвы уже обострились и стали вопиющими, а реальные условия и силы для их революционного разрушения еще не созрели, — народная мечта совершает новый страстный рывок к свету.

Разрубить «гордиев узел», туго затянутый на горле трудящихся масс новым эксплуататорским классом, взялись новые утописты, люди дерзкой фантазии и трезвейшего (как им казалось) социально-экономического и психологического расчета. К. Маркс и Ф. Энгельс позже уважительно назовут их «патриархами социализма».

Высокое имя, высокая честь!

Первый и, пожалуй, самый оригинальный из них — **Анри де Сен-Симон**. Он прожил жизнь, которой наверняка хватило бы

на несколько остросюжетных романов. Потомок Карла Великого, сиятельный граф, ученик Даламбера, он посвятил жизнь служению идее освобождения человечества от гнета эксплуатации и невежества.

Не он первый! У великой Мечты не было недостатка в рыцарях. Но каждый из них служил ей по-своему, и служба каждого не давала Мечте упасть и разбиться.

Анри де Сен-Симон... Любовь к народу — и недоверие к нему; жажда справедливости — и наивная вера в «перевоспитание» богачей. Таковы качели сенсимонизма. Учение графа-эволюциониста было доведено его куда менее талантливыми учениками до уровня беспринципного соглашательства с власть имущими...

Но это ученики (к тому же не все); а сам Учитель в конце своей многострадальной жизни «прямо выступил от лица рабочего класса» (К. Маркс). Правда, выступил больше с увещеваниями, с призывами к милосердию. Граф Анри страдал и умел сострадать; он был безупречно честен; но в нем было мало от Мюнцера и Мелье.

Драгоценное социалистическое ядро его учения обнаруживается в иной плоскости. Оно, во-первых, в идее закономерного движения общества к процветанию, к счастью, на основе индустриального развития.

Сен-Симон отбросил идеи «естественного состояния», незыблемые истины «человеческой природы». «Панта рей» — все течет, причем ко все более высокой социальной и духовной организации человечества. Золотой век — впереди, он неизбежен и умопостижим! Важно только изучить предшествующие звенья социального ряда, познать законы истории.

Впервые не одни только эмоции, желания или моральные нормы, но сама История становилась верным союзником Мечты.

Как и все философы Просвещения, Сен-Симон уподобляет историю общества человеческому организму; детство (заря цивилизации), юношество (Эллада), зрелость (Рим).

А как же дальше? И вот здесь сокрыто одно из самых гениальных прозрений социолога: в отличие от тех, кто исповедовал механическую непрерывность прогресса, Сен-Симон вплотную подходит к идее формации, качественно определенной эпохи, которая, исчерпав свои внутренние потенции, сменяется другой, более высокой; общество вступает «в новую организационную фазу», преодолевая старые формы.

Было угадано главное. Лучшее будущее становилось итогом развития, результатом трудного рождения новой «фазы» из недр старого общества. Значит, надо ли слепо, безоглядно разрушать старое, если из него возникает новое?

Это было преддверие великого открытия, но еще не само открытие. У Сен-Симона неумолимые экономические законы и социальные силы (классы) — всего лишь исполнители воли Идеи. Так, на теологической стадии социального развития (при феодализме) постепенно возобладали идеи философов (просветителей), сторонников свободного и прежде всего индустриального прогресса. Но приходит час — и философы, неспособные осчастливить людей, должны уступить место носителям «позитивной идеи»: ученым и промышленникам.

Наивно, совсем не социалистично! Сказать по правде, картина будущего по Сен-Симону чаще напоминает идеализированный

капитализм. Сохраняются у него и классы, и частная собственность; однако акцент постоянно делается на организации труда, производства в интересах массы трудящихся.

В новом обществе политика превратится из управления людьми в управление вещами. Эта мысль Сен-Симона была близка В. И. Ленину — человеку, которому довелось возглавить первое в мире государство, созданное для того, чтобы постепенно сложились условия для отмирания и классов, и самого государства.

Проблемы организации и управления занимали у Сен-Симона огромное место. В то же время его социалистические озарения, догадки, тезисы надо было еще вытащить на свет божий из-под напластования фантазий, намеков — из-под гнета поистине неистребимой элитарности нищего графа. Умирая с голоду, он все равно был над массой, он не мог позволить трудящимся «дерзости» самоосвобождения и самоорганизации. Только элита, только «капитаны» индустрии, по убеждению Сен-Симона, приведут корабль человечества в гавань счастья!

Сенсимонисты после смерти учителя ничуть не убавили наивности в его учении. Но они «выпрямили» Сен-Симона в социалистически-утопическом духе. Частная собственность упраздняется. В обществе восторжествует принцип: «Каждому по его способностям, каждой способности по ее делам».

Крупнейшее открытие! Тем самым была выдвинута конкретная, жизнеспособная, реалистичная альтернатива уравнительному коммунизму.

Сен-Симон обессмертил себя исторической идеей социализма. Его современник **Шарль Фурье** оставил нам уникальную, утопически-причудливую, расписанную в деталях программу социалистического жизнеустройства.

Вся система Фурье опирается на идеи изобилия как главного компонента равенства и свободы, творческого развития личности и общества как главного средства достижения всеобщего счастья.

Фурье — радикальный антимальтузианец. Он отбрасывает глупые и злобные сказки об «убывающем плодородии» земли и т. п. Он развертывает впечатляющую картину материального и духовного процветания ни много ни мало на 70 тысяч лет вперед, пока не погаснет солнце на небосводе!

«Человек! — восклицает Фурье. — Наслаждайся! Чем больше ты наслаждаешься, тем более ты выполняешь свое назначение как человек». Призыв поистине раблезианский. И в нем не было бы и тени социализма, если бы не обращение к каждому человеку, если бы не выведение самого лозунга из сущности концепции «ассоциативного» (социалистического) счастья.

А это значит — наслаждаться по-человечески. Конечно, должны быть прежде всего максимально удовлетворены так называемые первичные потребности: в еде, одежде, жилище. Но, как говорится, нельзя на этом ставить точку! Тогда неизбежны пресыщение, скука — и возрождение всяческих буржуазных гадостей.

Фурье почти за 200 лет (!) предвидел гримасы и судороги сытого «общества потребления» — этого рая на буржуазный лад, общества отчужденных и обездушенных индивидов...

Истинно человеческие наслаждения — это любовь, дружба, науки, искусство и т. д., а главное — разнообразный творческий труд. И развернутся эти радости бытия только в ассоциации, в коллективе, умеющем обнаружить и помочь раскрытию непо-

вторимых человеческих склонностей, дарований и способностей.

Фурье — провозвестник всестороннего раскрепощения женщины. Он тщательно проработал идею разнообразия и смены труда физического и духовного. Он увидел в коллективном соревновании могучую силу развития общественного производства и человека. Силу, превосходящую враждебность, губительное соперничество в конкурентной борьбе.

Уже хрестоматийными стали гениальные, хлесткие, как бич, обличения великим мечтателем «мира навыворот». Только в этом мире, гремит Фурье, бедность «рождается из самого изобилия»; в нем «врач желает своим согражданам добрых лихорадок, а поверенный — добрых тяжб в каждой семье... стекольщик желает доброго града, который разбил бы все стекла...».

Сила Фурье в отличие от Руссо не в страсти морального негодования по поводу язв и пороков цивилизации, но в исследовании механизма разобщения людей, в поиске и обнаружении социально прогрессивного и гуманного в буржуазной системе производства и распределения. Ядро же новой системы образует ассоциация, объединение людей для совместного производства и коллективного быта.

За Фурье, подчеркивал К. Маркс, «останется та великая заслуга, что он объявил конечной целью преобразование в более высокую форму не распределения, а самого способа производства».

Многое, очень многое удалось предугадать в будущем Шарлю Фурье! Пожалуй, больше, чем другим его современникам. Оттого, наверное, больше у него и ошибок, и несообразностей, и противоречий.

Ошибки гениального человека благодетельны, ибо они поучительны, ибо они облегчают путь идущим вослед.

К идее осуществления (и в утопии, и в практике — тоже утопической) коммунистического принципа распределения по потребностям подошел **Роберт Оуэн**. Подошел, переступив через порог частной собственности. Лозунгом его были великие слова: «Либо все люди должны быть счастливы, либо никто».

Роберт Оуэн был талантлив, удачлив и необъятно добр. К тому же он был богат, практичен и до поры признан «наверху», среди «капитанов индустрии». Но все свое состояние, весь организаторский талант, сердце и душу свою принес он в жертву всепоглощающей Идее коммунизма.

В молодости Оуэн совершает «экономическое чудо»: в пролетарском, задымленном и нищем Нью-Ленарке ему удалось за несколько лет повернуть к лучшему жизнь и быт текстильщиков. А всего-то сократил рабочий день, позаботился о чистоте в поселке, устроил школы, устранил полицию... О его личном обаянии, деловитости ходили легенды по всей Европе.

После Нью-Ленарка Оуэн постепенно кристаллизует все основные, узловые пункты своего учения. Он обрушивается на частную собственность, буржуазный брак, религию. Эти три великих зла мешают воцарению справедливости. Их надо сломить!

Но сломить проповедью, добрым примером, убеждением. Здесь Оуэн вполне на одном уровне и с собратьями-утопистами, и с просветителями. Однако неверно было бы все в Оуэне подго-

нять под этот общий знаменатель. Сколько бы он сам ни уверял (и — верил!), что исходит из природы человека, вечных установок Разума и т. п., нельзя забывать: исходным в его учении было наблюдение царящей в обществе и производстве анархии.

Там же, в производстве, увидал он «волшебную силу машин», могущую стать надежным рычагом достижения изобилия. «Он не только фактически исходил в своих опытах из фабричной системы, но и теоретически провозгласил ее исходным пунктом социальной революции» (К. Маркс, Ф. Энгельс).

Приверженность идеалам гуманизма, вера в разум и привели Оуэна к коммунизму. Тропа та же, что и у Мора триста лет назад. Но разница в содержании гигантская, ибо коммунизм Оуэна помножен на «социальные преимущества», на промышленность XIX века!

Оуэн глубже, чем даже Фурье, постиг сущность, сокровенный смысл счастья, которого может и должно добиться человечество, если оно примет идею коммунизма. Не просто накормить, одеть; это даже меньше чем полдела. Это лишь предпосылки подлинных наслаждений. А они — по ту сторону материальной необходимости: в духовной, социальной, эстетической сфере.

Высшие наслаждения творчества, общения, искусства в полной мере станут доступны новым людям, воспитанным уже в человеческих обстоятельствах нового мира.

«В возрожденном мире, когда человек родится заново и получит новое сознание, новые чувства, новый дух, новый язык, говорящий только правду, новую нравственность, новые навыки и способ поведения, — мечтает Оуэн, — в этом мире все неизбежно будут любить друг друга и каждый без лукавства будет испытывать чувства любви».

Мысль Оуэна совершает круг: имея исходным духовным центром своей системы всесторонне развитую, гармоничную личность, Оуэн приходит к неприятию собственничества и религии, обращается к поиску социальных форм для лепки новой человеческой жизни и уже из комбинации этих форм «выводит» всестороннюю личность как результат общественного переустройства.

Как и всякий утопист, Оуэн поставил «телегу впереди лошади», поменял местами исходный пункт движения и его конечную цель. Но рациональное зерно его учения о новом человеке оказалось плодоносным и «проросло» в теории коммунистического воспитания.

Самая сильная сторона учения Оуэна — соединение мечты о гармоническом человеке с могуществом техники и науки. Фурье признает это могущество скорее на словах, поскольку в его фаланстерах (трудовых коммунах) первенство принадлежит сельскому хозяйству. Сен-Симон упивается этим могуществом и в известном смысле фетишизирует его как самоцель (все остальное приложится!). Оуэн постоянно имеет в виду высшую цель производства — развитие самого человека, общины, коммуны, ассоциации людей.

К сожалению, до сих пор не так много известно о социально-утопической практике XIX века — и стихийной, народной, и осуществлявшейся новыми «пророками». Обидно, но факт: воздействие на предшественников научного коммунизма «подпочвенных вод» народной мечты, векового массового протеста ис-

следовано еще совершенно недостаточно. Оттого, наверное, до сих пор нет-нет да и проскальзывает этакое снисходительно-высокомерное отношение к великим утопистам как неким безнадежным одиночкам, чудакам, которые чуть ли не по наитию свыше открывали новые социальные горизонты.

И, наконец, последнее. Учения «патриархов» должны быть сопоставлены не только с движением философской мысли, не только с уровнем и формами стихийного недовольства обездоленных, страдающих масс. Их роль, их значение, их происхождение наконец надлежит соотнести с могучим течением гуманизма в искусстве предшествующих эпох. Причудливые фантазии Сен-Симона, Фурье, Оуэна — это ведь и попытки эстетически, в системе образов освоить настоящее и будущее. Молодой Энгельс афористично назвал сенсимонизм «социальной поэзией». Любопытное замечание!

Самоучки тем и гениальны были, что сумели в пламени своей фантазии переплавить огромный материал, накопленный до них наукой, историей общественной мысли, литературой и искусством. Самые «безумные» из их пророчеств получили вид на жительство в будущем потому, что опирались на классовый инстинкт, на представления о трудовой морали, одухотворялись гуманистическим идеалом, сочувствием к угнетенным.

«Теперь, — писал В. И. Ленин после победы Октября, — многое из того, что было фантастического, даже романтического... в мечтаниях старых кооператоров, становится самой неподкрашенной действительностью».

КАНУН

ЭХО БАСТИЛИИ

Грохот рухнувших стен Бастилии знаменовал победу «делового» — жестокого, беспринципного, алчного класса собственников — буржуа.

К небу вознеслись хриплые звуки фабричных гудков. Но не только они. Из самых глубин народного сердца «эхом Бастилии» рвалась на волю, к свету могучая и грозная песнь, сулящая гибель тиранам и кровопийцам.

Кровь революций — праведная кровь. На развалинах поверженных, прекрасных идеалов поднимался новый мститель, новый, истинный заступник народа. Революция погибла — да здравствует революция! Свобода повержена — да здравствует Свобода! Равенство оболгано и попрано — да здравствует подлинное Равенство!

Не сразу, не всем — даже из самых мудрых, самых чистых — дано было угадать новую могучую созидательную силу. Угадать — и поверить, и вдохновить ее на битву. «Бедный, страдающий брат» — так или примерно так, искренне, не без простодушного высокомерия относились к пролетариату, ко всему трудовому народу утописты начала XIX века.

Но туда, в вулканические толщи народных масс, стремился проникнуть не только скальпель острой социальной мысли, но и светлый луч поэтического воображения. «Эхо Бастилии» мы

слышим прежде всего в свободолюбивой, непреклонной поэзии революционного романтизма первой половины XIX века. Оно, это эхо, вызвало к жизни целую плеяду поэтических гениев общемирового значения.

Они сгорали яркими факелами, с недопетой песней на устах. Пожалуй, только Блейк да еще Беранже (самый жизнерадостный из барабанщиков новой революции и новой литературы) дожили до безотрадной старости. Остальные падали, не достигнув сорокалетнего рубежа. Но как же ослепительно, невероятно много они успели сделать для человечества!

Первую дань уважения и благодарности по праву воздадим **Роберту Бернсу**, пришедшему в мир на склоне века Просвещения, предвосхитившему крах Бастилии и воспевшему Свободу.

Он лишь календарно принадлежит целиком XVIII веку. «Поэт-пахарь» (так его называли при жизни) поднял плугом своего огромного дарования такие пласты народной жизни, так глубоко посеял зерна своей мечты, что они до сих пор плодоносят и «рвут обручи» литературных схем, украшая революционную поэзию.

Неунывающий оптимист, труженик, умница, он весь словно соткан из солнечных песен. Здоровая психика, здоровая, жизнерадостная мораль его вобрала в себя многовековой опыт «честной бедности», для которой работа — лучшее лекарство, а беззаветная и безусловная любовь — высшая радость. Бернс верит в человека труда. Его непреклонный жизненный принцип — преданность отечеству, ненависть к гонителям свободы.

«Я... с самого начала, да и поныне желаю нравиться более всего моим собратьям — обитателям сельских хижин», — гордо заявлял уже обласканный славой Бернс.

Великим талантом наградила судьба «славного горского парня» Бернса. Родная земля, народная стихия наградили его зорким взглядом, подсказали точный масштаб видения людей и событий. Бернсу не приходилось подсаживать свою веселую музу на эстетическую вышку античности или библейского величия, чтобы разглядеть, каким должно быть человеческое счастье. Оно было и всегда будет здесь, на родной земле.

Ему удалось то, чего не могли постичь многие его предшественники и современники: увидеть жизнь народа глазами непосредственного участника, хозяина и творца этой жизни. Он не был наблюдателем, не был «человеком со стороны». Короткая жизнь Бернса была полна света и горечи, трудов и романтических приключений. Но ничто не помешало ему пропеть чистую песнь свободе, честности, любви и труду. Он был непоколебимо верен своему народу; и поэтому все народы воздают ему дань своей немеркнущей и неизменной любви. Обретя Бернса, человечество стало выше, светлее, духовно богаче. Так в который раз подтвердилось: поэт подлинно национальный обязательно становится любимым сыном всех народов земли.

Прокатившиеся по континенту огненные валы восстаний, революций конца XVIII — начала XIX века как бы перетекли потом в кровеносную систему поэзии. Вопреки и наперекор торгашескому духу времени на духовном небосклоне буржуазной и феодально-крепостнической Европы ярким маяком искупления и

надежды запылала звезда прогрессивного, революционного романтизма.

Негодование, порыв, жажда свободы, которыми был пронизан романтизм, подвигали людей на сопротивление несправедливому мироустройству. Семена свободы, брошенные романтиками в души человеческие, приносили свои добрые плоды.

«Активный романтизм, — писал М. Горький, — стремится усилить волю человека к жизни, возбудить в нем мятеж против действительности, против всякого гнета ее».

Прогрессивные романтики были законными и благодарными наследниками гуманизма эпохи Ренессанса, веры просветителей во всемогущество разума. «Героический энтузиазм» Мирандоллы и Бруно как бы переживал теперь второе рождение, только цели его существенно изменились в соответствии с духом эпохи. Уже не только о свободе личности шла речь; речь шла прежде всего о социальной свободе, о свободе от власти тиранов, от развращающей власти денег, от липкой паутины буржуазности. Гнусной действительности противопоставлялся высокий и светлый Идеал — и человеку надлежало добиваться его осуществления любой ценой, несмотря ни на что. Наперекор и вопреки всему!

И — в одиночку. Романтизм вновь поднял как эталон Человека героическую личность, неизбежно опережающую время и, в сущности, обреченную на гибель. Гибель возвышенно-прекрасную — во имя Будущего.

Само это будущее рисовалось романтикам очень отвлеченно, сумбурно, субъективно. Их идеал представлял собою некую смесь руссоизма, патриархальных иллюзий, анархического своеволия и т. п. Соответственно темны и ненаучны их концепции исторического развития человечества.

Но не ради этих концепций обращаемся мы к романтикам. Они сеяли ветер свободы; он подымал бурю, его порывы били в тугие паруса народного гнева. Духом борьбы — вот чем интересен для нас романтизм, вот чем жив он.

Романтические шедевры покоряют нас силой чувства, завораживают внутренней энергией стиха. «Живое пламя слов» раскрывает, озаряет нам истину красоты — и красоту истины (эта диалектическая формула принадлежит Джону Китсу).

Романтики шагнули вперед к действительности, к ее треволнениям и сражениям. До подлинной жизни и борьбы было еще далеко. Но лучшие из них прочерчивали путь к реальным, живым людям, к невыдуманным конфликтам, к идеалам, вырастающим из пламени революционных битв.

...Первый камень в здание английского романтизма положил **Вильям Блейк**, мечтатель, бунтарь, духовный собрат светлого Бернса.

Его насыщенный символикой стих, как бы продолжающий линию Мильтона, резко отличается от хрустально чистых и простых напевов великого шотландца. И все же поэты эти близки — по духу, сути творчества, по его идейной направленности и насыщенности.

У Блейка хватило смелости и таланта приветствовать крушение Бастилии блистательной, подлинно народной романтической балладой «Король Гвин». Нетрудно увидеть в ней идейную перекличку с «Деревом свободы» Р. Бернса. Но есть в «Гвине» и при-

мечательная особенность: в балладе слышится, нарастая, ширясь, грозная поступь готового на смертный бой восставшего народа. Образа такого масштаба, такой силы мы у Бернса не найдем.

Мечтатель Блейк прочными, хотя и потаенными нитями связан с народными революционными ересями XVII века. Он близок духовно «диггерам»; он готов неустанно подрывать стены неправедного общества, где слышится скрежет «законом созданных цепей», где «чернеют капли детских слез и катафалки новобрачных»...

Лирический герой Блейка в чем-то сродни гётевскому Фаусту. Он тоже смело идет на бой за жизнь и свободу. Он проклинает дымные «фабрики Сатаны», «голодный плач со всех сторон». Он верит в победу социального равенства, верит во времена, когда «деревья зимой зацветут, взойдут из-под снега посевы» и воцарятся на земле свобода и справедливость.

Гордым и преданным рыцарем Мечты был гениальный романтик **Джордж Байрон**.

Судьба титана Прометея, его подвиг во имя людей как бы повторились в короткой и ослепительной жизни мятежного лорда. Он писал о любимом своем герое-огненосце:

Разрушил рок твои мечты;
Но в том, что не смирился ты,
Титан, воитель и борец,
В том, чем была твоя свобода, —
Сокрыт величья образец
Для человеческого рода!

Эти слова поэта о Прометее во многом помогают понять самого Байрона: и его жертвенную преданность идеалу человеческой свободы, и страстное желание все подчинить этому идеалу, включая собственную жизнь.

«Могучий гений, на свое горе, взглянул вперед — и, не рассмотрев за мерцающей далью обетованной земли будущего, проклял настоящее и объявил ему вражду непримиримую и вечную» (В. Г. Белинский). Здесь, в этом трагическом раздвоении, коренится разгадка и пессимизма поэта, и его отчаянного индивидуализма, но и вместе с тем исступленной, жгучей веры в «обетованную землю», ненависти к врагам ее, надежды на подъем духа свободы, океанские волны которого разорвут цепи тирании, раболепия.

Его сердце наполнялось жалостью, возмущением, негодованием при виде страданий обездоленной, в том числе и пролетарской, массы. Он не сумел понять (не пришло еще время), что Прометеи духа должны слиться с массами, возглавить их борьбу — и лишь тогда рухнут давящие стены социального и национального гнета. Но тем не менее мало кто в те времена с такой сокрушительной силой, с таким жгучим сарказмом клеймил власть имущих — за стоны, слезы и муки народа, созидающего роскошь богачам, а горе и нищету — для самого себя.

Байрон терзался, метался, отчаивался, видя, как гибнут под железной пятой реакции зеленые побеги свободы. И оттого поэт временами впадал в неподдельную, бездонную «мировую скорбь». Но это не была скорбь безысходности.

Да, понимал он, героизм обречен, жертвен. Выбора нет: или

смириться, или пасть в неравной битве. Но поэт верит: законы истории работают на благо народов. Будет, будет просвет в тучах! Только не дожить до тех сладостных времен ни Чайльд-Гарольду, ни Манфреду, ни Дон-Жуану, ни Корсару...

По мере возмужания поэзии Байрона в ней все более мощно нарастает торжественная вера в очистительное пламя революции, в праведность народного восстания против угнетателей. Вот только несколько строк из «Дон-Жуана», самого зрелого творения поэта:

...в сущности, лишь войны за свободу
Достойны благородного народа.
Все прочее — убийство!

Таким и дорог и близок нам Байрон — певец «огня грядущих дней», певец «волшебного дара свободы».

Высокая честь выпала на долю П. Шелли: еще при жизни иметь более всего читателей не в среде респектабельных буржуа, а среди рабочих.

Аристократ по происхождению, Шелли в юности зачитывался Вольтером и Руссо, Дидро и Гольбахом. Восемнадцатилетний поэт с корнем вырывает из своего сердца религию. За это он был изгнан из Оксфорда. Сначала только из Оксфорда. Сначала «только» проклятье отца...

Вслед за Байроном Шелли обращается к жанру лирико-эпической поэмы. Он пишет знаменитую «Королеву Маб» — поэтический катехизис английских пролетариев. В истории литературы зафиксировано: первая поэма Шелли за 34 года с момента своего появления (то есть с 1813 по 1848 г.) была издана шестнадцать раз тиражом до миллиона экземпляров. Цифра по тем временам просто невероятная!

Молодой Шелли сумел глубоко постичь теневые, отвратительные стороны капиталистического прогресса. «Все на публичном рынке продается — честь, совесть, добродетели, талант...»

А что же дальше? Кто сумеет сломить злую «силу злата»?

Народ, и только народ! — отвечает Шелли. Главным героем всей его поэзии, начиная с «Маб», становится восставший на тиранов и собственников трудящийся люд. Он направит корабль человечества к лучезарным берегам всеобщего счастья. Он поставит на службу людям могучие умные машины; он превратит пустыни в сады; он вырвет плевелы эгоизма, алчности, лицемерия и злобы. Новая жизнь, новая братская общность людей неузнаваемо преобразят землю и самого человека, у ног которого будет лежать «послушная в своем разнообразии материя».

Лучшие строки Шелли, словно детонатор, вызывали тысячекратной силы эмоциональный отклик в сердцах простых людей Англии, в сердцах обретающих политический слух и зрение пролетариев. В этом его непреходящая заслуга. Он погиб, опередив время. Он навсегда остался современником истинных борцов за идеал свободы.

«ПРИЗРАК БРОДИТ ПО ЕВРОПЕ...»

Прошла первая четверть XIX века. Над Европой, покрытой пеплом недавних наполеоновских сражений, простер свои щу-

пальца холодный спрут «Священного союза». В метельном Петербурге в декабре 1825 года безжалостно раздавлена попытка буржуазно-демократического переворота.

Сумерки истории... Все измельчало, потускнело, раздробилось. Казалось, нечем дышать, незачем жить, не за что умирать... В сумерках слышались унылые причитания: мир непостижим в своей мерзости; цветы зла неуничтожимы.

Но уже наливаются новой силой мускулы Истории. Уже слагались в грохоте фабрик и мастерских, в тихом шепоте заговорщиков с чугунными кулаками новые, лучшие песни о будущем!

На баррикады передовой философской, социальной и художественной мысли восходят борцы, делающие новые шаги к народу, к реальной жизни.

Проснулась, зашевелилась, заклокотала и «преисподняя»! Угнетенный рабочий люд начинает искать выход, искать правду. Пока еще стихийно, в силу самих условий своего социального бытия, он начинает постигать истину истин: пролетариям нечего терять, кроме своих цепей.

И вот уже расплескалось над миром — нестерпимым жаром в глаза! — красное знамя лионских ткачей. Ими же выкован суровый лозунг: «Жить работая или умереть сражаясь».

Путеводная, все объясняющая нить, выводящая из тьмы к свету, нужна сейчас, сегодня, немедленно! И потому проверяется на прочность, на пригодность все то, чего достигла передовая социальная мысль к тому времени. И в первую очередь наследие великих «патриархов социализма»: Сен-Симона, Фурье, Оуэна.

Ни одно из этих учений не могло стать прямым орудием революционной борьбы, ибо все они были пропитаны призрачным духом «примирения классов», сотрудничества бедных и богатых, одинаково завороженных сиянием открытой наконец Великой Истины.

Массы, как известно, лучше всего учатся на собственном опыте. А опыт этот неуклонно убеждал, что проекция блистательных фантазий утопистов на реальную классовую борьбу неминуемо дает негативные социальные результаты.

Жизнь, суровый собственный опыт (пусть пока еще небогатый и смутный) классовой борьбы лучше всяких социалистических пророков-утопистов учили пролетариев искать свой путь. На баррикадах, под градом ядер и пуль, все меньше верилось в классовый мир, в «перевоспитание» капиталистов.

Пролетариат продвигался к идее самостоятельной организации, к идее объединения, солидарности, единства действий — сначала в профсоюзах, кооперативах, «рабочих кассах». Затем логика классовых битв выводит пролетариат на арену яростной политической борьбы. Он выдвигает своих лидеров, своих поэтов, предъявляет свои требования к власть имущим.

Так родилось чартистское движение в Англии — первое массовое самостоятельное революционное движение пролетариата. И главное — уже не стихийное, а политически оформленное. В. И. Ленин называл чартизм «предпоследним словом» к марксизму.

«Политическая власть — наше средство, социальное благоденствие — наша цель». Таким был главный лозунг чартизма. При всей неопределенности содержания (особенно второй части

лозунга) — какой исполинский шаг вперед от всех и всяческих рецептов постепенного, «полюбовного» преобразования общества!

Чартисты сознательно и твердо выдвинули задачу борьбы за создание нового политического строя, хотя и в рамках буржуазной демократии. Преодоление некоторых утопических иллюзий, понимание необходимости создания организации борцов за социализм — это позволило В. И. Ленину сказать, что чартизм «гениально предвосхищает многое из будущего марксизма».

СКВОЗЬ ТЕРНИИ — К ЗВЕЗДАМ!

Еще мерцали в сумерках века болотные огоньки прекраснодушных проектов спасения человечества от капитализма;

еще не сносились «гигантские детские башмаки пролетариата» (К. Маркс) — собственно пролетарские, угрюмые и наивные, неуклюжие учения, преисполненные, однако, решимости к борьбе и веры в победу;

еще гремели — в канун кровавых революционных баталий — словесные философские схватки.

Но уже вызревала Великая Истина пролетариата!

К ней неудержимо и упрямо шли молодые **Карл Маркс** и **Фридрих Энгельс**, шли сквозь дебри противоречивых, однобоких, а то и путаных философских учений, социальных догм, сквозь мутный планктон разрозненных фактов, сквозь кажущуюся непостижимость буржуазных экономических «чудес». Сквозь тернии — к звездам!

Марксу и Энгельсу предстояло накрепко спаять чувства, мечты — и достоверное знание; науку — и нравственно-эстетический идеал. А для этого не было иного пути, кроме бесстрашного обращения к объективной реальности, к объективным законам исторического развития.

Идеал становился итогом, суммой, выводом из анализа общественной жизни и ее законов. Он вставал «с головы на ноги» — на прочное основание материалистического понимания истории.

В союзе с наукой, с гениальными прозрениями, предчувствиями и догадками лучших умов человечества начинался марксизм — революционная теория, вобравшая в себя все самое лучшее, самое ценное из того, что выработало человечество. Теория, соединяющая точность научного эксперимента, хладнокровие объективности и трепет нетерпеливой человеческой Мечты. Теория, которой предстояло стать величайшей материальной силой социального прогресса.

...В своем идейном онтогенезе * Маркс и Энгельс стремительно прошли все важнейшие ступени духовного роста человечества и уже к двадцати пяти годам сформировались как ученые и борцы нового типа, как идеологи пролетариата. Поистине космический взлет!

---

* Онто- и филогенез (греч.) — развитие единичного (онто-), в котором повторяются фазы развития общего (фило-). — Ред.

Ограничимся лишь немногими историко-биографическими и теоретическими фрагментами, имеющими прямое отношение к проблеме идеала в марксизме, к проблеме наследования им прошлых завоеваний передовой человеческой мысли и культуры.

Итак, Карл Маркс.

С самого раннего детства — интенсивное накопление знаний («рыться в книгах» — это на всю жизнь останется любимым занятием). Натура одержимая, увлекающаяся, страстная, юный Карл терзается мыслью о выборе пути, о точном соотнесении своих способностей и склонностей с будущим, непременно полезным для человечества делом. К счастью для людей, ни он сам, ни история не ошиблись в этом важном выборе!

Однако для выбора требуются познания в самых различных областях человеческой культуры. Задача огромна: постичь, выявить потенциальные возможности всех (таков юношеский максимализм!) социально-философских и культурно-эстетических концепций, так или иначе пытавшихся ответить на извечный вопрос о смысле жизни, о природе добра и зла.

«Трудиться для человечества» — так формулирует свое кредо юный Маркс в знаменитом «Размышлении юноши при выборе профессии». И продолжает: только на этом пути не страшны никакие трудности, утраты, бремя невзгод, ибо все это «жертва во имя всех».

Исполнено глубокого смысла, что и Маркс и Энгельс в юности писали стихи. Поэзия не стала делом их жизни; но она, как и мир высокого искусства в целом, была первой школой их убеждений, душой их дела. И не только школой, но и источником творческого вдохновения, родником юмора, смелой фантазии, глубокой иронии. Литература, искусство помогали пробуждению в гениях критического отношения к действительности, ненависти к угнетению и равнодушию. Увлечение искусством оттачивало мысль, обостряло способность целостного восприятия мира, вооружало могучим воображением, пронзающим толщу веков минувших и грядущих.

...Поэтический период эволюции Маркса благотворно сказался на формировании его литературного стиля. Маркс обладал безбрежной поэтической душой. Он умел, как никто, «рассудку страсти подчинять» — и в то же время его могучий талант сверкал молниями ослепительных метафор, изящных (или уничтожающих) эпитетов, афоризмов, озаряя шпалеры «скучных строк» образами поистине шекспировской глубины и силы.

Художественное, образное мышление обезопасило Маркса (как в равной мере и Энгельса) от сухой учености, унылого педантизма. А ведь осваивались «монбланы фактов»! Как никто после великих греков, Маркс приблизился к заветному идеалу соединения, слияния, сплава науки и искусства, издревле разорванных безжалостными центробежными силами разделения труда.

По справедливому замечанию Ф. Меринга, «силой и образностью языка Маркс мог поспорить с лучшими мастерами германской литературы».

Ни Маркс, ни Энгельс не вошли в историю как поэты. Но верной спутницей их гения всегда была великая гуманистическая литература.

Сложным и необычайно важным для духовной эволюции Маркса был ее философский этап. После увлечения благородным Кантом, неистовым Фихте Маркс вплотную подходит к мрачно-величественной цитадели философской системы Гегеля и, постигнув ее тайны, бесстрашно проламывает в казавшихся незыблемыми стенах зияющие бреши. Проламывает, чтобы выпустить на волю могучего, закованного в цепи Прометея диалектики.

Маркс опровергает и отвергает мнимую завершенность, абсолютность, «окончательность» гегелевской философской системы, в которой, словно пчела в густом клее, увязла диалектика, «поэзия движения материи и духа». Вместе с тем именно Марксу удалось высвободить, вернуть к жизни все до единой животворные капли «нектара истины», собранные великими идеалистами на необъятных нивах знания и жизни.

В критическом преодолении и освоении гегелевского философского наследия неоценимую помощь молодым Марксу и Энгельсу оказал **Людвиг Фейербах**, истовый и последовательный борец против религии и идеализма. «Огненный поток» (так в русском переводе звучит фамилия философа) развеял бесплотных, эфемерных духов религии и решительно повернулся к человеку, к живой и трепетной реальности земного бытия. «Все мы сразу стали фейербахианцами», — признавался позднее Энгельс.

Однако Фейербах не смог выплавить в тигле своей философии прочное оружие реальной борьбы. Кумиры были повержены; однако поставить на их место реальную общественную силу довелось не ему.

Что тому причиной? Трудно сказать однозначно. Конечно, немалую роль в ограниченности взглядов мыслителя сыграло его многолетнее (более четверти века) деревенское затворничество. Как и для Мелье, деревня стала для Фейербаха «храмом Природы», в блеске которой тают призраки религиозного дурмана. Однако на дворе был XIX век, и уже не сельские петухи, а мрачные фабричные гудки в городах предвещали утро новой жизни. Созерцательность — вот что стало тупиком фейербаховской философской эволюции.

И снова вспомним ленинское: судить о великих прежде всего по тому, что они дали нового, ценного для развития человечества. И здесь искрящейся, глубоко проникновенной, истинно поэтической философии человеколюбца Фейербаха особое место. Он принес к подножию пролетарской идеологии зеленую ветвь преклонения перед человеком — спасибо ему!

...Маркс не соблазнился примером старшего собрата, не уединился в сельском «приюте спокойствия, трудов и вдохновенья». Перейдя «поток фейербахианства», он с головой окунулся в море людских страданий, в бушующий океан несправедливости и зреющего гнева. Там, только там, в жизненной стихии, — ключ к будущему человечества!

В истории сохранились слова, сказанные о молодом Марксе одним из его современников в начале 40-х годов XIX века: «...Представь себе соединенными в одной личности Руссо, Вольтера, Гольбаха, Лессинга, Гейне и Гегеля — я говорю соединенными, а не механически смешанными — и ты будешь иметь представление о докторе Марксе».

Во всеоружии знаний и таланта Маркс в 1842 году включается в активную политическую борьбу. Главный редактор «Рейнской газеты» вскоре становится лидером демократической оппозиции режиму Фридриха-Вильгельма IV. Журналистская практика все больше приближает Маркса к нуждам и бедам «четвертого сословия», угнетенной массы трудящихся.

Маркс погружается в чтение французской и английской экономической и политической литературы. Он нащупывает нерв современности: капиталистический прогресс противоречив, отталкивающ, безобразен. Но в нем, и только в нем, заключены плодотворные семена будущего, условия для преобразования жизни на гуманистических началах. А друзья — либералы и радикалы, напичканные романтической фразеологией, проклинают прогресс, бичуют его язвы, но... вместе с водой выплескивают и ребенка. Они зовут назад, к патриархальности, к средневековью, то есть к интеллектуальному и социальному застою, к «частичному человеку», место и роль которого навсегда расписаны в иерархии сословий...

А если «назад к Элладе»? Возмужавший Маркс по-прежнему чтит греческий идеал, но теперь еще глубже понимает невозвратимость исторически изживших себя социальных форм. В будущем духовные завоевания греков войдут органическим и необходимым элементом в культуру человечества, освобожденного от эгоизма, религии и собственности. Но лишь элементом иного социального целого.

Тогда, быть может, истина на стороне утопистов? Они глубоко правы (особенно Сен-Симон), предрекая расцвет истории впереди, а не позади прогресса промышленности и культуры. Однако пути и способы движения к социалистическому будущему, предлагаемые «патриархами» и особенно их незадачливыми учениками, с самого начала вызывают сомнения. Более того — неприятие. Очень уж легко и просто приходит всеобщее счастье в утопиях, в мечтах: не оттого ли бессильна сама Великая Мечта?

Кто-то должен дать ей крылья. Кто-то должен встать грудью против старого мира. Восстать и утвердить знамя Мечты! Если... Если старый мир действительно стал «неразумным», достойным гибели и для гибели созревшим.

Маркс идет единственно верным путем — путем уяснения объективных закономерностей социального прогресса, выявления объективной необходимости социальной революции, обнаружения ведущего фактора современного ему общественного развития. Этапы на этом пути — освоение истории борьбы классов (Тьерри, Минье, Гизо), острой критики буржуазных отношений собственности (прежде всего Фурье).

И конечно же, непосредственное общение с пролетариями. Лишь тогда молния теории ударила точно в древо жизни и «расколдовала» тайну прогресса. «История готовит из этих «варваров» нашего цивилизованного общества, — пишет Маркс

Л. Фейербаху 11 августа 1844 года, — практический элемент для эмансипации человека». Пролетариат — вот материальная сила, которая претворит мечту человечества в реальность.

«Подобно тому как философия находит в пролетариате свое материальное оружие, так и пролетариат находит в философии свое духовное оружие».

Знаменательно: в этот волнующий миг прозрения они встречаются — Карл и Фридрих. Встречаются, чтобы никогда более не расставаться, идя по жизни рука об руку. Их дружба станет высочайшим в истории образцом нежного, бескорыстного, на глубокой идейной и нравственной общности основанного братства людей. Земные пришельцы из будущего, они и личным примером своим показали, каким может быть будущее.

Молодые Маркс и Энгельс поднялись к вершинам принципиально нового взгляда на мир, на будущее. Они выработали истинный лозунг борьбы для всех истинных мечтателей, для всех настоящих радетелей за Человека: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» (К. Маркс).

Это был поистине коперниковский переворот во всей системе взглядов на прошлое, настоящее и будущее человечества.

Молодые Маркс и Энгельс настойчиво искали ответ на жгучий вопрос: что будет после революции пролетариата? Ответу еще предстояло обрастать «мясом» научных фактов, социальной практики, прогнозов, знаний. Но потрясает то, что уже в 1844 году он был правильным. Имя ему — коммунизм.

Не умозрительная схема, в соответствии с которой перестраивается мир; коммунизм — закономерный продукт развития человечества, результат действия законов капитализма, следствие неизбежной и острой классовой борьбы пролетариата против буржуазии, процесс — бесконечный и прекрасный — пересоздания жизни общества на подлинно творческих и гуманистических началах.

Если говорить о названии нового, вызревшего в сознании Маркса и Энгельса учения, то почему коммунизм, а не социализм?

Социализм был скомпрометирован тогдашней своею фантастической утопичностью, своим капитулянтством перед власть имущими.

Тогда коммунизм... Но в грубом, уравнительском своем варианте он тоже был неприемлем — и угрюмой враждебностью культуре и цивилизации, и застойностью, неподвижностью, и своим недоверием к человеку, отрицанием самоценности творческой личности.

Но все-таки коммунизм!

Понятие коммунизма содержало точные критерии цели пролетарской революции, главнейшие слагаемые идеала: уничтожение частной собственности, установление общественного самоуправления, диктатуры пролетариата в период перехода от капитализма к новому обществу.

Маркс и Энгельс перешагнули через ограниченность, замкнутость идеала и уравнителей, и утопических социалистов. Идеал для них — это движение к высшему состоянию общества, движение, не имеющее некоего предела как фазы неподвижного, «вечного», регламентированного счастья. Коммунизм как тео-

рия доказывает бесконечность и безграничность расцвета личности в условиях свободы, строго научно определяет средства достижения новых, все более высоких стадий социального развития.

Решительно отвергая уравнительность как вариант всеобщего счастья, Маркс и Энгельс в качестве наиглавнейшего условия построения коммунизма выдвигают всестороннее развитие производительных сил. Вне и помимо этого, «имеет место лишь всеобщее распространение бедности; а при крайней нужде должна была бы вновь начаться борьба за необходимые предметы и, значит, должна была бы воскреснуть вся старая мерзость».

Учение Маркса всесильно, потому что оно верно, потому что оно глубоко человечно, ибо целиком подчинено идеалу развития личности в соответствующих социальных обстоятельствах. «Человек — высшее существо для человека». Или, как позже скажут Маркс и Энгельс, коммунизм — это «ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием развития всех».

ЭОЛОВЫ АРФЫ

Приближался мятежный 1848 год. Слышалось уже грозное клокотанье приближающейся народной бури. Пролетариату, его лучшим сынам, его вождям предстояло впервые помериться силами со своим главным классовым врагом. Предстояло проверить в жарком пламени сражений жизнестойкость и реальную пригодность для борьбы за будущее всех и всяческих теоретических разновидностей социализма и коммунизма.

Над Европой во весь могучий рост вставал красный призрак в рабочей блузе. Ему как воздух нужна была организация, вооруженная передовой теорией, ясной и цельной программой действий. Задачей задач была борьба за пролетарскую массу, за отрыв ее от всякого рода сектантов, «знахарей»-псевдосоциалистов, за повышение ее политической зрелости и активности.

Задача труднейшая! Объединить и сплотить массу — а она еще во власти роковых сил застоя, разобщения, духовного оцепенения. Слишком немногие «выварились» в «фабричном котле»; большинство переполнено горечью, гневом, негодованием, но живет и мечтает, оглядываясь назад, на собственный клочок земли, или мастерскую, или лавчонку...

Что можно было противопоставить этой стихии косности, мелкобуржуазных иллюзий, что выдвинуть против отлаженной жестокой машины реакционных государств?

Прежде всего силу пролетарской организации и силу правды, помноженную на силу слова.

«Я знаю силу слов, я знаю слов набат...» Так могли бы сказать и Маркс и Энгельс. Пламенные публицисты, блестящие знатоки литературы, они знали, что подлинное искусство способно всколыхнуть все лучшее в человеке, возвысить его над обыденностью, подвигнуть к творчеству, деянию, борьбе.

Помочь литературе и искусству повернуться лицом и сердцем к народу, к пролетариату — в этом видели одну из важных своих задач Маркс и Энгельс. Вот почему они так энергично

поддерживали каждый живой побег подлинно демократической литературы, каждое радикальное выступление за интересы трудящихся, каждое проявление искренней приязни и любви к народу в произведениях современного им искусства.

В противовес буржуазному принципу якобы неограниченной, элитарно-эгоистической свободы творчества Маркс выдвигает принцип действительно свободного служения народу, идеалу справедливости, идеалу обновления жизни.

Юноша Маркс создал поэтичную метафору революционного искусства: «Обыкновенные арфы звучат в любой руке; эоловы арфы — лишь тогда, когда по их струнам ударяет буря». У зрелого Маркса эта метафора наполняется конкретным революционным содержанием.

Теперь самое время вслушаться в звонкие песни одной из самых чистых «эоловых арф» демократической поэзии XIX века, в песни **Пьера-Жана Беранже.**

Слава довольно быстро пришла к талантливому поэту. Пришли и вечные спутники ее — соблазны: гонорары, перспективы близости к «сильным мира». Беранже, однако, равнодушен к славе, богатству, синекурам, карьере. Превыше всего он ценит близость к простым людям, к народу, питавшему соками веселья и трудолюбия жизнерадостную музу поэта.

Всю жизнь Беранже постигал народную душу, самые сокровенные черты и качества национального характера. По его убеждению, бесполезно искать драгоценные зерна человеческой души в изысканных салонах или сверкающих золотом гостиных богачей. «Народный инстинкт» (выражение самого Беранже) безошибочно вел его за золотыми россыпями достоинства, благородства и оптимизма на чердаки и в таверны — к беднякам, труженикам, париям буржуазного мира. Если Бернс воспел красоту и величие души крестьянина, то Беранже — певец городских мансард, городского плебейства, первым идущего на баррикады.

Беранже разделял с народом и радости побед, и горечь поражений, и неизбежные иллюзии. Такими были поначалу иллюзии бонапартизма. Такими после воцарения буржуазной монархии в июле 1830 года были утопически-социалистические иллюзии мирного переустройства несправедливого общества.

Но рухнут иллюзии, и вся сокрушающая сила сатирического таланта Беранже будет мобилизована на разоблачение толстосумов, финансовых акул — этих новых разбойников, грабящих народ и отечество.

Душой поэзии Беранже была правда бедняка, плебейская непримиримость ко злу и фальши, к угнетению и насилию, неистощимая, чувственно-прекрасная радость земного бытия.

Он отдал людям труда свое сердце — честное и чистое, огромное и бесхитростное. Песни его и поныне поет трудовая Франция. Да и только ли она?

От Беранже прямые пути духовного родства идут к поэтам Парижской коммуны, к Э. Потье, к российским разночинцам-демократам, к поэзии Великого Октября.

1848 год. Дрожат и рушатся троны. На новые баррикады

восходит Свобода. Только теперь самые верные сыны ее одеты в пролетарские блузы. Одной трусливой дрожью содрогаются и аристократы и буржуа. Одной черной нитью плетут они тайный заговор: усмирить чернь! Раздробить, распылить силы народа! Загнать взбунтовавшихся рабов обратно в голодное стойло!

В эти исторические дни яростно и тревожно гудят «эоловы арфы» революционной поэзии. Они призывают людей труда на поле брани. Они приветствуют всякую новую попытку разорвать железные цепи рабства.

Первым и самым значительным поэтом немецкого пролетариата назвал Ф. Энгельс **Георга Веерта**. Он был дружен с Марксом и Энгельсом до самой своей смерти (Веерт умер от желтой лихорадки в Гаване в возрасте 34 лет). До самой смерти он служил колючим своим пером рабочему классу.

Эволюция таланта Г. Веерта — свидетельство плодотворного воздействия передового мировоззрения на поэта, а также осознанного, свободного (по велению совести и разума) служения передовой, пролетарской партии.

Историзм — мощная линза, умножающая поэтическую зоркость таланта. Яркое свидетельство этому — творчество и судьба великого поэта Германии, друга К. Маркса и Ф. Энгельса — **Генриха Гейне**.

«Барабанщик революции» — так называл себя Гейне. И имел на это право: еще в 1833 году он сумел увидеть, что в философской системе Гегеля скрывалась революция. Гейне сумел угадать грядущую неизбежность гибели буржуазного строя, историческую справедливость этой гибели. Другой вопрос — и об этом чуть позже, — каким рисовалось ему общество будущего.

Уже в 40-х годах Гейне приходит к идее пролетарской революции. Над Германией грозным гулом прокатывается поэтический реквием по обреченному строю насилия и эксплуатации. Это были «Силезские ткачи». Затем появляется вершинное произведение поэта, пронизанное светом из будущего, — поэма «Германия. Зимняя сказка». Ф. Меринг писал: «Зимняя сказка» остается свободнейшей из его песен, уничтожающей в своем остроумии, правдивой в своем пафосе, певучим пламенем пожирающим гнилой мир, чтобы из его пепла мог, как феникс, возродиться новый мир».

«Мысль является у него чувством, и чувство переходит в думу так неуловимо...» (Н. А. Добролюбов). Причем самое примечательное в этой неуловимости — органическое сочетание глубокого лиризма с публицистичностью. Гейне претили абстрактная философичность и риторика — претили и в поэзии, и в политике.

Сознавая огромность дарования Гейне, Маркс многое сделал для того, чтобы высветлить социальное воззрение поэта, увлечь его красотой коммунистического идеала, помочь ему увидеть в пролетариате не только могильщика старого, но и созидателя нового мира.

Увлечь и помочь во многом удалось. «Силезские ткачи» — тому наилучшее свидетельство; можно предположить, что они созданы под влиянием Маркса, оценившего восстание 1844 года как первое сознательное выступление немецкого пролетариата.

Однако Гейне в своей идейно-политической эволюции не смог подняться до сознания правоты научного коммунизма. Помешали утопические иллюзии (он всерьез и долго увлекался сенсимонизмом); помешала разлука с Марксом; помешала, наконец, «матрасная могила» — многолетняя болезнь, оборвавшая живые связи поэта со стихией революционной борьбы. Однако паралич тела оказался бессилен прервать полет его мечты, кипение страсти, порывы духа.

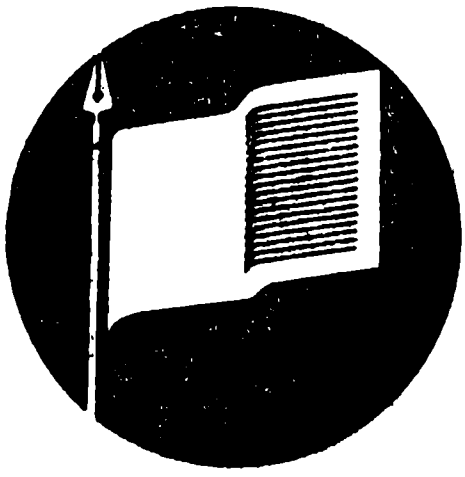
Свободен пост! Мое слабеет тело...
Один упал — другой сменил бойца.
Я не сдаюсь! Еще оружье цело,
И только жизнь иссякла до конца.

Поэта, возвестившего в 1844 году дерзко, определенно: «Мы здесь, на земле, устроим жизнь на зависть небу и раю», до конца дней обуревали мучительные сомнения. Действительно ли «сладкий горошек найдется для всех»? Не погибнут ли в справедливой кровавой битве пролетариата вместе с неравенством и плоды цивилизации, и цветы искусства? Не пойдут ли прахом вместе с «сытыми крысами» (буржуа и помещиками) мраморные статуи красоты, романтика, лирика и многое другое, столь сладко милое сердцу?

Откуда эти страхи у Гейне? В значительной мере из того «коммунизма», с которым только он и был знаком: из коммунизма уравнительного, аскетического, бесцветно-мрачного. Сказалось тут и древнее интеллигентское предубеждение к неотесанному простолюдинству, и неверие в союз искусства и труда... Тем не менее картина будущего, нарисованная поэтом в предисловии к «Лютеции», весьма любопытна и даже по-своему точна — как экстраполяция в будущее теоретических установок уравнителей. А то, что такой зигзаг истории не исключен, подтвердилось зловещим опытом маоизма...

Но что характерно: революционер все-таки побеждает в Гейне попутчика. Пусть личное растворится в общем — высшая справедливость истории все равно на стороне угнетенных, на стороне революции!

Окончание следует



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

РУБЕЖИ ТВОРЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ

Вадим ДЕМЕНТЬЕВ

«ПОЛОЖИСЬ, ОТЧИЗНА, НА НАС...»

О ТВОРЧЕСТВЕ МОЛОДОГО БЕЛОРУССКОГО ПОЭТА ВЛАДИМИРА НЕКЛЯЕВА

Памятные нам всем февральские дни 1981 года... В Кремлевском Дворце съездов продолжает свою работу XXVI съезд нашей партии. Во время одного из заседаний к трибуне выходит худощавый, невысокого роста молодой человек с волевым, открытым лицом. Он читает свои стихи, и в убежденности его голоса слышится твердая вера в единство поколений, в наследие всего самого лучшего, героического и правдивого, что завещано нам отцами.

Имя поэта и делегата съезда — Владимир Некляев, белорус по рождению, лауреат премии Ленинского комсомола.

Символично и другое: Некляев выступал от имени того поколения, которое сегодня все уверенней входит в жизнь, поколения, чье рождение приходится на послевоенные годы. Они поначалу были трудными и полуголодными, но все-таки нынешние 30-летние или молодые не знали воя бомбежек, блокадных зим...

Имя молодого белорусского поэта в рус-

ских переводах появилось сравнительно недавно — года три назад. И сразу же ровный и успешный старт: более десятка публикаций в таких газетах и журналах, как «Комсомольская правда», «Огонек», «Сельская молодежь», «Юность», «Смена», «Литературная Россия». Опубликовано в переводах две поэмы, более тридцати стихотворений. Для белорусских читателей все это было неудивительным — Некляев широко известен в республике. Представляя молодого поэта, Р. Бородулин пишет: «С первых выступлений в печати в нем ярко проявился прирожденный мастер стиха, тонкий и четкий. В слове поэта есть простор, есть воздух, есть колорит и дух родного края». Добавим, что у Владимира Некляева в Белоруссии вышло две книги, первая из которых носит весьма символичное название — «Открытие». Вторая книга «Изобретатели ветров», вышедшая в Минске в 1979 году, а также поэма «Дорога дорог» (в журнальном варианте на русском языке «Стремление») удостоены премии Ленинского комсомола.

Счастливый дар? Удачная судьба? Нет, все не так просто...

Владимир Некляев родился в 1946 году. Можно уже, казалось бы, перевернуть следующую биографическую страницу, если бы не два обстоятельства. Год рождения — послевоенный. Место рождения — еще дымящаяся после освобождения, разрушенная Белоруссия. И то и другое в чем-то определили судьбу поэта.

Позади была страшная война, принесшая разор и опустошение. «Белоруссия родная...» Каждый четвертый житель погиб (нет семьи, которая не потеряла бы родственников), выжжены сотни деревень, порушены, стерты с лица земли десятки городов.

«...Как спалили немцы людей и деревню, собрались мы в лесу. Кто целый, а больше покалеченные. Я мужика своего на плечах тянула. Он свалился в снег, а я все ползу, все мне тяжко. Только когда люди спросили: «Ганна, ты чего ползешь?», — спохватилась. Боженька, а где ж я потеряла его? За полверсты нашла, он уже коченеть стал. Сказал: «Могла бы и не вертаться, все одно помру». Крови больно много из него вылилось. Покалеченным, знаете, нужно, чтоб тепло было, чтоб поесть хорошо. А тут холодина и есть нечего. Одна кора с деревьев. Мужик мой, чуть живой еще, просит: «Сходи ты на дорогу, может, яблоков конских насобираешь». Так со мною кто вместе пошел и потом ходили. Наберешь этих яблоков мерзлых, сядешь у костра и трешь их, трешь, трешь... Когда и овса немного найдешь, если овсом коня кормили, — лузгаешь, как семечки. Ой, все у меня в ушах голос мужика стоит: «Не могу больше одной корою... Конских яблоков поищи...»

Потрясающей силы рассказы людей, переживших все это. Их Владимир Некляев в своих стихах и поэмах не рифмует, а оставляет такими вот, будто записанными прямо на бумагу, без всякой правки. Ибо нельзя их читать — невозможно! — по рифмам, по четверостишиям, по размерам! И сколько же всего видела белорусская земля!

В сорок шестом послевоенном
явился я на белый свет... *

Нет, это не просто год рождения, не сухая биографическая справка. Начало жизни поэта...

* Здесь и далее переводы Вадима Кузнецова.

Трудно найти в молодой советской поэзии более драматический по своему складу талант, чем Владимир Некляев. Драматизм у него не привнесенный извне, не вымышленный на почве эгоистических амбиций в выявлении несовершенств мира, а идущий от жизни, от ее коллизий, где сталкиваются людское добро и черствая неблагодарность, честность и кривда, память военных лет и поспешная забывчивость. Напряженный в стихе, Некляев и в творческом поведении импульсивный, какой-то неуспокоенный:

Ведаю горькую веду:
вырублю памяти сад —
и поплыву, и поеду,
и не покличут назад.
И на луга Беларуси
той нареченной порой
только травою вернуся,
темной печальной травой.

Гражданственность в стихах Владимира Некляева проявляется в сопричастности судьбе народной, в понимании ее глубинного смысла, ее здравого опыта. И в то же время белорусский поэт не признает дидактики; гуманизм у него конкретен, а не абстрактен, народный по своим основам. Воспевая милую Белоруссию, поэт не замыкается на одной лишь теме. Потому-то он так открыто устремлен ко всему, что происходит в стране, будь то строительство БАМа или же открытие нефти. Кстати, первое стихотворение Некляева, с которым он пришел в журнал «Полымя», являлось непосредственным откликом на выдающуюся победу бурильщиков республики:

Когда, зашипев недобро,
блеском слепя глаза,
нефть, будто черная кобра,
вскинулась в небеса,
было двенадцать с четвертью...

По сути дела, Владимир Некляев написал лирический репортаж, созданный по канонам этого жанра, с мускулистой сжатостью, несдержанной эмоциональностью, отрывистыми, точными деталями, передающими целое. Позднее в «бамовской» поэме «Дорога дорог» автор устами бригадира Сомова сформулирует свое понимание поэтической публицистики:

Пусть слог как из газет,
ты доверяйся слову.
Ищи, раз ты поэт,
за фактами основу.
Не выйдет — вновь начни
рубить свою породу.
Но помни — трепотни
мы не прощаем сроду.

Было бы неверным утверждать, что в основе поэзии Некляева лежит этот самый «слог из газет». Стилистический диапазон его стихов достаточно широк. Он понимает, что на одной интонации, пусть интересной и новой, далеко не уедешь. Как и родная зем-

ля, душа ее жителей, поэзия Владимира Некляева добра и мягка, отзывчива и трогательна. Рядом с «рубленой» строкой неожиданно отзовется фольклорная флейта:

Что за грустные песни
рождаешь ты, Белая Русь!
Как щемящая боль,
они в сердце моем прорастают.
«Ой, летел белый гусь...»
А куда он летел, белый гусь,
если в небе твоем
только серые гуси летают?

В. Некляев немало повидал, жил в Сибири, изъездил вдоль и поперек Белоруссию с командировочным удостоверением телевидения, где работал редактором, закончил техникум связи и филологический факультет Минского пединститута. Сейчас он заочно учится в Литературном институте имени А. М. Горького.

Опыт своей молодой жизни он вложил в большое эпико-лирическое полотно — поэму «Дорога дорог». Здесь сфокусирован его гражданский опыт, впечатления детских лет, взрослая жизненная закалка. Поэтому поэма читается на одном дыхании, написана она свободно, на большом душевном подъеме.

Не случайно первая строка поэмы Владимира Некляева звучит так: «Мой БАМ начинался в музее...»

Музей этот —
противмузейный:
он против угасших идей,
он против бесплодных мечтаний,
задутых, как свечка, дерзаний,
развенчанных жизнью людей.

Лирико-романтическое вступление к поэме спорит со всем косным, застывшим в жизни. Оно и против утилитарной меркантильности, этого псевдосовременного подхода к современной жизни, против оценки героизма строителей по графе выдачи им зарплаты. Поэма открывается, будто широкое окно, навстречу свежему ветру дорог, «навстречу сосновым иголкам», распахивается сразу и во всю свою глубину.

«Во имя правды» автор начинает свое повествование издалека, с 1943 года, когда на трассе Тында — Бам разбирались рельсы для рокадной дороги к Сталинграду:

Хрипи. Терпи. Надейся.
И все ж — такой загад —
срывай стальные рельсы,
чтоб выжил Сталинград.

Такая преемственность, которая с первых же строк, с первых картин выявляется сначала в музее, а затем и в жизни, подчеркивает связь трудовых комсомольских поколений.

Сталинград становится своеобразной точкой отсчета этого невиданного в истории нашего века героизма. И не только для белорусского поэта. Его поэты-ровесники стремятся в прошедшем

найти метафоры-символы, чтобы по-новому, достойно и свежо сказать о военном времени.

Нечеловеческое напряжение, отдача всего себя для Победы — таким видятся Владимиру Некляеву те далекие от нас годы:

И не было на БАМе
ни кривды, ни мозгли,
когда из шпал
зубами
тащили костыли.

Нет, не тихими картинами прерывается рассказ поэта о строительстве рокадной дороги. Ему самому нужно время, чтобы осмыслить то, что было, сделать необходимую остановку, паузу, переменить интонацию. И неожиданно приходят, будто из глубины веков, летописные, сказочные сравнения, легко и естественно ложащиеся в ткань стиха. Они здесь необходимы — и такой поворот, придающий поэме большую эпическую глубину, Владимир Некляев хорошо уловил:

Отчизна!
Лес да поле...
Не оторвать мне глаз.
Высока наша доля,
а с песней — во сто раз.

Сочетание коренных славянских мотивов с современными переживаниями, с описанием наших будней — интересная особенность поэзии белорусского автора. Протяжные народные плачи, фольклорные образы, речь Полесья — все читается естественно и не оставляет впечатления стилизации.

Поэма развивается дальше. Вот уже на горизонте поднимаются таежные просторы, встают первые мосты и «бежит, бежит за нами трасса века, как река». Автор дает портреты строителей: начштаба комсомольского ЦК, прораба Насти, шофера Лешки Жерносека. Язык его скуп, он пишет одним-двумя штрихами. Вот начштаба — «дух не слабый, не сломаешь пальчиком, пережил уже начштаба четырех начальников». По вечерам у него собираются друзья, «вздыхает и поет» баян:

Говори — перебивай
гул многоголосый.
Говори — перебирай
Золотые косы.
Каб рука к руке,
как ручей к речушке,
каб щека к щеке —
голова к подушке...

Поэт уверенно перебирает ритмы, свободно ведя повествование. Такая внутренняя свобода поэтического языка напоминает высокие для нас образцы поэтики Александра Твардовского, которая, кстати, рождалась изначально на стыке славянских культур — русской и белорусской.

Умело пользуется Владимир Некляев приемом недосказанности — где нужно, оборвет повествование, где требуется, поставит

отточие, позволяя своим читателям поразмыслить, подумать. Таков его стиль. Он характерен и для всей его поэзии. Это тоже в русле народной поэтики, которая всегда целомудренно подводила к главному, не морализируя и не делая акцентов на очевидном.

На БАМе поэт встречается и со своими земляками — с прибиральщицей Гапной Свиридовной, пожилой женщиной, которая ему рассказывает историю о комиссаре Миколе Буселе. Документальный сюжет, легший в основу поэмы, тем и интересен, что не ждешь от него досужей выдумки — вся история как на ладони, хочешь — спорь, хочешь — не верь, но так было, так есть. Даже нежданный кит, совсем уж сказочный персонаж, «выплывший» из якутской легенды, воспринимается вполне реально. Он символ разбуженной тайги:

Долго-долго лежал он, окутан
ледяной замшелой землей.
Подходили к нему якуты,
удивлялись ему: о-ой-ой!

В поэме всего хватает — и смеха, и слез, и радостей, и бед... Почему же она, в общем-то, небольшое по размерам произведение, звучит так ново, так свежо? Ведь о громадных стройках написана не одна, не две крупные эпические вещи? В одной из них, памятной еще, рассказывающей о строительстве Братской ГЭС, общий замысел не выдержал тяжести надуманных построений и символов (старое — новое, египетская пирамида — Братская ГЭС). В другой, о БАМе, живые детали и поэтические находки «потонули» в многословности автора, в прозаичности его слога.

Владимир Некляев пошел по верному пути — вся поэма строится как дневник нашего современника, где автор лишь направляет действие, не вмешивается в него. Звучит вроде бы странно, но именно так и есть: поэт, чувствуя свою сопричастность всему, что происходит в жизни, дает ей право высказать себя, по слову Твардовского, «до дна, до самого донышка». Его взгляд выхватывает из миллионной массы строителей самые типические судьбы, он показывает стройку как всенародное дело. Так же — общим почином — все шли на восстановление порушенного войной хозяйства, так же — единой волей — поднимали из пепелищ города и села. Поэт стремится воссоздать предысторию народного подвига, которая и тогда и сегодня укрепляет сознательную волю людей. Имея такую задачу, просматривающуюся на всем протяжении поэмы, автор не отвлекается на посторонние русла сюжета, калейдоскоп событий не мельтешит перед глазами, герои западают в нашу память. И кроме того, сам ритм «Дороги дорог» ощутимо передает движение, время скорости, время ускоренного развития.

Поэма закончена, но БАМстрой продолжается, и потому Владимир Некляев «вместо даты и места написания» ставит отточие:

Строка последнего листа...
Отсчет годов — не от Христа,
от духа Человека:
под шпалами
дороги века
шестидесятая верста.

Новые дороги уводят поэта в даль поэзии. В его стихах то мелькнет грузинское селение Цхива, «лозой виноградной увитое», то послышится нежная мелодия скрипки среди мадьярских равнин, то раскроются во всю свою ширь среднерусские перелески... И тем тоскливее разрывается сердце при воспоминаниях о родном «чебрецовом крае». Даже на БАМе поэт успевает ненароком вздохнуть: «Так далеко до Беларуси, что и гуси не долетят...»

Когда что-нибудь любишь всей душой, то и слова находятся новые, незаемные. Лирика Владимира Некляева, его вторая поэма «Справка о рождении» написана по-настоящему зрело. Кажется, сама родная земля высказывается о себе этими стихами:

Ой, гуляла стужа в поле,
гукала, свистела...
Вечерело.
Тетка Поля
песню нам запела, —

и дальше перед нами развертывается история вдовьей судьбы, каких в Белоруссии не счесть.

Песней звучит и повествование о странной жизни соседки Кулины, которую мальчишки дразнили за убогость. Тогда-то Кулина и бросила ребятне в глаза: «Отплачется все и отплатится».

Когда это было?
Промчались года,
как зори растаяли росные...
Не ведает жалости детство, когда
не знают сочувствия взрослые.

Возвращаясь домой, автор всякий раз «сгибает спину» перед соседкой, вспоминая проказы детских лет.

Совестливый взгляд поэта, чувство вины и жалости к землякам придают поэзии Владимира Некляева нравственную достоверность, где не может быть читательского суда над героями, — он, этот суд, уже свершился в душе автора. Вот дед Ясь колотит домовину для своей старухи, которая померла «лишь вчера». Колотит, думая про себя, что надо успеть снять к осени помидоры и выкопать подоспевшую картошку. Что это? Полное безразличие или старческий эгоизм? Ни то и ни другое. Просто жизнь человека, немало потрудившегося на своем веку, немало пережившего вместе со своей «бабкой Дорой». Он, еще не осознавая всей тяжести утраты, думает по-будничному, отгоняя от себя саму мысль о смерти жены, без которой и сам, наверное, недолго проживет. Психологически тонко, с полным проникновением в народный характер пишет Владимир Некляев:

«Ну что ты, старая,
жила бы пока...»
Дрожит, замирая,
рука старика.
Вздохнув,
на минутку
он сядет на плот —
скрутить самокрутку
да вытереть пот.

Народные образы дополняет и отец поэта, вернувшийся с войны, но все эти годы хранящий «свинца расплющенный осколок», который фронтовые хирурги достали у него прямо из-под сердца в сорок третьем году.

Драматическая поэма «Справка о рождении», действие которой разворачивается в послевоенной Белоруссии, написана в присущей Некляеву лаконичной, строгой манере. Сюжет поэмы трагичен: борьба с послевоенным бандитизмом, когда по лесам еще сидели бежавшие от гнева народного власовцы, изменники Родины, гитлеровские приспешники. Пойман один из таких «лесных братьев» — матерый бандит Игнат Кобенок. Свидетели подтверждают— он! Лишь один седой Стапуль вроде бы сомневается. На людях отрицает, что, мол, не Кобенок это. Хотя уж кому-кому, а Стапулю-то он доподлинно известен: на его глазах банда Кобенка повесила троих сыновей с невестками. И все-таки отрицает: «Не он. Ошибка».

К тому времени подоспели крестины «кровного сына Некляева Прокопа, Стаси Магер малого дитя». В сельсовет вместе с ребенком и крестным отправляется и дед Стапуль. Там-то он опять встречается лоб в лоб с арестованным Кобенком. Далее цитирую по рассказу крестного:

Председатель черный — даже очи
угольками цвиркают на свет:
«Узнаешь подлюгу? Ты же местный».
Я ему: «Так человек изьестный».
А Стапуль как есть уперся:
«Нет!»

Причину такой странной забывчивости объясняет сам дед: «Признаю все сущее на свете. Лишь в зверье людей не признаю». И с этими словами, хватая заранее припасенный топор, бросается на Кобенка. Председатель встает между ними с пистолетом: не трожь! Кобенок же не теряет времени даром — выбивает у него оружие и стреляет в плачущее дитя, которого в последнее мгновение закрывает своим телом председатель. И тогда «Стапуль Кобенка с размаху...»

Кто прав? Кто виноват? До наших дней сохранилась лишь справка о рождении, которую нашли во френче председателя, — с дырочкой от бандитской пули.

Народная трагедия заканчивается словом автора:

...Я однажды встану среди ночи —
горькой, перекрученной, сорочьей.
Правде Стапулевой гляну в очи,
зерна от плевел отъединя,
и пойму:
пока я не в отставке,
Кобенок сквозь дырочку на справке
целится и целится в меня.

Если бы выдавалась другая справка — справка о творческой зрелости, то Владимир Некляев заслужил бы ее давно. Подтверждением тому — его поэмы и стихи. Они, верится, с каждым годом зазвучат все сильнее и громче, ибо в них с большой граждан-

ственной и художественной силой выражается мировосприятие нашего молодого современника, родившегося после войны, строящего БАМ, открывающего белорусскую нефть, помнящего свои корни и свою историю, серьезного и честного патриота социалистической Родины.

...Продолжением моих заметок о поэзии Владимира Некляева стала наша встреча в Москве на одном поэтическом вечере. По словам председательствовавшего, этот вечер широко представил новое поэтическое поколение, рожденное в послевоенные годы. С этого события и начался наш разговор с Владимиром Некляевым.

В. Н. «Поколение», конечно, было сказано весьма условно. Можно назвать и новой генерацией. Суть не в терминологических тонкостях, а в том неоспоримом факте, что начало 80-х годов дало нашей литературе и широкому кругу читателей новые имена. Впрочем, в большинстве своем они уже известны — одни как авторы первых книг, другие как авторы первых подборок, а третьи — по одному-двум стихотворениям. Хорошим, разумеется.

Поэтому можно говорить о самом времени, в которое выступают молодые поэты. Само время требует настоящего искусства. Это мое убеждение. Читают поэзию или не читают — она создается, пишется, слагается. В ней сейчас нет шума, гама. Стихи стали просто стихами. Чувствует это и читатель, который стал по-настоящему разборчивым. Поэзия сегодня стала лакмусовой бумажкой литературы — интереса нет не к ней, а к плохим стихам. Вот и посудите: плохо это или хорошо?

В. Д. В разных литературах в наши дни работает немало интересных молодых поэтов. По ним-то как раз мы и можем судить о состоянии дел в молодой советской поэзии. Есть они, наверное, и в Белоруссии?

В. Н. Прежде всего Алесь Рязанов, очень талантливый человек. Но он, мне кажется, в чем-то подменяет поэзию философией. Ведь это разные вещи, когда мы говорим: поэзия философии и философская поэзия. Леонид Мартынов все-таки начинал с искусства. Скажу еще о Евгении Янищиц. Она идет от белорусского фольклора, от народно-поэтического начала, сама, кстати, поет — и хорошо — народные песни.

В. Д. В антологии, выпущенной сравнительно недавно, «Молодые поэты Белоруссии» Евгения Янищиц представляет свою ровесницу Галину Коржаневскую, по-моему, тоже интересную поэтессу. В этом же сборнике впервые широко представлены и переводы на русский язык ваших стихов. Вместе с двумя поэмами в журналах «Огонек» и «Смена» они, мне кажется, дают хорошее впечатление о вас как о поэте. Но мне интересны подробности вашей биографии. О ней я знаю в основном со слов Рыгора Бородулина.

В. Н. Я поздно стал писать стихи. Школьные не в счет, их все пишут. Время, в которое мы начали взрослеть, было особым. Как много для подростков значил полет в космос Юрия Гагарина!.. Техника, скорости, машины... И для себя я выбрал, как мне казалось, настоящее дело — поступил в техникум связи и, закончив его, уехал в Сибирь. Там у меня сразу как-то изменился масштаб и расстояний, и мыслей, и отношения к людям. Хотелось

общения — и навстречу мне шли друзья. Надо было куда-то съездить — летел на самолете. Нет в сибиряках замкнутости, стремления отгородиться. Живут они крупно. В Сибири я стал себя немного понимать, вел дневники, начал писать стихи. Нет, не о сибирских впечатлениях. Поэзия — это и память детства. Вскоре поступил в Литературный институт. Писал я тогда по-русски. На семинарах меня хвалили, хотя как я работал?.. Кряду писал по десять стихотворений — для отметки, для галочки. Все бы это продолжалось и дальше, если бы не Семен Кирсанов. Посмотрел он мои стихи и сказал, что все это, мол, неплохо, да написано не на русском языке: чувствуется хорошая лексика, но без способа мышления. Родной язык — это тот язык, на котором видишь сны, на котором тебе рассказывали сказки.

В. Д. Проблема двуязычия действительно сложная и серьезная. В наше время в национальных литературах все больше появляется поэтов, которые свободно владеют двумя языками. У тех, кто пишет по-русски, иной раз чувствуется отсутствие глубины слова.

В. Н. В каждом человеке есть пассивный запас слов родного языка. До поры до времени он, что называется, безмолвствует. Запас этот — необъятный океан. Народ из этого запаса иной раз выудит такое словечко, что диву даешься, где такой клад откопали. В пассивном запасе — языковая бездна. В Киргизии, рассказывают, раньше были сотни названий, вернее, понятий одного слова «конь»: и по масти, и по крупу, и по зубам, и по возрасту... — словом, всех не перечислишь. И что же? В современном разговорном языке остались лишь некоторые. Но уверен, что в глубине языкового запаса все эти понятия хранятся. Без этого трудно писать, особенно поэту.

В. Д. Да, прошлое уходит, унося многое из прежней жизни. Может, потому-то в молодой поэзии так обостренно развита тяга к фольклору, к первоосновам.

В. Н. Да, это одна из причин.

В. Д. Кроме того, в молодых литературах на глазах одного поколения уходит в прошлое многовековая традиция устно-поэтического творчества. Следующим поколениям придется ее восстанавливать через письменные источники.

В. Н. Крупные национальные поэты всегда были «творителями», если так можно сказать, и разговорного и литературного языка. В белорусской литературе это, конечно, Якуб Колас и Янка Купала. Они прекрасно знали и чувствовали язык, исполненный неповторимой экспрессии, до них не совсем разработанный в поэзии. Таким сотворчеством в нашей современной литературе занимается Рыгор Бородулин. Он «язычник» по корневым, словесным истокам. Мне по душе естественная поэзия. Она нова, если захватывает новый пласт народной жизни, а значит, и языка. В русской литературе — Твардовский, у нас — Аркадий Кулешов. Никогда они не казались мне «не теми» поэтами. Возьмите лучшие стихотворения Кулешова, его поэму «Знамя бригады»... Мы забыли со своими протуберанцами, звездной пылью и другими атрибутами вполне атомного века, что можно писать такие стихи:

Идти устали маленькие ноги,
Но он послушно продолжает путь.
Еще вчера хотелось близ дороги

Ему в ромашках полевых уснуть.
И мать несла его, теряя силы,
В пути минуты длились, словно дни,
Все время сыну непонятно было,
Зачем свой дом покинули они.
Что значат взрывы, плач, дорога эта?
И чем он хуже остальных ребят,
Что на траве зеленой у кювета,
Раскинув руки, рядом с мамой спят?
Как тяжело выслушивать вопросы.
Могла ли малышу ответить мать,
Что этим детям, спящим у березы,
Что этим мамам никогда не встать?
Но сын вопросы задавал упрямо,
И кто-то объяснил ему в пути,
Что это спали неживые мамы,
От бомбы не успевшие уйти.
И он задумался под лязг машин железных,
Как будто горе взрослых понял вдруг, —
В его глазах, недавно безмятежных,
Уже блуждал осознанный испуг.
Так детство кончилось.
Он прежним больше не был.
Он шел и шел. И чтобы мать спасти,
Следил ревниво за июньским небом
Малыш, седой от пыли, лет шести.

В. Д. Сильные стихи!.. У лучших молодых поэтов всегда есть преемственность с поэтами старших поколений. Петр Кошель не случайно посвящает стихи Владимиру Соколову. Или настоящая творческая дружба Николая Старшинова с его молодым тезкой Николаем Дмитриевым... Критика, занимающаяся поэзией, обычно вскользь пишет об этом. А зря. Ибо это преемственная связь не только со своими учителями, но и со временем. Почему, спросим, в критических статьях раньше, да и по сей день сталкиваются поэты разных поколений? Почему бы не предположить иное: та же современная русская лирическая поэзия получила свое новое развитие после выхода этапных для нашей советской поэзии сборников «Из лирики этих лет» Твардовского и «День России» Смелякова, развивая близкие этим поэтам темы. Замечаю, что и у вас (это не сравнение) чувствуется такое же влияние ваших учителей. Я писал о близости к Твардовскому, теперь добавлю — и к Аркадию Кулешову. Хорошо, что вы их сразу назвали. Тогда легче предположить, что они имеют прямую связь с вашими поэмами «Дорога дорог» и «Справка о рождении». Не так ли?

В. Н. Действительно, в поэме «За далью — даль» эпически раскрыто время. И здесь поездка по Транссибирской магистрали, мне кажется, явилась лишь толчком, сюжетной канвой, не более. Природа искусства такова, что самая трудная тема — современная. Нет между поэтом и временем зазора, не на что обернуться. Если не удается у кого-то произведение на историческую тему, то здесь нельзя прощать, ведь у автора было все под рукой — и документы, и осмысление эпохи, и свидетельства очевидцев... А с современностью всегда риск. Литература о современности — высший пилотаж.

В. Д. Гражданственность и историческая память неотделимы друг от друга. В вашей поэзии это чувствуется, мне кажется, обостреннее всего. Есть в вашей поэзии высокое государственное начало. Звучит громко, но это так. И еще замечу попутно: вы выбираете фактическую основу стиха очень осторожно, отсеивая второстепенное. Факт в ваших стихах всегда интересен.

В. Н. Я иду не за бытовизмом, а за фактом, который всегда домысливаю. Мне, к примеру, рассказывают, а я потом пересказываю в своих вещах, то есть сочиняю. Важна та грань правдивости, которая убеждает. Поэтому не люблю дидактики, разжевывания в поэзии. Даже в минимальных количествах они убивают стих...

В. Д. Вообще надо сказать, что наша молодая поэзия имеет тягу к иносказанию, к притче. Стихи становятся поэтичнее. Не хватает подчас какой-то раскованности, легкой поступи и тогда...

В. Н. Отсутствие культурного слоя, глубокого, подлинного, — явный недостаток нашей молодой поэзии. Нужно не только красиво страдать, но и ясно мыслить.

В. Д. О том же, подтверждаю, думают и поэты многих национальностей нашей страны. Им есть что сказать, они знают, как сказать и о чем. Это главное. Беседовать с вами — говорить с ними, ибо нас волнуют те же проблемы, те же вопросы. Их-то нам и предстоит всю жизнь разрешать, над ними-то нам и надо думать. «Положись, Отчизна, на нас...» — это ваша строка, но сказана она от лица многих.

...Выступая на VII съезде писателей СССР, Георгий Марков справедливо подчеркнул: «Литературным журналам и газетам, издательствам от регистрации факта снижения гражданственности лирики — это мы слышим не первый год — необходимо перейти к действенной поддержке той гражданской лирики, которая сегодня крайне нужна обществу. Такая лирика, конечно, есть у нас и сейчас. Но от отдельных удач отдельных поэтов необходимо перейти к общему подъему лирической поэзии, проникнутой активным гражданским пафосом, откликающейся на все события и явления современной жизни, страстно и убежденно несущей людям правду нашего века».

Поэзия молодого белорусского поэта Владимира Некляева как раз и служит таким многообещающим примером сочетания высоких гражданственных устремлений с лирико-эпической первоосновой стиха. Ее пафос лучше всего определяют стихи самого автора:

Движенье ввысь — не просто бег.
Оно — всесущего основа.
Как в теле дух,
восходит век
к движенью мысли,
сердца,
слова.

Движение не за абстрактными истинами, не на эстетскую башню, а к правде народной, к своему времени...

●

НАШЕ ОБОЗРЕНИЕ

КРАХ ПУСТОЙ ДУШИ

Некоторые люди из боязни остаться наедине с собой готовы чем угодно заполнить душевный вакуум. Но каким образом возникает подобная пустота в душе, которая внешне никак не проявляется и которая в шуме города, в постоянном мелькании житейских мелочей может даже выглядеть респектабельной, импозантной?

Трудно быть категоричным в утверждении, что именно этот вопрос волновал Петра Проскурина в тот момент, когда возникла у него идея новой повести «Черные птицы». Но одно не вызывает сомнений: писатель стремился в образе ее главного героя — композитора Александра Евгеньевича Воробьева — поставить социально-нравственный диагноз болезни, суть которой выявляется в замене подлинного искусства эрзац-искусством. Истинный талант в таком случае оказывается подмененным способностью паразитировать на духовном богатстве, рожденном реальной действительностью. Это паразитирование подкреплено умением пристраивать свои поделки, выдавая их за «дело» жизни, и создавать благополучие, воспринимаемое мнением непросвещенных окружающих как само собой разумеющееся.

Да, таков он, Александр Евгеньевич, достигший и материального достатка, и общественного положения, и композиторской славы. Казалось бы, человек, взявший даже сверх меры у жизни, залезший в неоплатный и вместе с тем безвозмездный долг к искусству, должен быть безмерно счастлив. Но, оказывается, не все так просто, как видится стороннему взгляду. Это знает не только и, может, даже не столько Александр Евгеньевич, сколько писатель, презирающий в герое мелочное, купленное тщеславием, обидой и завистью положение в обществе, и вместе

Петр Проскурин. Черные птицы. Повесть. — «Огонек», № 11—16, 1981.

с тем сострадающий по загубленной, опустошенной душе человека. Вот откуда горечь этих слов об отсутствии счастья у внешне счастливого Воробьева: «Ради чего стоило родиться и жить, так и не пришло...»

Можно, конечно, усматривать в словах о том, что для него «вершиной», которая «недоступна и манит», действительно является музыка погибшего на фронте товарища юности Глеба Шубникова. Но это неправда. Петр Проскурин знает, что слова Воробьева о «вершине» есть не что иное, как та самая «теория» самооправдания, какую люди слабые охотно подводят под свои вредные привычки или же под внутренне осознанную, но пугающую обнаруженной пустотой несостоятельность в выборе жизненного пути. К такому разряду принадлежит и Воробьев в повести «Черные птицы».

Да он никогда не был и не мог быть композитором в том высоком понимании творчества, какое было знакомо Глебу Шубникову. Возможность «покорения» ее, шубниковской, «вершины» диктовалась всего лишь «долгом» обиженного и обойденного другим неудачника: Глеб был не только самобытно талантлив, но и любим той, кого безответно любил Воробьев. И тогда-то он поклялся доказать им, двоим, что зря они поторопились записать его и в музыке, и в живописи в разряд «третьих лишних». Причем писатель тонко чувствует психологические перепады в душе неудачника, выражающиеся, как правило, не в жалости к себе, не в желании вызвать в тех, кто ненароком обидел его, чувства сострадания, печали, а в агрессивности: пусть все погибнет, а он покажет им, кого они не признали, не оценили, отвергли.

В ту самую декабрьскую ночь 1941 года Александр Евгеньевич, тогда еще Саня Воробьев, ставший невольным свидетелем музыкального прощания Глеба с любимой, клянется доказать свое грядущее величие: «Пускай для этого понадобилось бы взорвать земной шар». И звучала эта «клятва» кощунственно, предвосхищая крах души, потому что земной шар в полном смысле слова был осквернен дикарями XX века — фашистами.

Отныне вся последующая жизнь Воробьева подчинена невыполнимому — стремлению создать ту божественную, великую музыку, которая не просто останется в памяти потомков, но и сделает имя ее создателя бессмертным. На изобретение этого «вечного двигателя» шла бесплодная трата всех сил души, опустошившейся до того, что толкает наконец Воробьева на свершение не просто безнравственного, бесчеловечного поступка. Не успела уйти из жизни вдова Глеба, Тамара Иннокентьевна, как он крадет листок с записью той самой гениальной музыки, прозвучавшей в квартире Глеба в декабре 1941-го.

Происшедшее почти сорок лет спустя в доме, где не остывала память о Глебе и где угасла жизнь Тамары Иннокентьевны, отнюдь не сюжетный ход, не новый вариант окончательного разоблачения Воробьева. Писателю понадобилось это отягчающее обстоятельство совсем не для того, чтобы «осмеять» Воробьева, считающего, что, выкрав ноты, он якобы стал об-

ладателем самой души великого искусства. Хотя, может быть, и эту цель преследовал художник, понимая, что такое осмеяние есть самое жестокое и справедливое проявление жалости к ремесленнику от искусства, вообразившему себя гением.

И все же думается, что Петру Проскурину это обстоятельство понадобилось, чтобы столкновение жалкого и великого высветило главную идею произведения: подлинный талант в силу своей человечности предельно полно выявляет себя во всем, с чем связывает его жизнь. Ему всегда надо быть там, где происходит нечто грандиозное, ему непременно нужно если не первому, то одному из первых испытать то, что выпадает на долю современников. Ему равно чужды психология «премудрого пескаря» и мания самолюбования и самообольщения. Вот почему Глеб Шубников, как и тысячи других истинно одаренных людей страны, в час, когда их Родине грозила смертельная опасность, разделил судьбу сражающегося народа, отдав свою жизнь за музыку мирного неба, леса, поля, которая не «звучит» для пустой души.

Далекая, неведомая нам смерть солдата Родины Глеба Шубникова, прервавшая песнь его любящего сердца, о чем лишь информирует писатель, отнюдь не остается информацией в повести. Она, с одной стороны, как бы изнутри разоблачает смысл всей «творческой» деятельности воробьевых, с другой — дает возможность подчеркнуть, что гибель мужа забрала у Тамары Иннокентьевны самое дорогое в мире. Отсюда берет начало новая идея повести — страстная защита жизни и мира на Земле: всем существом художника и гражданина писатель выступает против войны, приносящей наряду с неисчислимыми человеческими жертвами и чудовищными разрушениями еще и невосполнимые духовные потери. Так в небольшой по размерам повести обнаруживает себя природа таланта самого писателя: эпичность восприятия и воспроизведения жизни. Она органично соединяет повесть «Черные птицы» с романами П. Проскурина «Горькие травы», «Исход», «Камень сердолик», «Судьба» и «Имя твое».

Никогда ранее Петр Проскурин не уделял такого пристального внимания проблеме несовместимости настоящего таланта и поддельного под него эпигонства, хотя эта проблема отнюдь не была чужда писателю в более ранних произведениях.

Естественно, это повлекло и определенную переакцентировку в творческом мире художника. Прежнее равновесие объективного, «вещного» в нем и во внутренней жизни человека, каким были отмечены предыдущие повести и романы, в «Черных птицах» оказалось нарушенным в пользу психологического анализа сложного и мучительного процесса перерождения души, ее опустения и краха. Больше того, сама материальность той действительности, в которой пребывают герои повести, оказывается очень зыбкой, калейдоскопом различных видений, воспоминаний, монологов, в которых и само время как бы опрокинуто вспять. Таким оно постоянно предстает в сознании подводящей

итоги Тамары Иннокентьевны и в заклинаниях агрессивного в своей идефикс Воробьева. Все это воспроизведено писателем психологически точно, без всякого нажима.

Символичен и финал произведения, когда безумный старик, причитающий: «Вспомню, все запишу... сам!», растворяется в метельном хаосе, словно и не было его, словно он привиделся, как наваждение. Исчезнув, он оставил после себя лишь горечь за глухоту его пустой души к той музыке жизни, которую рождают души сильные, влюбленные в людей, в природу, во все то, что мы называем словом «Родина».

Бор. ЛЕОНОВ

ПОЗИЦИЯ КРИТИКА

Современная книжно-журнальная обстановка, характеризуемая устойчивым чувством читательского голода, когда практически любая литературная новинка, что называется, без разгляду, с ходу «заглатывается» читателем, не может не отражаться на своеобразии тактических задач литературной критики. Беспокоит, что ажиотаж вокруг литературы как предмета потребления не позволяет многим с должным критическим чувством воспринять идейно-художественное содержание произведения, потворствует эстетической и нравственной всеядности. Между прочим, и иные писатели в оценке своего труда порой стали руководствоваться не печатными суждениями профессионалов, расценивая их как естественный и надоедливый атрибут соперничества, но раскупаемостью книги, так называемым читательским спросом, который сегодня почти на любое художественное издание значительно превышает торговое предложение и, к сожалению, порой не соответствует истинной идейно-художественной ценности произведения.

В этой ситуации угадываешь подоплеку многих современных статей, даже целых дискуссий и книг, которые вдруг стали посвящаться вопросу, казалось бы, и обсуждению-то не подлежащему, если ты взялся за профессиональное перо и, предполагается, уже этим самым доказал собственное понимание цели и предмета литературной критики. Здесь, кроме естественного стремления теоретически углубить понимание вопроса, нельзя не видеть определенную неудовлетворенность критиков результатами своей деятельности, имея в виду практическое влияние на литературный процесс, формирование общественного мнения. Думается, в частности, этим можно объяснить то, что некоторые прежде активно заявлявшие себя критики перемещают центр своих творческих интересов в литературо-

---

Всеволод Сахаров. Обновляющийся мир. Заметки о текущей литературе. М., «Современник», 1980.

ведение и беллетристику, перестают выступать с острыми полемическими статьями

Все чаще стало возникать двойственное чувство, когда берешь в руки только что вышедшую книгу литературного критика, посвященную современности. Прежде всего, конечно, радуешься, что твоему товарищу по цеху удалось собрать и издать свои работы, не просто объединив их книжной обложкой, но обстоятельно заявив собственную общественную и художественную позицию. Но, с другой стороны, замечая, что не все из наиболее характерных и значительных его работ вошли в книгу, что уже какое-то продолжительное время не встречаешь его по-настоящему боевых выступлений в периодике, поневоле начинаешь задумываться: а не является ли этот сборник литературно-критических статей последним «избранным» в творческой биографии автора, своеобразным прощанием с жанром?..

Вс. Сахаров начинал задиристо, остро, что, впрочем, почти всеми извинялось, поскольку перехлесты списывались на молодость. Как бы то ни было, но и имя Вс. Сахарова прочно утвердилось в ряду критиков, от которых читатель постоянно ждал и, видимо, продолжает ждать выступлений сколь аналитичных и принципиальных, столь и обязательно острых. В книге «Обновляющийся мир» хотя и собрано, естественно, не все из написанного и опубликованного в периодике (рождение критической книги подчинено своим законам и принципам), также присутствуют материалы, напоминающие о бойцовском характере автора.

В слове «От автора» он уместно цитирует П. Палиевского, который поддержал данную характерность литературной полемики: «В резком нападении на него любой предмет только испытывается. Либо разрушается, освобождая дорогу другим, либо мобилизуется, сосредоточивает свои силы, приводит их во взаимодействие и выдвигает что-то новое; наконец, раскрывает себя. Теории, то есть обобщенному знанию, этот момент просто выгоден, тем более что в искусстве он никак не выливается во взаимоистребление, даже если участвующие стороны этого хотят. Все ценности, очистившись, остаются, и эстетически ничего из них не погибает, только укрепляется». С этим положением, кстати, никто не отважится спорить, но когда дело касается практики, то радетели спокойствия быстро спохватываются, сразу понимая, что эдак и до них могут добраться, и потому начатый разговор о принципах ими легко подменяется демагогическими рассуждениями о приличиях... Впрочем, что касается приличий, то в статьях, составивших книгу, Вс. Сахаров корректен, даже если его ирония становится предельно едкой, обращаясь не к случайностям, но к сути позиции оппонента.

Книга «Обновляющийся мир» состоит из трех частей, к каждой из которых автор предпосылает своеобразное введение. Проблемы современной литературной критики раскрываются в главах, помещенных в первом разделе, далее речь идет о прозе 70-х годов, о жанре рассказа, творчестве В. Шукшина, В. Солоухина, Ю. Нагибина.

В последнем разделе, названном «Литература среди других искусств», кроме обстоятельного портрета драматурга Александра Вампилова, публикуется проблемная статья об интерпретации литературной классики в кино и на театральной сцене.

Все проблемы и темы книги автор раскрывает на материале произведений 70-х годов, справедливо напоминая, что в русской литературе основным временны́м этапом развития всегда было десятилетие. Буквально на первой странице книги Вс. Сахаров утверждает: «Литературные портреты и проблемные разделы, собранные в настоящей книге, при всем их разнообразии скреплены единой точкой зрения на движение современной литературы, и сам выбор тем подчинен литературной концепции, выросшей из наблюдений над текущей словесностью».

Однако, пожалуй, не так-то легко в нескольких словах точно сформулировать, что́ же представляет собой эта авторская литературная концепция, выросшая из наблюдений над текущей словесностью. Собственно, мне кажется, ее еще и потому трудно определить несколькими словами, что, во-первых, эта концепция не только литературная, но и мировоззренческая, идейно-нравственная, а во-вторых, выросла она из наблюдений не только над текущей словесностью, но и над жизнью, над социальными и духовными проблемами нынешнего дня.

Чтобы принять данное уточнение, достаточно, например, прочитать главы, посвященные творчеству В. Шукшина, А. Вампилова, или главу «Преображение» классики». Четко, публицистически заостренно заявлены здесь автором идейно-нравственные критерии, которыми он руководствуется, анализируя художественные произведения.

Вместе с тем, если оценивать в целом работу Вс. Сахарова как критика, то надо признать, что значительное большинство конкретных положений его выступлений посвящено проблемам эстетического характера. Вс. Сахаров представляет ту часть нашей критики, для которой первопричиной разговора о социально-нравственной проблематике является анализ сугубо литературных проблем. Обратите внимание на оглавление книги Вс. Сахарова, хотя бы на такие наименования глав: «Пружины читательского интереса», «Тупики вторичности», «Школа прозы», «Мелодия прозы». Но и в других названиях трудно уловить отражение какой-либо внелитературной тематики. И не думаю, что это случайность.

Критика Вс. Сахарова — это критика действительно литературная, в этом ее привлекательность и сила. В каждой статье Вс. Сахарова легко заметить разнообразие эстетической аргументации, определенную тонкость литературного анализа, богатство литературных параллелей. Возможно, кто-то укажет на данные приметы как свойство некой академической манеры. Но, честно и самокритично говоря, сегодня в критике как раз не хватает такого вот «академизма», филологической культуры, широты историко-литературного контекста, в котором оценивается произведение.

«Академизм», филологические знания Вс. Сахарова углубляют, делают острее его критический взгляд. В главе «Преображение» классики» он ссылается на один из примеров современных театральных новаций, на то, что́ сделал с гоголевским «Ревизором» в Театре сатиры В. Н. Плучек, превратив одну из самых горьких российских пьес в легковесный водевиль, предмет комических импровизаций и забав на потребу невзыскательного зрителя. Вс. Сахаров и в собственных своих суждениях достаточно доказателен и определенен, но когда он, как бы итожа свои рассуждения, цитирует замечание критика Николая Надеждина после премьеры «Ревизора» в 1836 году: «Ошибаются те, которые думают, что эта комедия смешна, и только. Да, она смешна, так сказать, снаружи, но внутри это горе-гореваньице, лыком подпоясано, мочалами испутано», — то для широкого читателя становится предельно ясен творческий потолок современного режиссера, дешевизна иного новомодного экспериментаторства.

Но есть, к сожалению, и оборотная сторона этих достоинств. В качестве примера сошлюсь на главу «Тупики вторичности», где отразился подход к проблеме не критика, но академиста-исследователя, которому не свойственна пристрастная публицистическая точка зрения. Глава эта начинается с утверждения: «Спорам о литературщине присущ любопытный парадокс: слишком много истин в них рождается. И почти каждое мнение подтверждается материалом, фактами. Сама множественность точек зрения свидетельствует: не так проста литературщина». И заканчивается совсем уж эпически учено: «Словом, реакции на литературщину столь же сложны, как и она сама. Становится ясно, что никакие дискуссии эту тему не исчерпают, да и не могут исчерпать. Долго еще нам придется возвращаться к литературщине, пока мы не осознаем наконец всю многослойность и разветвленность этого любопытнейшего явления. Имеется история литературы. Но нет еще истории литературщины. Эта история должна быть написана».

Конечно, обидно, что у такого боевого критика «заметки на полях дискуссионных статей» (такой подзаголовок имеется у главы «Тупики вторичности») резюмируются столь скучным призывом. Некий научный объективизм не лучшим образом сказался и на самом ходе рассуждений автора.

Отойдя от определенности в оценке, ограничиваясь сугубо исследовательскими формулировками вроде: «Это мнение наблюдательного современника заслуживает внимания», «к этим продуманным словам стоит прислушаться, в них есть своя немалая правда», Вс. Сахаров не всегда верно ориентирует читателя. Ведь при всей хлесткости негативных суждений И. Бунина о Блоке и Куприне приведенные критиком цитаты столь же имеют право на существование, сколь и обязательно требуют дополнительных комментариев, так как они еще раз подтверждают, что эстетическая оценка не есть единственный итог критиче-

ского анализа, тем более когда речь идет о творчестве таких сложных и больших фигур, как Блок и Куприн.

Вс. Сахаров прав, считая, что «сознательность превращает литературщину в этическую проблему. Более того, здесь этика становится мерой эстетики», но никак нельзя полагать, что сознательность следования литературе как первоисточнику авторского пафоса в данном случае в полной мере может относиться и к Блоку и к Куприну. Здесь все-таки, думается, дело сложнее.

Книга критика как голос любого человека обладает своей интонацией, которой или доверяешь, или нет. Чтение работ Вс. Сахарова — это разговор с собеседником, в искренность которого веришь, несмотря на желание в чем-то с ним не согласиться, поспорить. У Вс. Сахарова уже сложился свой критический почерк или стиль. Кстати, данное обстоятельство порой существенно подчиняет себе даже жанровую специфику материала. Так, все монографические, портретные главы книги решительно выходят за рамки портретного очерка и несут на себе ощутимые приметы проблемной статьи.

Книга Вс. Сахарова «Обновляющийся мир» получила в 1981 году первую премию имени А. М. Горького на Всесоюзном конкурсе авторов первых книг. Эта награда не только оценка сделанного, но и залог дальнейших успехов талантливого автора.

Н. МАШОВЕЦ

ШТРИХИ СУДЬБЫ

Тот, кто интересуется историей русской классической литературы, обратит внимание на работы Владимира Енишерлова. Критик и литературовед, он часто выступает в печати со статьями и очерками о творчестве мастеров — Пушкина и Лермонтова, Достоевского и Некрасова...

Но главное место в исследовательской работе В. Енишерлова, безусловно, занимает Александр Блок. Жизни и творчеству одного из проникновеннейших певцов России, с именем которого связана целая эпоха в отечественной поэзии, критик посвятил книгу «Александр Блок. Штрихи судьбы».

Несмотря на обилие литературы, посвященной Блоку и его стихам, жизненный и творческий путь поэта изучен далеко не полностью, в его биографии немало «белых пятен», много неизвестного и даже загадочного. Особенно это относится к родословной поэта, ветви которой уходят в глубины средневековой Германии и Руси времен Ивана Грозного.

«Пытаясь проследить в глуби истории судьбы предков Александра Блока, мы поневоле задумываемся, где, в каких душах копилась та энергия, которая через по-

В. Енишерлов. Александр Блок. Штрихи судьбы. М., «Современник», 1980.

коления нашла выход в стихах великого поэта», — объясняет мотивы своих розысков исследователь.

Опираясь на обширные архивные материалы, В. Епишерлов обстоятельно прослеживает историю двух родов, освобождая ее от домыслов и легенд.

Особенно полно В. Епишерлов исследовал родословную семьи Бекетовых, в которой вырос поэт. Представители известной фамилии оставили заметный след в истории России — и в науке, и в культуре, и в искусстве. Взять хотя бы деда Блока, А. Н. Бекетова, ученого-ботаника и ректора Петербургского университета, который «у властей имел репутацию Робеспьера». Колоритна и фигура прадеда поэта, Г. С. Карелина, — известного ученого, путешественника и литератора, посвятившего жизнь исследованию Средней Азии и Сибири. Благодаря его жене, Александре Николаевне, до нас дошли неизвестные по другим источникам подробности декабрьского восстания 1825 года и рассказ об одном из самых активных его участников — Каховском. Установлено и родство Бекетовых с семейством Аксаковых. Трогательна и одновременно печальна история увлечения прославленного поэта-гусара Дениса Давыдова юной свояченицей Бекетовых. «Разные таланты, разные эпохи, разное восприятие жизни, но прочная нить связывает талант Блока и жизнь его предков, — пишет автор. — Для нас они интересны еще и тем, что символически связывают Александра Блока с литературной средой пушкинского времени...»

Исследователю повезло: он застал в живых героиню знаменитого блоковского цикла «Кармен» П. А. Дельмас, много лет общался с двоюродным братом поэта Ф. А. Кублицким. Эти и другие люди не только помнили живого Блока, но и сохранили для потомков вещи и документы, принадлежавшие ему. Некоторые из документов публикуются в книге впервые, другие ждут своего часа.

Используя отрывки из писем и дневников, свидетельства очевидцев, редкие фотографии и репродукции картин, В. Епишерлов набрасывает выразительную картину общественной и литературной жизни той поры, помогает воссоздать среду, которая взрастила великого поэта.

Но сколь ни разнообразен и интересен сам по себе биографический материал, он играет в книге подчиненную роль. Основное место в ней занимают главы, посвященные собственно творчеству Блока. «Начало пути», «Восхождение», «На волне революции»... Уже по названиям глав можно судить, о чем ведет речь автор. Обстоятельно прослеживает он путь поэта от первых юношеских стихотворений до бессмертных «Двенадцати». В. Епишерлов предпринял интересную попытку изучить прозу поэта — драматургию, статьи о театре и критические работы. До сих пор это обширное наследие поэта находилось как бы в тени его стихов. Критик же вполне аргументированно и убедительно доказывает его самостоятельную ценность. Именно в критических статьях и многочисленных рецензиях поэта отрази-

лись эстетические воззрения Блока на природу искусства, прослеживаются его творческие искания, мучительные раздумья над проблемой народа и интеллигенции, о долге художника. «Задолго до Октября Блок слышал приближающийся шум крушения старого мира, — пишет Енишерлов в главе «Проза поэта», — и в тот короткий срок, что оставался до взрыва, призывал каждого честного интеллигента заняться не праздной философской болтовней и не обсуждением отвлеченных эстетических теорий, но практическим действием...»

Большое внимание уделено автором взаимоотношениям Блока с театральной средой, деятелями нарождающегося нового искусства. Приводится интересная переписка поэта с режиссером Мейерхольдом. Подчеркнута связь Блока со Станиславским и Комиссаржевской, пути исканий которых не единожды пересекались со стезей поэта.

«Путь Блока — в его книгах, — говорит Енишерлов. — Открывая скромные обложки прижизненных сборников и вчитываясь в строки, которые когда-то написал поэт, мы, конечно, лишь приблизимся, но все же приблизимся к пониманию его души, а с ней и души России на рубеже двух веков и двух социальных эпох, так как жизнь Блока шла и менялась параллельно жизни России».

От «Стихов о Прекрасной Даме» через «Нечаянную радость» и «Землю в снегу» — к «Стихам о России», от символистских схем и догм — к ясности реализма. «Именно стихи о Родине с наибольшей отчетливостью характеризуют путь поэта к революции», — подчеркивает автор. Революцию же поэт принял «безоговорочно, сурово, честно». Таков пафос книги Владимира Енишерлова.

Хотелось бы обратить внимание на одну из проблем, которую ставит критик, — о подмосковной усадьбе Блока Шахматове. Шахматово имело в творческой судьбе поэта такое же значение, как Михайловское — для Пушкина, Ясная Поляна — для Толстого. «Шахматово было единственным местом, где общался он с деревенской Русью, — пишет Енишерлов. — Здесь же учился юный Блок языку деревьев, трав, цветов, бродя с дедом-ботаником по ближним и дальним лугам, лесам и болотам или объезжая окрестности верхом». Известно, что в годы гражданской войны усадьба сгорела. Зарос и одичал воспетый поэтом «соловьиный сад», высох пруд, обмелели ближние озера... Однако сохранились чертежи, фотографии и рисунки усадьбы и ее окрестностей. Имеется проект восстановления и создания Блоковского мемориального комплекса. В. Енишерлов еще раз подчеркивает своей работой, что усадьба, повторим за Енишерловым, «сыграла слишком большую роль в судьбе и творчестве поэта, чтобы нам забывать о ней».

Год столетнего юбилея Александра Блока принес много новых работ о нем. Наступило время обобщающих концепций и углубленного изучения жизни и творчества. Исследование Владимира Енишерлова — заметный этап в этой сложной работе.

Иван ИСАЕВ

МИФЫ КИБЕРНЕТИКИ И ИСКУССТВО

Есть у В. М. Шукшина рассказ «Залетный», в котором его главный герой Саня Неверов, человек больной, на пороге небытия, силится подобрать слова для определения человеческой сущности: «Человек — это... нечаянная, прекрасная, мучительная попытка Природы осознать себя». Вероятно, многие увидят в этих словах всего лишь поэтическую метафору, далекую от научности, с оттенком скептицизма. Энтузиасты же кибернетического подхода к изучению человека наверняка сошлются на свою науку, как будто уже выразившую принципиальную готовность смоделировать человека с помощью кибернетического автомата, который ассоциируют с носителем «искусственного интеллекта». И действительно, если сравнить способ действия новых машин — детище второй половины XX века — со старыми машинами и механизмами, нельзя не усмотреть заметную разницу.

Ранее машинный способ функционирования характеризовался тем, что машина действовала по заданному шаблону: результат ее действия никак не влиял на ту систему функционирующих в ней связей, которые предопределяют само действие. Поэтому каждый следующий «поступок» машины в общем и целом воспроизводил ее предыдущий, не зависел от тех изменений, которые порождены предшествующими действиями.

Кибернетическая же машина действует по заданной программе: в ней есть аппарат управления с прямой и обратной связью, так что она может реагировать (понятно, всегда в заданных пределах) изменением своих дальнейших ходов на изменение той ситуации, в которую ее помещают. Как говорят специалисты, кибернетическая машина, учитывая изменения ситуации, в частности, те, которые производятся ее собственным функционированием, начинает действовать «разумно», хотя присущий ей «разум» — это некоторая порция вложенного в нее разума.

Встает вопрос: можно ли совершенствовать машинный «разум» и каковы пределы его роста? Первые успехи на пути совершенствования машинного «разума» послужили основанием для введения понятия «мыслящей машины» (или «искусственного интеллекта»). В многочисленных дискуссиях вокруг кибернетики был поднят в связи с этим вопрос о том, что́ скрывается за столь претенциозным понятием: миф, метафора или научно обоснованная возможность реального создания искусственного интеллекта, равного или даже превосходящего интеллект человека, но лишенного (как того желают) его человеческих слабостей?

С этими вопросами приходится иметь дело и автору книги «Кибернетика и художественное творчество», поскольку в ней изучаются проблемы кибернетического моделирования теоретического и художественного мышления на фоне анализа принци-

---

А. С. Митрофанов. Кибернетика и художественное творчество. М., Изд-во МГУ, 1980.

циальных возможностей «машинного интеллекта» вместе с описанием целей, методов и перспектив моделирования вообще и поэзии и музыки в особенности.

По мнению автора, то или иное решение этих проблем зависит от ответа на основной гносеологический вопрос о соотношении материи и сознания, о возможности существования материальных образований, наделенных способностью мыслить. Древнейшая философская проблема: «Может ли материя мыслить?» — теперь обретает, говорит он, новую «кибернетическую» формулировку: «Может ли машина мыслить, можно ли создать искусственный интеллект? Положительное решение в материалистической философии общей проблемы еще не дает оснований решать в том же духе более частную: «Из признания способности материи мыслить совершенно не следует, что и одна из конкретных форм организации материи, порожденная человеческим трудом, ЭВМ, тоже способна мыслить». В этом плане материалисты резко разделяются на два класса: на вульгарных материалистов, или «кибернетистов», как представителей современной разновидности механистического материализма, и на диалектических материалистов. Первые признают способность ЭВМ (или кибернетических автоматов) к мышлению вплоть до обладания сознанием и самосознанием, вторые отрицают такую возможность и доказывают, что на ЭВМ осуществляется лишь моделирование отдельных мыслительных операций.

А. С. Митрофанов занимает однозначную позицию на стороне представителей диалектического материализма. Но это не является делом или следствием его личного вкуса, хотя, конечно, хорошо воспитанный вкус редко ошибается в истине. Когда читаешь его книгу, постепенно убеждаешься, что вульгарный материализм в кибернетике в настоящее время лишается в борьбе за истину своего былого влияния.

Когда вульгарный материалист со своей меркой подходит к человеку, к изучению его мозга, мышления и т. п., он упускает из виду основной гносеологический вопрос, не замечает за всем этим психофизической проблемы, разницы между физиологическим состоянием мозга как материальным процессом и тем, что называется идеальным, которое существует как гносеологический образ внешнего мира. Созданная классиками марксизма-ленинизма теория отражения утверждает, что мышление может быть правильно понято только как субъективный образ объективного мира, причем отражательный образ не должно представлять себе как пассивное копирование вещи в каких-то материальных формах: он существует в форме человеческой деятельности.

Стало быть, всякая машинная (или знаковая) модель мозга не оперирует с идеальным, то есть с идеальными образами вещей внешнего мира; она имеет дело только со всевозможными чувственно-конкретными (материальными) знаками и оперирует лишь с их материальным содержанием; результатами ее действия является всякий раз система преобразованных знаков. В этом свете всякая попытка навязать машине атрибут

мышления на том основании, что она может быть точной моделью мозга, в корне абсурдна, поскольку мыслит не мозг, а человек с помощью мозга!

Такова принципиальная позиция в данном вопросе А. С. Митрофанова, и она полностью отвечает современным научным представлениям. Большое достоинство работы состоит в том, что ее автору удалось провести водораздел между кибернетикой научной (включающей в себя комплекс таких теорий, как теория управления, теория конечных автоматов, теория информации и т. п.) и «кибернетикой идеологической», паразитирующей на трудностях роста последней, ошибочных или неудачных высказываниях отдельных представителей конкретных наук.

«Предметом «идеологической кибернетики», — пишет А. С. Митрофанов, — объявляется управление обществом, как ныне существующим, так и тем, которое может возникнуть в будущем. Более того, предметом этой кибернетики объявляется не только человек и управление им (социальное манипулирование), но и человек будущего, переделанный и приспособленный к новой цивилизации «рабов». Именно в рамках «идеологической кибернетики» обсуждается и всячески муссируется миф о возможности создания «думающих машин», «роботов», обладающих чертами характера, личности, сознания и самосознания».

Современная буржуазная футурология активно эксплуатирует также идею «думающих машин» для культивирования мифа о «бунте роботов», которые якобы восстанут против своего творца — человека. И нельзя не согласиться с автором и в том, что начало этой «кибернетической мифологии» было положено Н. Винером, его высказываниями о будущем обществе, в котором господство механических рабов станет «самой непосредственной и неметафорической проблемой». Охотно ссылаясь на подобные, весьма тенденциозные рассуждения Н. Винера и других авторитетов в области науки об управлении, представители «идеологической кибернетики», как показывает А. С. Митрофанов, почему-то редко цитируют тех же ученых, когда они развенчивают плоды собственного мифотворчества, некритически воспринятые ограниченным рассудком буржуазного обывателя.

А между тем тот же Н. Винер в работе «Творец и робот» пишет: «Люди с психологией машинопоклонников часто питают иллюзию, будто в высокоавтоматизированном мире потребуется меньше изобретательности, чем в наше время...»

«Нет, — возражает он, — будущее оставляет мало надежд для тех, кто ожидает, что наши новые механические рабы создадут для нас мир, в котором мы будем освобождены от необходимости мыслить. Помочь они нам могут, но при условии, что наши честь и разум будут удовлетворять требованиям самой высокой морали».

По А. С. Митрофанову, еще меньше имеется надежд для тех, кто ожидает, что механические роботы подменят человека в плане его художественного творчества. Его добротный анализ того, каким способом рождается и существует в системе человеческой культуры произведение искус-

ства, демонстрирует сложную цепь взаимоотношений человеческих ценностей, вне рамок которых предмет подлинного искусства не может быть создан, не может существовать. Во всяком предмете искусства пересекаются между собой три особых мира: мир значений родного языка (вербального и музыкального), мир «второй» (очеловеченной) природы — материальной культуры и, наконец, мир «третьей» природы (по выражению М. Горького) — художественное удвоение природного и социального мира в искусстве. Тут мы сталкиваемся с единым практическим, семантическим и эстетическим «полем», которое создает условия для коммуникации между художником, исполнителем (в случае исполнительских видов искусства) и публикой и без которого искусство было бы невозможно.

Математик-программист, пишет в связи с этим А. С. Митрофанов, решивший создать кибернетическую модель произведения искусства, должен четко представить себе тот теоретический «срез», в рамках которого он будет воплощать свои информационные модели. «К сожалению, — заключает он, — в большинстве работ по кибернетическому моделированию искусства мы не находим строгой научной формулировки целей и задач такого машинного эксперимента».

Соглашаясь с этим тезисом автора, мы справедливости ради должны отметить все же следующее. В отличие от представителей «идеологической кибернетики», которые, как правило, вообще непосредственно с машинным экспериментом дела не имеют, большинство добросовестных ученых, занятых конкретным моделированием тех или иных сторон художественного творчества, указывают честно на принципиальные ограничения, встающие на их пути, даже если у них возникают симпатии к мифологии в этой сфере человеческой деятельности.

Блестящее развенчивание мифов, культивируемое «идеологической кибернетикой», удается автору благодаря неукоснительному соблюдению научной строгости.

Этот дух исследования чужд преклонению перед машиной, превращению ее в фетиш XX века перед апокалипсическим пророчеством «бунта роботов». Для него характерно реалистическое осознание места ЭВМ в системе современного производства, управления, обороны и научных разработок, организации эффективного взаимодействия человека и электронно-вычислительных машин, способных выполнять механические и автоматические функции при регулировании, контроле, манипулировании информацией по заданным алгоритмам. Это путь, достойный творческих усилий человека, способный поднять буквально все сферы человеческой активности, в том числе моделирование и изучение отдельных сторон художественной деятельности человека, на качественно новую ступень.

Написанная в живой, увлекательной форме, в духе полемики, книга А. С. Митрофанова будет с пользой прочитана многими читателями.

А. ЧЕРКЕСОВ

КРУГ ЧТЕНИЯ

А. Тяпкин, А. Шибанов. Пуанкаре. ЖЗЛ. М., «Молодая гвардия», 1979.

Личность Анри Пуанкаре, представлявшего, по признанию математиков, «даже среди наиболее великих редчайшее исключение», несомненно, накладывает своеобразный отпечаток на любую книгу о нем. Подлинно биографическое произведение, соответствующее личности Пуанкаре во всей полноте и глубине, можно написать лишь в том случае, когда оно стимулировано не только определенным отношением к идеям, чувствам, но и к итогу творческой деятельности великого ученого и мыслителя. Для этого необходимо проникнуть в научное творчество, полное неожиданностей, искрометности, блеска, изящества и глубины. Свыше 500 статей и книг составляют научное наследие Анри Пуанкаре. При этом деятельность его охватывает практически все основные разделы современной ему математики, классическую механику, небесную механику, теоретическую физику и даже некоторые главы теоретической астрономии.

Авторы книги о Пуанкаре продемонстрировали достаточно широкую эрудицию, осветив все его основные достижения на научном поприще. При этом они сумели избежать тех опасностей, которые поджидают любого взявшегося описывать творчество ученого в самых абстрактных областях физико-математических наук. Обычно его открытия излагаются специальным языком и оказываются понятными лишь немногим читателям, обладающим подготовкой в данной области науки.

В книге «Пуанкаре» образ замечательного ученого создан с эмоциональным проникновением, с большой любовью к благородному и прекрасному творцу многочисленных идей и теорий века. Его научный альтруизм и щедрость поистине трогательны, а сам он кажется неистощимым родником научных теорий, неутомимости и доброты. В полной мере величие и благородство Пуанкаре как мыслителя и человека раскрывается авторами через об-

щение его с большим числом известных ученых разных стран.

К сожалению, в широком читательском сознании сложилась точка зрения, весьма односторонне трактующая историю создания специальной теории относительности (СТО). Рождение этой величайшей физической теории связывают целиком только с именем Альберта Эйнштейна. Между тем достаточно ознакомиться с некоторыми ранними трудами А. Пуанкаре, чтобы убедиться в том, что именно им были впервые сформулированы оба постулата СТО. В частности, их можно найти в его книге «Наука и гипотеза» и в знаменитой его речи «Настоящее и будущее математической физики». Если же обратиться к еще более ранней его работе — «Измерение времени», то в ней можно обнаружить интерпретацию понятия одновременности разноместных событий — центрального момента всей СТО. Даже сам Лоренц, один из основоположников СТО, совершенно авторитетно отмечает те труды А. Пуанкаре, в которых, по его же словам, он впервые ввел в науку принцип относительности.

Анализируя работы А. Пуанкаре и А. Эйнштейна, мы с неизбежностью приходим к выводу, что роль последнего велика в становлении идей СТО, во «внедрении» их в физическую мысль начала нашего века, когда общий уровень теоретической физики находился значительно ниже того, который закладывался в трудах Пуанкаре.

Нельзя не заметить, что А. Пуанкаре продемонстрировал своим коллегам-физикам прекрасный урок материалистической диалектики, раскрывающей взаимосвязь материи, пространства, времени и движения. Но урок этот остался непонятым. А. Эйнштейн и М. Планк, положившие в основу СТО необычность свойств масштабов и часов, не увидели того, что эти свойства не могут быть априорно введены в физическую теорию. Только законы движения, как показал А. Пуанкаре, раскрывают физическую сущность и природу этих свойств. Пуанкаре всегда мыслил масштабно, глубоко и видел перспективы развития теоретической физики куда дальше многих своих современников.

Особый интерес представляет послесловие книги А. Тяпкина и А. Шибанова, которое дает глубокий экскурс в область некоторых разделов истории физики. Оно настолько поучительно, что специалисты вполне могут черпать из него материал для своих вводных лекций по теоретической физике для разделов, посвященных теории относительности. Глубоко современны и созвучны нашим представлениям мысли Пуанкаре: «Если бы природа не была прекрасной, она не стоила бы того, чтобы быть познанной, жизнь не стоила бы того, чтобы быть прожитой».

Некоторые литературные недочеты и неточности, содержащиеся в книге, не могут испортить впечатления от ее восприятия. Недаром, только выйдя в свет, она уже стала библиографической редкостью. Книга «Пуанкаре» по праву заняла достойное место в серии, посвященной жизни замечательных людей.

И. П. ВЫРОДОВ,
профессор

С. Д. Шнапир. Каждой бессмертной строкой. Кемеровское книжное изд-во, 1980.

Автор этой небольшой книги был делегатом III съезда РКСМ, слушал Ленина и оказался «пожизненно призванным» этой программной речью вождя. Не случайно и воспоминания о том неповторимом событии в своей жизни он адресует молодежи.

Впрочем, книга не только о съезде и о том впечатлении, что произвела речь Ленина на делегатов. Ее историческая канва пролегла между 1920 и 1936 годами, то есть уходит в то далекое предвоенное прошлое страны, когда многие положения знаменитой ленинской речи успели осуществиться.

Читатель книги станет свидетелем ряда интересных встреч автора с ближайшими соратниками и продолжателями дела Ленина — Н. К. Крупской, Ф. Э. Дзержинским, А. В. Луначарским, В. В. Куйбышевым, Г. К. Орджоникидзе.

Но книга возвращает нас и в весну боевого двадцатого, когда войска панской Польши во главе с Пилсудским предприняли попытку перекроить политическую карту России. Как раз в эти тревожные дни в Гомеле и начиналась чоновская биография С. Шнапира в политотделе 16-й армии. Отсюда пошлют его осенью того же года на съезд РКСМ.

Репортерское мастерство будущего корреспондента «Правды» оттачивалось в армейской газете. Много интересных фактов предстоит узнать читателю, но центральным в книге, несомненно, остается рассказ о «великом поручении» Ленина молодежи, о той главной задаче, которая была сформулирована и развита им на съезде.

Раздумья о глубине ленинского провидения, о точности и ясности его аналитической мысли составляют содержание нескольких глав книги. Но, даже ведя разговор о фактах, не связанных непосредственно с тем бессмертным выступлением Ильича, автор не забывает показать актуальность для молодежи мыслей Ленина о необходимости обогащения своей памяти знанием всего, что создано человечеством, о губительности верхоглядства.

Обращаясь к истории создания речи В. И. Ленина на съезде комсомола, вводя в орбиту своих воспоминаний документы эпохи, автор создает тот необходимый познавательный фон, на котором контрастнее воспринимается высокое содержание ленинской речи.

Стоит, пожалуй, задуматься над тем, каков срок делегатских полномочий. В сущности, это вопрос жизненной позиции человека. У одних этот срок истекает с исполнением последней съездовской процедуры. Другие, напротив, считают себя облеченными ими «на всю оставшуюся жизнь». Таков, в частности, и С. Д. Шнапир — автор книги страстной, неравнодушной, каждая строка которой работает на дело воспитания молодежи.

И. ДРЕЙЦЕР

Владимир Семакин. Под голубым среди зеленого. Стихи. М., «Современник», 1979.

Скромные, но внутренне сильные, а главное — искрен-

ние, сердечные строки Владимира Семакина — составная часть нынешней поэзии. Чистый, доверительный голос поэта звучит уже не одно десятилетие.

Нежный-нежный — не жжется,
не колется, —
из конца окоема в конец
голубым-голубо колоколится
за околицей лен-долгунец.
Что-то есть безмятежно-
безбрежное
в этой нежности летнего льна.
Ничего тут волна перемежная
ни взмутить, ни смутить не
вольна!
Так покойно и голубо-зелено
это поле в залесной глуши,
словно роздых никем не
измеренной
и отходчивой русской души.

Стихотворение словно спето человеком, влюбленным в жизнь, в природу. А чуткая живая природа разве не откликнется на бескорыстную любовь? Читая подобные стихи, даже как-то на ум не приходит говорить о мастерстве поэта, о его технике. Главный смысл стихотворения приближен к нашему сердцу. Внешние красоты иного стихотворца завораживают, но ненадолго. Схлынет обманчивое — и недоуменно пожмешь плечами: а что, собственно, осталось? И зачастую оказывается так, что под цветистой словесной одеждой спрятана пустота. Не о таком ли самоуверенном, бойком авторе кратко и точно сказал Владимир Семакин:

Не в бровь, а в глаз тебя
назвали: «Модный».
А ты и рад, а ты и хвост
трубой,
а ты, видать, в лукавинке
народной
не уловил насмешки над тобой.
Тебе и невдомек, что для поэта,
уж если ты хоть капельку поэт,
нет клички оскорбительней, чем
эта,
и прозвища убийственнее нет.

Поэт должен быть добрым, но не добреньким. Ведь добренький — значит, равнодушный ко всему, что творится вокруг. А равнодушие иногда граничит с преступлением. Особенно когда речь идет о природе, о ее защите. Не потому ли Владимир Семакин, радеющий за все живое на земле, с болью говорит:

Нужна кому-то просека —
и ты хоть волком вой,
вались на землю, сосенка,
невинной головой...

Большинство произведений сборника связано с русской природой. Читаешь стихи Владимира Семакина — и перед тобой в скромной красе встает Приуралье, которому поэт посвятил самые теплые, самые сокровенные строки:

Над водой — мостки для
постирушки,
стук валька по мокрому
глухой...
Все хожу я берегом речушки,
может, только мне и дорогой.

Нет, Семакин не из тех, кого называют Иванами, не помнящими родства. И пусть живет он нынче в Подмосковье, но речка Лып зовет и зовет его на свои зеленые берега. Не отсюда ли берет начало и река поэзии Владимира Семакина? Хозяином добрым и мудрым идет по земле поэт. Оттого и видно ему, как «луч задремал на крыле стрекозы». И земля, коль ее верному сыну станет тяжко, приходит на помощь:

...Березка меня понимала,
меня понимал иван-чай...
А этого было немало,
чтоб духом не пасть невзначай.

Не менее проникновенные слова находит Владимир Се-

макин, когда пишет о любви — светлой, застенчивой, целомудренной.

«Под голубым среди зеленого» — так назвал свою книгу поэт. Хорошо назвал. Ясным солнечным светом наполнил он сердца читателей, поделился с нами «погожей радостью» своего лета.

Виктор СМИРНОВ

Николай Яньков. Закон предков. Рассказы. М., «Современник», 1979.

Читинский писатель Н. Яньков не дождался выхода своей книги. Он незадолго до этого трагически погиб в тайге.

Большая часть рассказов, определивших ее название «Закон предков», посвящена коренным жителям Сибири — эвенкам, якутам, их сложным, но гармоничным связям с природой. Народы Севера многому научились у нее. «Экзотические» представления героев, заложенные в «законе предков», писатель расшифровывает с позиций их материального смысла.

Проблема взаимоотношений человека и природы ставится Н. Яньковым в рассказах «Горький дым» и «Нгелум людей рода Булятыр». Природа — среда обитания человека, потребительское отношение к ней опасно, губительно для всего живого на земле. «Все живое едино, все сущее на земле скатано в один неделимый ком, связано одной веревочкой... и нельзя рвать эту веревочку, будет беда! Кто забыл это — уходит от природы и простоты в корысть и накопление...»

В рассказе «Охота на умника» главный герой Ченга, бригадир промысловой артели, возмущен легкомысленным отношением молодого Улькана к тайге и ее законам. Улькану, рвущемуся отомстить медведю, полакомившемуся охотничьими припасами, он говорит: медведь не виноват, он прародитель нашего рода, видит все наши плохие поступки. Так думали предки, «...и это помогало жить, оберегать в себе силу и доброту ума». Но Улькан соотносит древнюю мудрость только с элементарными житейскими представлениями. В отличие от своего героя Н. Яньков различает за словами сказаний глубокое понимание природы, корни которого уходят в древнюю связь всего живого. Писатель не столько поэтизирует древнюю мудрость, сколько делает попытку выявить ее содержательный смысл.

Хотя рассказы Н. Янькова небольшие, можно говорить о характерах, национальных типах Чохтоо, Дюдувула, Ченги и других. Эти герои художественно воплощают в себе своеобразие жизненного опыта своих народов.

Н. Яньков увидел в традиционном образе жизни своих героев много мудрого, сумел выявить серьезность их опыта, который порой рассматривают как во многом принадлежащий прошлому. Думается, это устаревшее представление, инерция прошлых лет, когда мы еще мало знали о жизни народов Севера.

«Я уехал из Сибири, — писал литературовед Р. Бикмухамедов, — и все тревожит меня, что ушел я, не постигнув еще чего-то такого, что можно постигнуть именно там, — какой-то большой тай-

ны, касающейся основ человеческого бытия. В настоящее время — и это главный итог прошедших десяти-пятнадцати лет — роль и место писателей народов Сибири обусловлены уже своеобразием и идейно-художественной значительностью предлагаемых ими решений кардинальных проблем современности. Оказалось, что и опыт крохотных... народностей имеет общечеловеческое значение и весомость. Подтвердилось: чем самобытнее опыт — и исторический, и нравственный, и культурный, — тем более этот опыт общезначим».

Книга Н. Янькова — удачная попытка показать опыт жизни некоторых народов Севера и изнутри, и с позиций современности.

Т. КОМИССАРОВА

В. Широков. Поиски весны. Стихотворения и поэма. М., «Современник», 1981; Рубеж. Стихотворения. М., «Советский писатель», 1981.

Нынешний, 1981 год оказался для Виктора Широкова урожайным: в издательстве «Современник» увидел свет его поэтический сборник «Поиски весны», а вслед за этим издательство «Советский писатель» выпустило книгу стихотворений В. Широкова «Рубеж».

Как справедливо заметил Ал. Михайлов, представляя читателю «Поиски весны», историческая лирика — одна из плодотворных тематических линий в творчестве В. Широкова. Я бы добавил, что поэт обладает пристальностью взгляда, а главное, есть у него сыновняя памятливость, которая болью отзывается в стихах об отце или переносит нас на разъезд Дубосеково, где «лес войной обезображен». Война, ранившая его отца, словно рикошетом ранит и его.

У отца застарелая рана,
что ни дело — с натугой,
с трудом.
Но, от боли проснувшийся рано,
он обходит стареющий дом.

. . . . . .

Снег слепящий, колючий,
сыпучий,
чуть огреб — наметает опять,
так и мысли нахлынули
тучей —
и работой не разогнать.

. . . . . .

Три броска деревянной лопатой.
От работы заноет спина...
И другие припомнятся даты,
и очнется под сердцем война.

Поэт любит и знает историю Родины от самых корней, от истоков. Потому столь впечатляющи его стихи о прошлом России.

Снова бешеный ветер погони
подымает дубы на дыбы,
и храпят половецкие кони,
ошалелые кони судьбы...

(«Скачка»)

Стихотворение это, наполненное ритмом погони, экспрессией бешеной половецкой скачки, во многом отличается от предыдущего по музыкальному своему рисунку, инструментовке, по настроению. Стихия битвы властвует в нем.

Специфика жанра философской лирики в том, что стихам такого рода мало фотографических зарисовок с натуры. Лучшие стихи сборника В. Широкова привлекают неожиданным поворотом мысли, образа.

Поставь рябиновую ветвь
на стол в стакане.
И в темноте дрожащий свет
не перестанет
струиться от ее плодов,

мерцать тревожно...
О, как хотелось и для слов
того же!
Чтоб мысль, родившая строку,
хранила чувство
и повторялась на веку
тысячеустно.
Пусть слово излучает свет,
во тьму не канет.
Поставь рябиновую ветвь
на стол в стакане.

(«Рябиновая ветвь»)

Уже само начало этой шестнадцатистрочной миниатюры как бы приглашает читателя приобщиться к маленькому чуду природы. Рябиновая гроздь, от которой в темноте как бы струится мерцающий тревожный свет... Но Широкову эта картинка нужна лишь для того, чтобы развить другую, главную для него, ассоциативную мысль, как повод для разговора о долговечности поэтического слова, поэтических образов.

Чисто пейзажных стихов у Широкова довольно мало. В одном своем стихотворении он даже заявляет: «Не грешу я любовью к пейзажу...» Чаще всего пейзаж или картинка природы у него органично связаны с главной идеей, мыслью или образом. В природе поэт ищет идеал меры и гармонии.

Смугл румянец
уральской зари.
Как протянутые
ладони,
чаша неба
и чаша земли
на великом стоят
переломе.

Мотивы природы в его стихах часто перекрещиваются с размышлениями о том, что же такое поэзия и каково назначение поэтического слова.

В стихах сборника «Поиски весны» звучит радость узнавания мира, которой В. Широков спешит поделиться с читателем:

Я открывал за домом дом...
Гремели ставни, словно гром...
Я открывал за садом сад,
где вишни спелые висят,
речонку с неглубоким дном,
луга за илистым прудом...
Я открывал за домом дом...
За миром мир я открывал,
хоть этого не понимал.

(«Детство в Кругловке»)

К стихотворениям лирико-философского ряда относится и заглавное стихотворение сборника «Поиски весны», в котором поэт прямо отождествляет любовь к родной природе и любовь к Родине.

Вроде все это —
обыкновенность:
дым, шалашик, телок на лугу...
А на деле — сыновняя
верность
краю, Родине, очагу.

В стихах В. Широкова уютно чувствуют себя и человек, и дерево, и птица, и теленок на лугу, каждое из природных явлений поэт наделяет своими «чертами характера»:

Опавшие влажные листья
рукой, наклонясь, разгреби,
и ткнутся, прохладны и чисты,
слепыми щенками грибы.

(«Рассветное имя»)

Широков ищет поэзию прежде всего не в абстрактных «материях», но в привычной жизненной обыденности. Прекрасно, на мой взгляд, выписаны жанрово-бытовые сцены в стихотворениях «Спектакль», «Бабкины половики» и «Проводины».

Движение, действие, экспрессия насыщают большинство стихотворений В. Широкова. Половецкая скачка или весеннее обновление жизни, разноцветье бабушкиного рукоделья или история предков, приметы малой родины поэта — земли уральской, подвиг героев-панфиловцев — за

какую бы из этих тем ни брался поэт, стихи его звучат гимном Жизни.

Символично название второго сборника — «Рубеж». Этой книгой поэт прочно закрепил достигнутое в творчестве. Верится, что рубеж этот не последний, и, овладевая вершинами мастерства, Виктор Широков поднимется на новые рубежи поэтического слова.

Юрий МОГУТИН

Александр Байгушев. Точка зрения. М., «Современник», 1979.

Книга Александра Байгушева сразу заинтересовывает: заглавием — «Точка зрения», подзаголовками — «О вкусах времени». А. Байгушев доверяет читателю, верит в его способность разобраться в непростых явлениях современного искусства.

«Точка зрения» привлекает, вызывает доверие открытостью позиции самого автора.

Книга о вкусах времени — работа неспециализированная. Материалом для раздумий оказывается здесь «единый фронт искусств» — литература, театр, кинематография, живопись, музыка. Осмысление культурного процесса в целом — вещь в нашей критике нечастая. Внутренние сцепления, переклички мыслей в главах, посвященных разным видам искусства, связывают книгу.

Начинается разговор о вкусах времени главой «Возвращение лицедеев». По жанру это очерк о гастролях в 1965 году в Молдавии молодого театра «Лучафэрул». Зачем очерк нужен в книге? Затем, что именно после этих гастролей автор «утвердился в той точке зрения», которой посвящена книга. В необходимости «возвращения искусства к простоте и чистоте подлинной народности».

Рассказ А. Байгушева о тенденциях в живописи 60-х годов подтверждается содержательным интервью, взятым им тогда у М. Сарьяна: «Не форма ради формы, а точка зрения! Только она рождает художника — свет, попирающий цвет!»

Рисуя триумфальное выступление художников русской периферии в середине 60-х годов, А. Байгушев интересно пишет и о «поре эстампа», о графике Захарова и Голицына, Вагина и Лаврова. «Вторым пришествием Возрождения» А. Байгушев называет увлечение наших художников древнерусской живописью. Оно далеко не случайно, справедливо считает критик. В нем выразились «устремления к высокому монументализму, искусству редкой гармонии и просветленности, которые отвечают нашему времени и которые генетически были заложены еще при самом рождении нашей живописи». Проблему стиля, избираемого молодыми художниками, А. Байгушев рассматривает не только как сугубо профессиональную, но и как воспитательную, моральную. При этом разговор ведется в книге с пониманием сложности творческого становления художника, с уважением к таланту, но требовательно, принципиально.

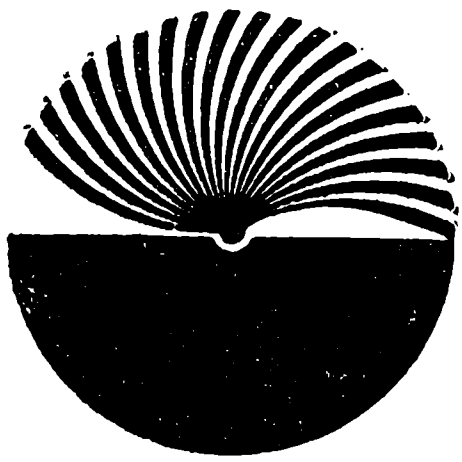
В сравнении с новыми плодотворными тенденциями в театре, живописи и музыке возмужание лирического ге-

роя поэзии А. Байгушев относит только к 70-м годам. О времени, пожалуй, можно и спорить. Но главные мотивы нового поэтического поколения определены верно. Это историзм мышления, уважение к труду и рабочему человеку, неприятие «размытости чувств», «расплывчатости мнений». Достаточно широк в книге и круг имен молодых поэтов, представляющих разные ветви нашего многонационального стиха.

Своей книгой А. Байгушев преследует благородную цель — способствовать превращению рядового читателя и зрителя в «ценителя высокого искусства», «в сотворца художественных произведений». На последней странице своей книги автор полемически заявляет: «Неспособность или нежелание иметь четкую собственную точку зрения на произведения литературы и искусства в нынешних условиях союза культуры и труда превращается чуть ли уже в невыполнение своей гражданской обязанности перед обществом...»

Пафос и темперамент критика делают книгу А. Байгушева увлекательной и убедительной.

Ю. ИВАНОВ



БЛОКНОТ МОЛОДОГО ЛИТЕРАТОРА

ИЗ ЧИСТЫХ КРИНИЦ

О высоком призвании художника, о его долге перед народом размышляет народный писатель Белоруссии, Герой Социалистического Труда Иван Петрович ШАМЯКИН.

— Иван Петрович, кажется, совсем недавно в журнале «Дружба народов» был опубликован ваш роман «Возьму твою боль», в котором современная жизнь сложно переплеталась с военным прошлым нашего народа. Не успела еще утихнуть полемика вокруг этого произведения, а в журнале «Полымя» уже опубликована первая часть нового романа «Петроград — Брест», посвященного на этот раз драматичным событиям вокруг заключения Брестского мира. Совсем другая эпоха, другие конфликты. В этой связи интересно было бы узнать, как у вас возникает замысел нового произведения: зреет ли он «в недрах» предыдущей работы или же каждый раз происходит внезапный взрыв интереса к какой-то теме?

— Меня часто спрашивают в интервью, на читательских конференциях: как вы написали тот или иной роман, как

возник замысел, как он обретал конкретные очертания, соответствуют ли события в произведении реальным жизненным событиям? Кажется, простые вопросы, но вот ответить на них бывает совсем непросто. Я проработал в литературе уже 35 лет, а до сих пор не решаюсь вывести некую формулу, по которой происходит трансформация неясного тебе еще самому творческого «первотолчка» в готовое произведение. Возникновение темы, конструирование сюжета — процесс всегда длительный и сложный и в каждом конкретном случае неповторимый, не поддающийся «тиражированию». Неизменным всякий раз остается лишь одно: все идет от жизни, от умения писателя откликаться на ее острые и сложные проблемы. Жизнь всегда богаче и многограннее самой изощренной фантазии, она питает творчество писателя, подсказывает ему готовые сюжеты, сводит с яркими человеческими типами.

С чего начинался роман «Петроград — Брест», над которым я сейчас продолжаю работать и который вроде бы стоит особняком в моем творчестве? У этого произведения есть своя предыстория. Меня давно волновал образ Ленина, хотелось внести и свою долю в белорусскую Лениниану, начинавшуюся еще с Михася Чароты и Змитрока Бядули. В канун 100-летия со дня рождения Владимира Ильича я решил попробовать свои силы в разработке этой темы.

Тогда, в частности, мне попалась на глаза телеграмма Владимира Ильича комиссару станции Орша Иващенко. Ее текст будет не совсем ясен, если упустить из виду, какое время переживала страна. Итак, 4 июля 1918 года. Вовсю полыхает гражданская война, транспорт разрушен, заводы бездействуют, в деревне и городе царит голод. В разных концах страны вспыхивают провокационные вылазки недобитых врагов революции, через два дня начнется левоэсеровский мятеж. И вот в этих условиях Ленин дает телеграмму: «Благодарю за пропуск 36 вагонов в Германию: это для наших бедствующих военнопленных. Прошу опровергать все гнусные клеветы и помнить, что мы должны помогать нашим военнопленным изо всех сил».

В первое мгновение телеграмма меня буквально поразила, это же неоценимая находка для писателя. В нескольких строчках сухого телеграфного текста — глубочайшее проявление ленинского гуманизма.

Я стал углубляться в материал, выяснять детали. Почему телеграмма датирована 4 июля, а отправлена лишь 6-го, каков был статус военнопленных, кто такой комиссар Иващенко? Пришлось перерыть гору документов, познакомиться с воспоминаниями очевидцев. Нашелся сын Иващенко, который много рассказал о сво-

ем отце. Несколько строк телеграммы постепенно обрастали подробностями, причинными связями, драматизмом исторической ситуации. Все эти события и факты послужили потом темой для киноповести «Эшелон прошел», по которой белорусский режиссер В. Никифоров поставил фильм «Хлеб пахнет порохом». Но много материала осталось и нереализованным.

С того времени прошло уже около 13 лет, и все эти годы меня не оставляла мысль вернуться к теме, исследовать сложную политическую обстановку, сложившуюся в стране накануне и в дни подписания Брестского мира.

Я продолжал понемногу собирать материал, месяцами не выходил из архива, ознакомился со всеми научными публикациями на эту тему. За эти годы успел написать «Атланты и кариатиды», «Брачную ночь», «Торговку и поэта», «Возьму твою боль», несколько пьес, и только два года назад пришло ощущение подготовленности к созданию романа на давно волновавшую меня тему. На сегодняшний день уже готовы две части романа, к концу года думаю закончить его целиком. Это мое итоговое произведение на ленинскую тему, вобравшее в себя и опыт работы над рассказом «Хлеб», повестью «Первый генерал», киноповестью «Эшелон прошел», и десятилетие раздумий, сомнений, накопления материала... Вот такой сложный путь пролег от первого интереса к теме до написания произведения, путь во многом показательный, хотя он бывает порой значительно короче и проще.

— В последние годы все отчетливее выявляется своего рода «специализация» писателей, деление их на творческие «цехи»: одни целиком принадлежат деревенской теме, другие пишут исключительно о войне, третьи записаны по ведомству бытовой прозы. Вы же выступаете на разные темы, свободно переключаясь с одного жанрового регистра на другой, пишете для театра и кино. Что это: широта интересов или же разбросанность, с которой вы сами не всегда можете совладать?

— Попробуй не «разбрасываться», если сама жизнь, развитие искусства вынуждает многих писателей откликаться на «соблазны» кино, телевидения, театра. И сегодня такой участи мало кто избежал. В. Белов и В. Распутин, В. Быков и В. Астафьев, А. Адамович и И. Авижюс пишут инсценировки и киносценарии, создают телевизионные версии своих книг. А Чингиз Айтматов — тот и вовсе возглавляет Союз кинематографистов Киргизии. А сколько раз обещал порвать с кинематографом Шукшин, но так и не смог этого сделать...

Конечно, сотрудничество писателя с кинематографом редко бывает безоблачным. Но, приступая к экранизации, всегда тешишь себя надеждой: а ведь хорошо, если книга получит достойное воплощение на экране. Значит, еще миллионы людей познакомятся

с героями, которым ты отдал свои мысли, переживания, жизненный опыт.

Время от времени я пишу и пьесы, на что меня давно «спровоцировал» мой друг Андрей Макаенок. Работа в драматургии пришлась мне по душе — это неоценимая школа для прозаика. Драматургия дисциплинирует писателя, оттачивает диалог, делает его емким и лаконичным. Ведь в пьесе на 60 страницах нужно сказать то, на что в романе уходят сотни.

Ну а что касается второй половины вопроса — о моей тематической «разбросанности», то здесь дело обстоит таким образом. Конечно, у меня есть неудачные, несовершенные вещи, но вот случайных нет. Я всегда писал о том, что знал и пережил, о том, что глубоко волновало меня и моих современников. Я воевал, и моя первая повесть, написанная в Германии в 1945 году, называлась «Месть»; от нее по сей день тянется военная тема в моем творчестве. А потом кончилась война, вокруг кипела мирная жизнь — по-своему бурная и конфликтная, — и я был в ее гуще. Как можно было не писать о том, чем жил, дышал, о чем каждый день думал?..

— Критика давно уже отметила вашу особенность «выхватывать проблемы из самого кипения современной жизни». В этом, безусловно, сила ваших книг, но иногда это оборачивается и некоторой недосказанностью. В недавней статье Иван Науменко заметил, что ваши последователи в разработке уже открытой темы порой оказываются и глубже и дальновиднее. Может, писателю есть смысл выждать, пока едва намеченная общественная тенденция или проблема обретет законченные формы, станет яснее для осмысления?

— Вопрос этот сложный, вряд ли он заслуживает однозначного ответа, но я твердо убежден, что занимать выжидательную позицию писателю не пристало. Ну, в самом деле, я жду, Науменко ждет, Макаенок ждет, и еще десяток писателей ждут... А кто же будет писать книги?

В любом деле — а в нашем особенно — кто-то должен быть первым, кому-то надо проторить тропу. Литература — очень живой, подвижный организм, она не стоит на месте, и то, что сегодня кажется ультрасовременным, завтра станет архаичным, и наоборот. Я вполне допускаю мысль, что кто-то, более талантливый, возьмет в ближайшее время тех же архитекторов и создаст более значительное произведение, чем «Атланты и кариатиды». Но думаю, что ему поможет в этом и мой опыт.

В литературе ничего не вырастает на пустом месте. Сегодня некоторые молодые критики любят «разносить» книги о войне, созданные в пятидесятые годы: они-де и панорамны и ура-патрио-

тичны. В пылу полемики такие горячие головы забывают о том, что без литературы пятидесятых годов не было бы литературы семидесятых.

Когда я писал «Глубокое течение», прошло только два года как кончилась война. Да и мне было всего 25 лет. Ясно, что я не мог написать тогда так, как пишут сейчас А. Адамович и И. Чигринов, которые используют опыты Лыпькова, Я. Брыля и, может быть, мой.

Что же касается современности, то я уже неоднократно писал и говорил на эту тему, но считаю необходимым повториться. Возможно, лет через сто писатели будут гораздо зорче, проницательнее, чем нынешние, и смогут создавать более талантливые произведения. Но про нашу эпоху лучше нас, глубже нас они написать не смогут. Как не смогли бы, скажем, Ч. Айтматов, И. Мележ, О. Гончар составить «конкуренцию» Тургеневу и Достоевскому в воссоздании общественной жизни 60—70-х годов прошлого века. Весь опыт развития литературы учит, что именно на современность должны быть направлены творческие интересы писателя. И если все станут выжидать, что отстоится в жизни современного села или городской интеллигенции, то мы пласт за пластом будем выпускать из-под своего внимания главные проблемы сегодняшнего дня.

— В таком случае, может, просто не надо писать о «временных» проблемах? Тем более что и в критике, и в живой писательской практике уже много лет нет единодушия в вопросе о том, чему отдавать предпочтение: вечным проблемам или «злобе дня». Возьмем для примера произведения на так называемую производственную тему. Существует мнение, что они отомрут вместе с проблемами, их породившими...

— Я думаю, что этот извечный спор о современном и вечном носит несколько схоластический оттенок. Все зависит от того, как произведение написано. Давно ушел в прошлое XIX век, а «Евгений Онегин», «Ревизор», «Анна Каренина» живут. А ведь и Пушкин, и Гоголь, и Толстой писали не о «вечном», а о насущных проблемах своей эпохи.

Писатель не может вырвать героя из своего времени, из окружения. Неприкаянный, «неприлепленный» герой неизбежно теряет всякую убедительность и оказывается ненужным не только вечности, но и современникам.

Что касается вопроса о производственной теме, замечу только, что иногда мы беремся за мелкие, технологические темы. Нет, на человека всегда надо глядеть шире, он должен выразить философию своего времени. И если талантливо написать о доярке, то произведение надолго останется в литературе, даже если сама профессия к тому времени отомрет.

— Вот вы сказали: «писатель должен выразить философию своего времени». Но для этого он должен быть не только литератором, но тем же философом, социологом, психологом, он должен чувствовать проблемы жизни еще в «зародыше». Однако ведь не секрет, что активно действующий писатель на долгие годы буквально приковывается к рабочему столу, а круг его занятий и интересов сужается до минимума. Рабочий кабинет, издательство, Союз писателей да изредка читательская конференция — вот весь его каждодневный маршрут. Откуда в таком случае черпает писатель новые темы, новые сюжеты? Неужели хватает впечатлений, вынесенных из детских лет?

— Что касается нашего поколения, то судьба не обделила нас сильными впечатлениями, предоставив возможность узнать жизнь в ее разных проявлениях. И. Мележ, А. Макаенок, Я. Брыль на себе испытали все то, что пережил народ в годы войны и в крайне тяжелые первые мирные годы. Поверьте, такого запаса хватило б для многих писательских биографий, но они никогда не эксплуатировали наработанный багаж, а чутко прислушивались ко всему новому.

Вспомните писателей прошлого — Тургенева и Чехова, которые глубоко знали жизнь, людей, проблемы своего времени. А писатели-разночинцы в поисках новых идей устраивали «хождения в народ». Пол-Руси обошел Горький, много странствовали по миру Куприн, Вересаев, Серафимович.

Сейчас же молодой писатель нередко ограничивается двухнедельной творческой командировкой, пытаясь с налету ухватить суть острой проблемы. Это, как правило, не удается. Что и говорить, многим еще начинающим писателям не хватает умения организовать свое время, умения постигать, изучать жизнь.

Когда я готовился писать «Атланты и кариатиды», то очень скоро почувствовал, что «мелко плаваю» в проблемах архитектуры. Пришлось целыми днями пропадать в проектных институтах, часто бывать на коллегиях Госстроя, и, думается, в итоге я изучил некоторые проблемы на уровне архитектора. Владение материалом сказалось потом в процессе работы над романом.

— Мы много сегодня говорили о времени, понимаемом широко, теперь возьмем это слово в более узком, частном, что ли, смысле. Вы ведете большую работу и как депутат, и как член ЦК КПБ, и как главный редактор Белорусской Энциклопедии. Где вы берете время для своей основной — писательской — работы?

— А кто, собственно, может разграничить, где у писателя начинается основная и кончается «второстепенная» работа? Ведь литератор трудится не только тогда, когда сидит за столом и водит ручкой, а практически все время.

Конечно, общественная работа часто отрывает от стола, но зато я все время нахожусь в центре жизни: на Пленумах ЦК, на комиссиях Верховного Совета, выезжаю в колхозы, на заводы. Мне посчастливилось быть делегатом XXVI съезда КПСС — сколько новых впечатлений, проблем, планов! В зале вместе со мной сидели рабочие и артисты, колхозники и инженеры — лучшие из лучших, настоящие герои нашего времени. Вот о них и надо писать книги, создавать кинофильмы, ставить спектакли. В этом высокое призвание художника.

Вел беседу Леонид ПАВЛЮЧИК

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

С 1 января 1982 года цена за экземпляр нашего журнала устанавливается в размере 80 копеек.
Стоимость годовой подписки 9 рублей 60 копеек.
Это связано с увеличением стоимости бумаги для печати, затрат на полиграфическое исполнение журнала, расходов на подготовку рукописей и художественно-графическое оформление издания.

Первая страница обложки журнала: Бойцы студенческого строительного отряда из г. Гродно. Свой третий трудовой семестр они провели на полях Молдавии. Фото Н. Николаева.

Четвертая страница обложки: Юные спортсмены г. Светлогорска (Белоруссия). Фото Л. Метцлер.

Главный редактор **Анатолий ИВАНОВ**

Редакционная коллегия: **Валерий ГАНИЧЕВ, Вячеслав ГОРБАЧЕВ** (заместитель главного редактора), **Нодар ДУМБАДЗЕ, Александр ИГОШЕВ** (ответственный секретарь), **Александр КОЛЯКИН, Борис ЛЕОНОВ, Михаил ЛОБАНОВ, Сергей ЛЫКОШИН, Борис ОЛЕЙНИК, Петр ПРОСКУРИН, Иван САВЕЛЬЕВ, Владимир СЕМЕНОВ, Иван УХАНОВ, Василий ФЕДОРОВ, Владимир ФИРСОВ, Вячеслав ШУГАЕВ, Виктор ЯКОВЕНКО** (первый заместитель главного редактора).

Художественный редактор В. Недогонов

Технический редактор Н. Строева

Сдано в набор 05.08.81. Подп. в печ. 02.10.81. А01435.
Формат 84×108 1/32. Печать высокая. Условн. печ. л. 16,8.
Уч.-изд. л. 21,4. Тираж 870 000 экз. Цена 60 коп. Заказ 1234.
Типография ордена Трудового Красного Знамени
изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

РАДИОПРИЕМНИК-ЧАСЫ «СИГНАЛ-402»

с таймерным устройством—такое сочетание будет признано многими покупателями очень удобным. В этот маленький радиоприемник вмонтировано таймерное устройство. Если вы хотите послушать определенную передачу, не нужно то и дело поглядывать на часы, опасаясь ее пропустить, — радиоприемник включится сам. Для этого достаточно заранее установить стрелку механизма на нужное время. Кстати, и часы и радиоприемник выполняют свои функции независимо друг от друга.

Питание радиоприемника-часов от батарейки типа «Крона-ВЦ» при напряжении 9 В.

Габариты — 162×85×46 мм

Вес радиоприемника — 450 г

Цена — 67 руб. 48 коп.

ЦКРО «РАДИОТЕХНИКА»

Новый номер
54

Цена 60 коп.
Индекс 70544